НОВЫЙ ЖУРНАЛ

XX

НЬЮ-ЙОРК

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатель М. ЦЕТЛИН

THE NEW REVIEW

Под редакцией
М. М. КАРПОВИЧА

XX

6-ой год издания

НЬЮ-ИОРК
1948

Printed in U. S. A.
RAUSEN BROS.,
417 Lafayette Street,
New York 3, N. Y.
Phone: GR 3-5536

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Б. Зайцев. — Жуковский 5
Н. Берберова. — Плач..... 33
Р. Гуль. — Конь рыжий 75

СТИХИ:

Н. Арсеньева, Н. Евсеева, М. Кригер, Г. Струве, Т. Тимашевой 125

ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ:

В. Маклаков. — Еретические мысли 131
А. Зак. — Атомная политика Соединенных Штатов 150

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

Т. Дейкарханова. — Московский Художественный Театр... 171
В. Коварская. — Американские нео-примитивы 186

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ:

М. Коряков. — 16 октября 195
М. Вишняк. — «Современные Записки» 224
К. Деникина. — Страницы из дневника 256
Н. Валентинов. — Трагедия Г. В. Плеханова 270

БИБЛИОГРАФИЯ:

Л. Сухотин. — Мои работы по истории опричнины 294
Г. Федотов. — «La Geste du Prince Igor» 301

ЖУКОВСКИЙ*)

(Главы из книги)

ДЕРПТ—ПЕТЕРБУРГ

Юрьев, Дерпт, по-немецки Dorpat — тихий городок в Эстонии, западней озера Пейпус ,на речке Эмбах: немецкая закваска в нем сильна. Город университетский, ученый, со студентами, профессорами, корпорациями — всё на иностранный лад.

В феврале 1815 года попадает сюда русская дворянская семья, вернее две семьи, Воейковы и Протасовы, всё к Дерпту малоподходящее. Воейков должен читать русскую литературу в университете. Светлана — его жена. Екатерина Афанасьевна и Маша — просто близкая родня, без определенной деятельности. Где-то на горизонте Жуковский — у этого совсем никакой роли, и в Дерпт он лишь наезжает.

Из Муратова ехали долго, сложно — чуть не тысячу верст на лошадях! Добравшись, сперва поселились на постоялом дворе «в одной комнате и гадко». Но нашли, наконец, отдельный дом, куда и переехали. Светло, тепло. Всё завалено посудой, книгами и мебелью — утрясется не так мгновенно. В одной половине Воейков со Светланою, в другой — Маша с матерью.

Воейков со своей смесью язвительности и беспутства, надменности и самоунижения, с литературным самолюбием всегда ущемленным, должен стать благонравным профессором. Екатерина Афанасьевна, помещица и крепостница, глава дома

---

*) См. 17-ую и 19-ую книги «Нового Журнала».

Copyright 1948, by "New Review". All right reserved.

целого в Орловской губернии, здесь будет примеряться к полу-Европе без дворовых и девок, которых можно бить по щекам и ссылать на дальний хутор. Для Светланы — Плещеевых рядом нет, время забав и хохота прошло, нет и французских пленных офицеров. Надо быть скромной профессоршей. Они с мужем «ein echtes Ehepaar». — Меньше всех, пожалуй, ощущает перемену Маша со своими книгами и вышиванием, молитвой.

Знакомятся с профессорами, ректором. Профессора являются с визитами. Чинно, скучно. «Хорошо ли чувствует себя в Дерпте госпожа надворная советница Voyeikoff?» — «Благодарю глубокоуважаемого профессора — превосходно». «Как находит она наш город в отношении чистоты и порядка?»

Тут Дерпту мог, разумеется, позавидовать родной Белев да и Орел, Тула. Хорошая сторона города, также, музыка. Вот привозят им билеты (все здесь музыканты). Каждую неделю профессора, студенты устраивают концерт — сами выступают. Новоприбывшие, конечно, посещают их. Едут в университетской карете, «на казенных лошадях и на казенный кошт». Машу удивляет нарядность, даже блеск зала концертного. («На концерте 700 человек, один одет лучше другого, все женщины красавицы, зала как московская, музыка прелестная»).

Мирное житие начинается, и первое время, действительно, идет мирно. Воейков даже находит, что просто он счастлив — еще в марте считает себя счастливым. А уж Жуковскому не терпится. В Петербурге выпал ему большой успех. Тургенев прочитал императрице Марии Федоровне послание Жуковского Александру I-му, с триумфом возвратившемуся из Парижа. Стихи государыне так понравились, что чрез Тургенева и Уварова передала она автору полное свое благожелание — если ему что надобно, с удовольствием сделает. Жуковскому следовало бы сейчас же лететь в Петербург, пожинать урожай. Но он был душой в Дерпте. Туда стремился, в Петербург даже не заглянул. Императрице, разумеется, ответил («Мой слабый дар царица одобряет...»), это была верноподданическая

отписка. Знакомиться не торопился. Торопился же в Дерпт — и не на радость. Там всё слагалось не так, как идиллически предполагал он, в минуты светлого одушевления.

Во-первых, Катерина Афанасьевна сочла, что Машу тоже пора выдавать замуж, придумала ей даже жениха, некоего генерала Красовского. Генерал Маше никак не нравился. Вся затея совсем нелепая, Жуковский от нее пришел в ужас. Его настроение было такое: да, он от счастья своего отказывается, всё для Маши, и, конечно, Маше надо выходить замуж, но всё-таки за того, кто ей понравится, а не за первого встречного генерала. Но Красовский был приятель Воейкова и Воейков его поддерживал.

Получилось так: в Муратове у Воейкова с Машей отношения были добрые. Первое время в Дерпте тоже. Но с приездом Жуковского и когда он увидел, что Маша к Красовскому холодна, а Жуковского любит по прежнему, всё стало меняться — резко к худшему, и с ней и с Жуковским. Видимо, Воейков и Екатерину Афанасьевну возбуждал против них — Жуковский, мол, зря тянет безнадежный роман, понапрасну вовлекает девушку в треволнения. А ее просто надо выдать замуж за порядочного человека. Это повело к тому, что за Жуковским завели надзор. С Машей наедине быть нельзя, никаких разговоров и объяснений, это опасно.

Он, конечно, был оскорблен. Приехал в высоком настроении, от счастия отказался, всё лишь для Маши, он отец ее теперь, а его подозревают в закулисных шашнях, считают чуть ли не соблазнителем. О Маше Воейков говорит теперь, что «за ноги вышвырнет ее из дому» (оберегал «честь семьи»). Заставляет присутствовать, когда «жених» приезжает, грубит ей и т. п.

Жуковский и Маша стали переписываться записочками.

Теперь только понял Жуковский Воейкова. «Человек, который имел полную власть осчастливить тебя и который не только этого не делает, но еще делает противное, может ли носить название человека? Этого простить нельзя. Даже трудно удержаться от ненависти» (Письмо Маше).

Если уж Жуковский заговорил о ненависти, значит дело Воейкова плохо. «Дай мне способ сделать ему добро и я сделаю, но называть белое черным и черным белое и уважать и показывать уважение... — в этом нет величия: это притворство перед собой и перед другими».

Так живут они, одиноко по своим комнатам, сходясь только за обеденным столом, в семье полной внутреннего напряжения, затаенных тяжелых чувств, слежки, нелюбви. Роль «отца», когда сам молод и живешь рядом с любимой девушкой, не так то легка. Весь этот апрель мучителен. В дневнике Жуковского — «белой книге» — томления его сохранились. Да и в записочках «к ней» («Маша, откликнись. Я от тебя жду всего. У меня совершенно ничего не осталось»).

И тут же собственный «Теон» — «все в жизни к прекрасному средство» (будет написано еще через год, но чувство уже живет). Сколь, однако же, легче уверить себя в возвышенности жизни без счастья, чем взаправду принять жизнь такую!

И Маша, Маша. Ее надо устроить. Надо ей дать возможность жить, дать на чем стоять, перевоспитать, что ли. Чтобы любила она его не «как прежде», а как брата или отца. Она тоже должна удалить «всё собственное, основанное на одном эгоизме» (т. е. любви женской). С наивностью думает он — и записывает — что ее счастье может состоять в жизни согласной с матерью и семьей, в сознании, что и он счастлив одной дружбой, работой и т. п. Да, пусть даже и замуж выходит, но не за такого же Красовского, а кто ей по душе и по сердцу — «чтобы с другим иметь то, что надеялась со мною». С полною смелостью ставит он тут героическое решение, с полною прямотой открывает и душу свою, человеческую, страждущую, никакими Теонами как лекарством бесспорным неизлечимую. «Та минута, в которую для этой цели я решился пожертвовать собою, была восхитительна, но это чувство восхищения часто пропадает и я прихожу в уныние» — вполне понимаешь, что приходит в уныние, но вот мы, через сто с лишним лет не перестаем приходить в восхищение от смирен-

ных слов чистого сердца, с такой безответностью нам предложенного. «Я решился пожертвовать собой» — есть ли другой такой пример в нашей литературе?

Вышло же из этого только то, что Екатерина Афанасьевна, явно Воейковым подстрекаемая, потребовала опять, как и в Муратове, чтобы он удалился. Вновь его изгоняют. Воейков вошел в семью, он из нее вышел — такого было его мнение, очень от истины недалекое. В начале мая, ничего не решив, уезжает он в Петербург.

. . . . . .

Вдова Павла, императрица Мария Феодоровна жила полною, напряженной жизнью. Нельзя упрекнуть ее в бездеятельности. Приюты, институты, разные училища, благотворительность — во всё это была она погружена вполне. «Ведомство Императицы Марии» — след трудов ее остался в России до самой революции. С немецкой дотошностью занималась она институтками и сиротами, и глухонемыми, вела огромную переписку, разъезжала по благотворительным учреждениям. Да и вообще была культурна. Поддерживала знакомство с литераторами, учеными. К ней приезжали Карамзин, Крылов, Дмитриев, Нелединский-Мелецкий — на литературные собрания в Павловске.

О Жуковском имела она уже понятие и чувствовала к нему расположение. Теперь предстояло и встретиться.

Это произошло в мае 1815 года, когда он приехал в Петербург после всех тягостей дерптской весны.

Мундира для представления не оказалось. Но были друзья, они и выручили: нужное одеяние достали. Уваров повез его во дворец.

Жуковскому тридцать два года. Он видел и знал уж довольно много людей, разных общественных положений. Но к таким Гималаям приближался впервые. Муратово, Долбино, Дерпт — до чего это скромно-провинциально рядом со дворцом императрицы, зеркальными полами, статуями, бесшумными лакеями.

Разумеется, ему жутко в этот майский день. Уваров ведет

его по дворцу. Пройдя небольшую комнату, входят они в другую, перед дверями которой ширмы. Из за ширм голос произнес: «Bonjour, monsieur Ouvaroff» — Жуковский думает, что это придворная дама. Вошли, оказалась сама императрица. Вдали, в глубине небольшой комнаты, великие князья Николай и Михаил Павловичи. Жуковский хотел что-то сказать благодарственное, заранее приготовил, но ничего не вышло, только всё кланялся. Всё же разговор завязался. Мария Феодоровна неважно говорила по-русски — быстро и несовсем внятно. Жуковский в волнении своем с ужасом заметил, что плохо понимает. Выручил Уваров: задал императрице вопрос по-французски. Она перешла на французский и дело наладилось. Стали вспоминать прошлое, войну, тяжелые времена. Как тогда полагалось, государыня была чувствительна: несколько раз слезы показывались у нее на глазах. Держалась она очень милостиво и приветливо. «Беседовали» около часу. Когда гости стали откланиваться, она ласково сказала Жуковскому: «Мы еще с вами увидимся».

В словах этих оказалась половина его судьбы. Застенчивость, миловидность, то необъяснимо-светлое, что излучал он и чем покорял людей самых разнообразных, всё это на нее действовало, конечно.

Выходили вместе с великими князьями. Уваров попросил у Николая Павловича разрешение представить Жуковского — и вот он пред огромным красавцем с глазами, о которых позже скажут, что в них было нечто страшное. Было или не было, но перед ними все потом трепетали. А тогда еще никто не думал, что этому юному гвардейскому офицеру, занимавшемуся только армией (но занимавшемуся!), предстоит долгие годы править Россией.

Неизвестно, как себя чувствовал в ту минуту Жуковский. Но будущее предстало во весь рост. От литературной своей матери получил Николай Павлович Жуковского — для семьи и воспитания ее.

Очевидно, Жуковский ему тоже понравился.

. . . . . .

А от Дерпта всё-таки не отстать. Петербург — блеск, слава, пышность, не совсем в духе его. Сердце не здесь. Оно там, где и трудно, и мучительно, но где судьба души.

Европа заканчивала страшную полосу бытия своего — 18 июня Ватерлоо отгремело, а в Дерпте никому неведомая Светлана 26 июня, ни о каких Ватерлоо понятия не имея, родила дочь Екатерину — для Жуковского повод укатить в Дерпт: Светлана его крестница, а теперь его записали крестным маленькой Кати. Значит, надо быть в Дерпте.

На крестины он опоздал, его заменял старый Эверс, профессор теологии, патриарх дерптский, будущий друг (а Светланы уже друг).

Лето Жуковский проводит в Дерпте. С Екатериной Афанасьевной как будто мир, но всё лишь внешнее. И неестественное. Вновь живут по своим норам. Как и раньше, большое и тягостное бросает свой сумрак из глубины. Вот Тургенев зовет в Петербург в конце июля — государыня хочет его видеть. Впрочем, если «солнце» удерживает в Дерпте, то не обязательно сейчас же скакать. Из ответа Жуковского видно, что «солнце» ему издали лучше светит. Вблизи много есть затемняющего. «Уехать отсюда не будет для меня жертвою. Напротив, здесь остаться было бы жертвою, жертвою всего, что мне дорого, лучших своих чувств. Не говорю уже о надеждах, их нет, да они и не нужны».

Non sine te, non tecum vivere possum — издали тянет, а вблизи мучит. Так в неестественных положениях и бывает.

И пожалуй единственное, что осталось хорошего для него от того лета, была завязавшаяся дружба со старым Эверсом, философом и богословом, в жизни тоже премудрым. Весьма мир Жуковского — одинокий, восьмидесятилетний старик, полу-нищий, для которого будто бы ничего в жизни нет, а вот он всё ясен и светел, как вечерняя летняя заря, которую радостно ему созерцать, выходя за город на пригорок. Эверс — закат жизни — так же Жуковскому подходил, как другое существо — утренняя заря, студент Зейдлиц, с которым знакомство его — с праздника корпораций, какого-то «фукс-

коммерша». Эверсу жить не много, Зейдлицу еще целую жизнь. На всю эту жизнь он пленился Жуковским и Машей, Светланой. Милой и благодетельной тенью пройдет «добрый Зейдлиц» рядом с жизнями этими. Только добро, только забота, любовь от него исходят ко всему клану жуковско-протасовскому, ему дано всех пережить и всех увековечить в жизнеописании Жуковского, первом по времени, до сих пор сохраняющем важность первоисточника.

24 августа, всё-таки, выехал Жуковский в Петербург. Путешествие было нерадостное. Его мучили мечты и фантазии, на каждой станции он что-то писал, всё Екатерине Афанасьевне. Мерещилось невозможное — вдруг в Дерпте на всё соглашаются, вновь дружба, тихое, светлое житие... Он писал, рвал, опять сочинял. В этом полубреду въехал в Петербург «с самым грустным, холодным настоящим и с самым пустым будущим в моем чемодане».

В Петербурге поселился у Блудова, давнего своего приятеля еще по Москве, времен Дружеского Литературного Общества.

4-го сентября был вторично представлен Марии Феодоровне, в Павловске. Теперь это произошло более значительно, более и интимно. В сущности Жуковский гостил у императрицы. Прожил в Павловске во дворце три дня, подобно ренессансному поэту при просвещенном дворе Италии. Мария Феодоровна допустила его в простую домашнюю обстановку, вместе обедали и ужинали, гуляли (Павловску посвящена «Славянка» — так называлась речка там, вдохновившая его).

В сентябрьском дворце, парке Павловска с тихими водами его, лебедями, было нечто как раз от поэзии. В гостиной же императрицы Нелединский-Мелецкий читал дамам стихи Жуковского. Кроме хозяйки великие княгини присутствовали, две-три ближайшие придворные дамы. Лебеди на прудах, осенняя позлащенность берез в окнах, красные клены, мягкие отсветы паркета, слезы на глазах слушательниц от «Эоловой арфы» — всё это очень Жуковский. Как всегда скромен он и

мил. Великий дар его вызывать к себе расположение тут проявляется во-всю.

Он, однако, невесел. О днях во дворце вспомнит с приязнью, но вообще ему в Петербурге не легко. Дерпт томит. Даже в Павловске, дожидаясь с Нелединским Государыню, наводит разговор на родство с Машей. Нелединский чертит кружки, рисует древо генеалогии: на бумаге выходит, будто Жуковскому благоприятное. Разговаривает о том же потом с Протасовым, братом Екатерины Афанасьевны: как и Нелединский, Протасов на его стороне. Пишет даже сестре письмо в этом смысле. И вот всё неизвестность: а вдруг повернется в хорошую сторону?

Так вот и колебалось в душе. Но над всем печаль. Придворный успех ее не покрывает (ему дали уже должность чтеца при императрице, явно прикрепляя ко двору). В Петербурге неуютно. Бросает «из мертвого холода в убийственный огонь». Кажется ему даже, что и поэзия отошла. «Думаю, что она бродит теперь или около Васьковской горы, или у Гремячего, или в какой-нибудь Долбинской роще» — милые, как бы утерянные края Мишенского и Киреевских. А деятельность «около литературы» в Петербурге немалая. Начинается она в том же сентябре.

Князь А. Шаховской, довольно известный писатель тогдашний, принадлежавший ко кругу Шишкова и «Беседы любителей», поставил в конце сентября пьесу «Урок кокеткам или Липецкие воды». Среди других был изображен в комедии жалкий «балладник» Фиалкин — насмешка над Жуковским.

Пьеска пустая и автор пустой. А вышло из этого нечто неожиданное и не без значения. На первом представлении присутствовал Жуковский. Друзья сидели с ним в третьем ряду кресел — гр. Блудов, Вигель, Жихарев. Когда Фиалкин появлялся, публика оборачивалась к Жуковскому — разумеется, шопот, смешки, лорнеты. Сам Жуковский спокойно относился (помогал удивительный характер). Друзья-литераторы кипятились и негодовали. Пьеса имела успех, хоть и не из-за Жуковского, он же писал родным несколько позже: «Теперь

страшная война на Парнассе, около меня дерутся за меня, а я молчу».

Война состояла в том, что молодые писатели решили, наконец, выступить против старых — вечная история в истории литературы.

Уже сложились две группы: одна охранительная, сторонники Шишкова и церковно-славянской старины, другая шла от Карамзина, более современного духа. Шишков был адмирал, сановник, его «Беседа любителей русского слова» — академия, с генеральским оттенком. Заседали на торжественных, скучноватых собраниях, в парадной зале. Приезжали важные старики в орденах, министры и светские дамы. Шишков поучал их тайнам собственной филологии. Ненавидя всё иностранное, старался вводить «русские» слова — чаще всего коряво и безвкусно. Образцом считался церковно-славянский язык: из него исходить, им питаться. Получалось всё это недаровито. И громоздко, но торжественно, как колонные залы заседаний, как кареты, мундиры, бальные платья дам. Из первоклассных бывали у них Державин, Крылов (последний по недоразумению). К ним, разумеется, принадлежал и кн. Шаховской со своими «Липецкими водами».

Молодежь взволновалась, решили создать противовес. Так после премьеры Шаховского учредилось общество «Арзамас».

Граф Блудов, А. Тургенев, Батюшков, Дашков, Жуковский, гр. Уваров, В. Л. Пушкин, кн. Вяземский — вот его сердце. Секретарем оказался Жуковский, а позже явилось еще существо, совсем юное, лицеист Александр Пушкин. «Беседа» выросла из придворно-чиновничьего. Была парадно-скучна. В «Арзамасе» «всё наоборот». Большинство его тоже были баре, но стиля хотели простого, с забавностью, шуткой, хотели быть связаны и с современной жизнью. В пределах широкой, привольной тогдашней жизни их можно было назвать богемой.

Собиралась, однако, эта богема в квартире гр. Блудова (квартира отличная, но денег так мало, что иногда Блудов с

Жуковским хлебали щи у Гаврилы, дядьки хозяина — наследства Блудов еще не получил).

Заседали, острили, высмеивали стариков из «Беседы» (но не Державина и не Крылова), придумывали шутки и забавы. Клонилось же это всё к утверждению естественного и простого, не-боязни языка современного, не-презрения к обыденности. Передразнивая масонские ложи, завели они ритуал посвящения новых членов, насмешливый и увеселявший.

У всех были клички. Жуковский — Светлана, Тургенев — Эолова арфа, гр. Блудов — Кассандра, Уваров — Старушка. Пушкин назывался Сверчком. При вступлении каждый должен был произносить похвальное слово предшественнику покойному, как в академиях. Но никто у них еще не умирал. Покойников брали напрокат у «Беседы» и панегирики эти были, конечно, веселые.

Вообще чуть не всё связывалось с шуткой, иногда совсем детской. Арзамас — городишко Нижегородской губернии, недалеко от Сарова. Мало чем помянешь его. Но вот в те времена славился он гусями. Литераторы молодые заводят «Арзамасскую Академию» (и в заключение заседаний едят гуся), Шаховского называют Шутовской (помирают со смеху), Блудов пишет целую статью «Видение в Арзамасе ученых людей».

Вот они принимают в сочлены В. Л. Пушкина, «дядю», и тоже поэта. Нарядили в хитон с раковинами, на голове огромная шляпа, глаза завязаны. В таком виде ведут по комнатам огромного дома Уварова, по узкой крутой лесенке сводят вниз, бросают ему хлопушку под ноги, заставляют проделывать всякие глупости, стреляют из лука в чучело, изображающее Шишкова, подносят огромного замороженного гуся и т. п. Потом кладут его, наваливают на него несколько шуб и так, лежа под шубами, обливаясь потом, дядюшка-Пушкин выслушивает шутовскую речь секретаря (Жуковского: «Какое зрелище перед очами моими? Кто сей, обремененный толикими шубами страдалец?» и т. д. — смысл тот, что жар шуб должен омыть его от «коросты Беседы» и тогда он невинным вступит в ряды арзамасцев).

Всё это тянулось долго и... нравилось. Довольно удивительно, что как раз Жуковский был зачинщиком всех таких штук. Тот, чей стих «легок и бесплотен как привидение» (Гоголь), любил всякую острословную чепуху, шутливые стишки, выдумки, решительно никакой славы ему не прибавившие, но за которые он стоял горой. У Жуковского не было капли юмора, но он обожал острить, сам хохотал по-детски и насколько был скромен в большой литературе, настолько высоко о себе мнил в жанре комическом. А теперь, осенью 1815 года в Петербурге, это могло б казаться и совсем странным: труднейшая осень, с такой внутренней тоской и все эти дурачества Арзамаса.

. . . . . .

Иван Филиппович Мойер был сын ревельского суперинтенданта. Вначале изучал богословие в Дерпте, потом занялся медициной. Учиться уехал заграницу — шесть лет провел в Павии, трудился под руководством знаменитого хирурга Скарпы. Работал и в Вене.

Отлично играл на рояли, встречался и был знаком с Бетховеном. Кроме последней, теперь как бы легендарной, черты биографии — всё остальное обыденно, просто, высоко, будто и слишком добродетельно: хоть бы какой недостаток! В 1812 году в Дерпте заведует он военным госпиталем, потом работает в университетской клинике, через три года получает звание профессора.

Портрет показывает приятное, округлое и доброе лицо в очках, с мягкими некрупными бакенами на щеках, усы и подбородок бриты, шея в высоком галстуке, из под которого торчат углы крахмального воротничка. Облик благодушия и смирности, старонемецкого сентиментализма.

Этот Мойер лечил Протасовых и Воейковых. Летом он познакомился и с Жуковским — оба друг другу понравились чрезвычайно. А еще больше нравилась Мойеру Маша. Да и она относилась к нему с большой симпатией.

В доме же, после отъезда Жуковского, стало совсем плохо — Воейков распустился до невозможности. Всё у него

выходило теперь неудачно. Вначале профессора приняли его хорошо, скоро, однако, увидели, что он такое. Пьянство, грубости, сцены в семье — в маленьком городе всё известно. Лектором он оказался плохим, студентам из немцев и предмет малоинтересен. Посетителей у него всё меньше. Он злится, завидует, срывает на домашних. Развратничает — есть известие о совсем темной истории в этой области, на границе уголовщины.

Вот запись Маши (ноябрь) — не из веселых: «После ужина он опять был пьян. У мамá пресильная рвота, а у меня идет беспрерывно кровь горлом. Воейков смеется надо мной, говорит, что этому причина страсть, что я так же плевала кровью, когда собиралась за Жуковского, что через год верно от какого-нибудь генерала будет та же болезнь».

В гадких этих намеках разумеется Мойер. Он просил уже руки Маши, но ему отказали. Теперь положение иное. С одной стороны — Жуковский из Петербурга произвел последнюю попытку воздействовать на Екатерину Афанасьевну: по его просьбе Павел Протасов написал ей еще письмо, всё о той же возможности брака Жуковского (кажется, именно это письмо и ускорило события в Дерпте, всех растревожило). Затем, положение Маши из-за Воейкова становится невыносимым. «После ужина он опять пьян, грозит убить Мойера, маменьку и зарезаться». «Если бы Жуковский и Кавелин могли бы видеть один из этих ужасных вечеров, они бы сжалились над нами».

Мойера он грозится убить потому, что Маша, да и Екатерина Афанасьевна решили на этот раз Мойеру не отказывать. Произошло это в отсутствие Воейкова — он уезжал в Петербург по делам к Жуковскому и Кавелину (с последним вышли у него неприятности). И вдруг оказалось, что Мойер жених Маши. До Маши-то Воейкову дела мало, но как так решили без него, да еще новый соперник в семье, новый и сонаследник по Муратову — и во всяком случае полный защитник Маши: с г-жей Мойер не станешь уж так обращаться, как с безответной Машей Протасовой.

Маша совсем не имела к Мойеру чувств, как к Жуковскому — видимо, просто он расположил ее к себе качествами бесспорными. И не ее одну, всех располагал. В Дерпте пользовался отличной славой. Достаточно ли этого для брака, другой вопрос. Но Маша явно была в безвыходности: или продолжать мучительную жизнь при Воейкове, на замужество с Жуковским не расчитывая, или всё резко переломить. В своей тишине, в слезах смиренных приняла она решение, частью похожее на самозаклание. Но ведь вообще была из породы агнцев. «Мой милый, бесценный друг... Я не закрываю глаза на то, чем жертвую, поступая таким образом». А вот оказывается, что этим дает счастье матери и еще доставит ей

В отстранении «себя», в жизни «без счастья» видна ученица Жуковского. Будто и не из сильных, но когда надо вкусить горечь, силы находятся. Чтобы «маменьке» было покойнее, для этого и ломать жизнь.

Жуковский всё это принял с горячностью крайней. Поражен, негодует. Считает, что Машу насильно хотят выдать. Не может быть, чтобы взаправду она полюбила, так скоро, так сразу забыла всё прошлое. Нет, невозможно. Письмо его (25 декабря 1815) — целое произведение. И спор, и нападение, и выдержки из ее письма, и опровержения. Ему нелегко. Возражать вообще против того, чтобы Маша вышла замуж, нельзя — с ним самим брак невозможен. Он и не возражает. Но хочет, чтобы сделано было по ее воле и с известной разумностью. Пусть она пораздумает, приглядится. Против Мойера он ничего не имеет, но она почти и не знает его, для чего же спешить?

Это, в сущности, уже поражение. Уже признается, что Маша должна выйти не за него, а за другого, уж и другой этот не таков, каким был Красовский... — вопрос только в том, не вынуждено ли у нее решение, и если оно свободно, то пусть пройдет испытательный срок. А затем, надо самому посмотреть.

В январе он опять уже в Дерпте, чтобы самолично «вложить персты», вновь вблизи перестрадать, прикрываясь воз-

вышенным прекраснодушием и убедиться, что другого выхода нет. Лучше Мойера не найти. Мойер любит ее высокою, преданною любовью.

Вот живут они трое, бок о бок — Мойер, Маша, Жуковский, в этом немецко-университетском Дерпте. Медленно, неотвратимо уходит счастье Жуковского: в пышных и возвышенных словах, в призываниях дружбы, мира, спокойствия — именно и уходит. Теперь Екатерина Афанасьевна спокойна. Не боится уже. Жизнь Маши на рельсах. С Жуковским не возбраняется и разговаривать наедине, и гулять, всё уже решено. Только Воейков беснуется: никак не может принять, что не он один в доме. И среди безобразий своих вдруг напишет чувствительное послание жене, о Жуковском отзовется превыспренно, можно подумать, что и он вот, Воейков, тоже из стана поэтов. Но никто всерьез этого не подумает, только скажет, что душа человеческая пестра и противоречива. Одной краской ее не напишешь.

В Дерпте Жуковский входил в жизнь города — университетскую, литературную и духовную.

Много знакомств с профессорами, типа Эверса и других, со студентами вроде Зейдлица. Поэзия германская являлась тоже: занялся он Геббелем («Овсяный кисель») — нельзя сказать, чтобы уж очень блестяще. Университет поднес ему доктора honoris causa, дело рук новых друзей, может быть и не без Мойера. Но это всё лишь поверхность. «Из глубины воззвах» этого времени надо считать «Песню»:

Минувших дней очарованье,
Зачем опять воскресло ты?
Кто разбудил воспоминанья
И замолчавшие мечты?

Не всё покойно в отказавшемся Жуковском. Из-под торжественного облачения душевного доходят стоны. Душа стремится в край,

Где были дни, каких уж нет,
Пустынный край не населится,
Не узрит он минувших лет...

Пушкин сидел еще в лицее, а в литературе раздавались уже звуки, которые он подхватит, взовьет, возведет в перл. Но раздались-то они у Жуковского. Он русский Перуджино, чрез которого выйдет, обгоняя и затмевая, русский Рафаэль.

В это же время написано «Весеннее чувство» («Легкий, легкий ветерок, что так сладко, тихо веешь...») — с той спиритуальной легкостью, которая лишь одному Жуковскому и свойственна. «Воспоминание» весомей — грусть что-то да значит («И слез любви нет сил остановить»...). Тут же и другая «Песнь» («Кольцо души-девицы я в море уронил»).

А жизнь и события ее текли. Жуковский любил называть странствие наше ночною дорогой, где расставлены фонари, освещающие путь — память о прожитом и есть память о светлых этих участках близ фонарей. Свадьба Маши и Мойера (14 января 1817) была, разумеется, для него большой вехой, но, конечно, уж не фонарем, радостно что-то освещающим.

Вот как описывает он себя после ее свадьбы: «Мое теперешнее положение есть усталость человека, который долго боролся с сильным противником, но, боровшись, имел некоторую деятельность; борьба кончилась, но вместе с нею и деятельность. К этой деятельности душа моя привыкла: эта деятельность была до сих пор всему источником».

И дальше:

...«Я не могу читать стихов своих... они кажутся мне гробовыми памятниками самого меня; они говорят о той жизни, которой для меня нет». — Он вступал в некоторый душевный туман — или оцепенение.

ПРИ ДВОРЕ

Осенью 1816 года красавец огромного роста, с которым познакомил Жуковского у императрицы Марии Феодоровны

Уваров, уехал в Берлин: налаживался брак его с Шарлоттою, дочерью знаменитой Луизы Прусской.

Эта Шарлотта, видная, замкнутая и просвещенная девушка, провела детство и отрочество в изгнании — Наполеон был враг всей королевской семьи. Они жили уединенно и бедно, пока по Европе шумел победитель. В сыром, скучном Мемеле Луиза приучала свою Шарлотту к труду, чтению, религии. Позже они перебрались в Кенигсберг. А с падением Наполеона — вновь в Берлин.

Русский великий князь для немецких королей находка. Николай всю осень провел в Шарлоттенбурге, где жил двор — кроме невесты больше всего занимался парадами и военными делами. А потом уехал дальше, побывал в Англии. Но свадьба решена была окончательно и священник Музовский стал подготовлять Шарлотту к переходу в православие.

На следующий год, через четыре месяца после свадьбы Маши и Мойера, Шарлотта выехала уже в Россию — для бракосочетания.

Николай очень ей нравился, да и она ему. Можно думать, что просто они были друг в друга влюблены. Всё-таки, уезжать было тягостно. Родной мир оставался сзади — впереди гигантская и жуткая Россия.

Жених выехал встречать невесту к границам государства своего и вез ее как можно скорее, но по тем способам передвижения всё же медленно, на Ригу. По дороге угощал смотрами и солдатами. («Нельзя поверить, чем этот господин способен заниматься по целым дням», записал язвительный немецкий генерал, сопровождавший принцессу). Принцесса была не очень весела: боялась императрицы, боялась перемены религии, вообще всего чуждого, нового мира.

Императрица, однако, приняла ее ласково. Но тяжелого настроения не рассеяла. «С самого своего въезда в Петербург вплоть до 24-го июня Шарлотта плакала, как только оставалась одна». Но потом причастилась — стало легче. Император Александр был с нею мил, со всегдашнею своей прохладной и таинственною ласковостью, под которой неизвестно что. Под

руку с ним, в белом платье с крестиком на груди, подходила она впервые к Чаше, неверным голосом, на полузнакомом языке прочитала наизусть символ веры и из Шарлотты Прусской превратилась в Александру Феодоровну, а через неделю в русскую великую княгиню.

После свадьбы молодые непрерывно переезжали из дворца во дворец, главнейше же вращались вокруг Павловска, где жила императрица Мария.

Тем самым попадали в ее просвещенно-литературный круг. Александра Феодоровна сама этим интересовалась. Николай больше любил военное дело, но не надо думать, что литературу не ценил — позже вслух читал жене в Аничковом Дворце сам, а теперь, в дурную погоду, в Павловске им читали Уваров, тот Плещеев-негр, что был соседом Жуковского по имению, и сам Жуковский.

Тут и произошла встреча Жуковского с великою княгиней, столь огромно отозвавшаяся на его жизни. Как и многим другим, он ей понравился. На долгие годы это определило его судьбу — и лично, и даже литературно.

К императорскому дому Жуковский прирастал не со вчерашнего дня, медленно, но верно. Началось это два года тому назад, с майской и сентябрьской встречи с императрицей Марией. Потом чтение ей вслух, потом стихи патриотические, поднесенные Государю, назначение пенсии (небольшой, но пожизненной). Все это внешнее. Жуковский ничего не добивался. За него друзья старались. Он же благодарил, исполнял что полагалось, но на сердце иное. Свадьба Маши всё определила. Оставались лишь воспоминания и минуты тоски, прорывавшей серость жизни его теперешней. В это именно время встретился он с юною великою княгиней, перестраивавшей душу для российской жизни. Может быть, с некоторого конца и подходили они друг к другу, даже друг в друге нуждались, так что не зря получил он назначение преподавать ей русский язык и литературу: труды с ней заполняли для него некоторую пустоту, дух же изящества и благородства женского его

вообще воодушевлял. И вот представляется ему случай делать нечто подходящее, как-то жить.

Придворным он, разумеется, был никаким. Но ученица ему нравилась.

Он занимался с ней от всего сердца. Много вместе читали. Для нее составил краткую русскую грамматику. Милый, тихий поэт тоже был приятен. Позже ее считали холодноватой и надменной, но в те годы, еще не отравленные болезнью, трудностями с мужем, охотно видишь в ней молодую женщину с тяготениями романтическими, склонную к поэзии — и вот встретилась она в этом сумрачно-роскошном Петербурге, в блеске двора, с душой нежной и чувствительной, с настоящим певцом — он дает нечто ей, противоположное строгому великолепию окружающего.

Начинается взаимовлияние. В нем самом (и в его стихах), в русской литературе, куда он ее вводит, она что-то для себя находит утолительное. А его приближает к германской поэзии — всё сильней и решительней и он выходит на дорогу свою. Выпускает под ее покровительством книжечки «Для немногих» «Für Wenige» — переводы из немецких поэтов: Гете, Шиллера, Геббеля, Кернера, с немецким сопроводительным текстом. Изящные сборнички, в художественных обложках с рисунками того времени. В № 4 помещен знаменитый перевод «Лесного царя», всем с детства знакомый, так и оставшийся непревзойденным. Там же большое собственное его стихотворение, знаменательное весьма и имевшее отношение к его личной судьбе: на рождение наследника.

Император Александр зиму 1817-18 гг. проводил в Москве, «малый двор» в. к. Николая и Александры Феодоровны тоже. Москва оправлялась от пожара и разгрома французами, государь хотел быть вблизи населения, воплощая величие и победоносность России. Жуковский сопровождал двор. Жил тоже в Кремле, продолжал обучать Александру Феодоровну, а в свободное время бродил с гр. Блудовым, давним приятелем еще с коронации Александра I-го по Москве, разыскивая уголки поэтические, восторгаясь светло и по-детски.

А ученица его родила в Кремле сына. Жуковский и написал ей по этому случаю послание.

В нем есть внешнее, есть и внутреннее. Верноподданническое и человеческое — нечто от искреннего прирастания к царской семье, к самой Александре Феодоровне. Она для него и великая княгиня, и бывшая ученица, милая знакомая. Литературное достоинство послания не выше среднего. Но некоторые общие высказывания замечательны.

Родился мальчик Александр, не простой мальчик, будущий Царь-Освободитель. Судьба его особенная.

Уже в ее святилище стоит
Ему испить назначенная чаша.

Величие этой судьбы Жуковский чувствовал. И издали, над колыбелью, в суровый век Аракчеева, будущему своему ученику дал завет нового времени — воистину Новый Завет:

Да встретит он обильный честью век!
Да славного участник славный будет!
Да на чреде высокой не забудет
Святейшего из званий: человек.

Некогда возвестил он Светлане светлую и счастливую жизнь — и ошибся. Теперь ничего не возвещает, но напутствует. Послание написано в мажорном и торжественном роде, с любовью, но и наставительностью: так отец мог бы говорить сыну.

В некотором смысле отцом он ему и оказался. Больше отцом, чем отец настоящий. Только вряд ли скромному его взору мог примерещиться тогда, в Кремле, страшный конец императора Александра. Этого и не требовалось. Пророком Жуковский никогда не был.

. . . . . .

В те годы ему суждена была жизнь довольно блестящая и разнообразная — внутренно же пестрая, даже противоречивая. То он со двором в Москве, то живет в Петербурге у Блудова, позже у овдовевшего своего друга «негра» Плещеева, перебравшегося в Петербург, то едет в Дерпт к своим «вечным»: эти уж навсегда. Но во внешнем устроении надо всем двор и ученица. Ей он предан, хоть не всё в душе открыто для нее. В глубине многое, чего не скажешь, в оде ли или послании. Это к Дерпту направлено.

И как нередко у него: шумные заседания «Арзамаса» со всякою чушью, шутливыми несмешными стихами, жареным гусем и возлияниями, а тайные записи все о неугасшем, да и угасимом ли? Там цвет поэзии его.

«Протокол двадцатого арзамасского заседания» — трудно поверить, что один и тот же человек написал:

Взлезла Кассандра на пузо, села Кассандра на пузе —

— и далее нечто длиннейше-скучнейшее, над чем помирал со смеху недавно выпущенный из лицея Александр Пушкин, также и другие сотоварищи и собутыльники — и

Ты вдали, ты скрыто мглою,
Счастье милой старины,
Неприступною звездою
Ты сияешь с вышины.
Ах, звезды не приманить;
Счастью бывшему не быть.
Если б жадною рукою
Смерть от нас тебя взяла,
Ты была б моей тоскою,
В сердце всё бы ты жила.
Ты живешь в сияньи дня,
Ты живешь не для меня.

Это из Шиллера. Но Шиллером проговорило сердце и Шиллер обратился в Жуковского, несмотря на название неподходящее («К Эмме»), несмотря на последнюю, третью строфу, где является Эмма и ослабляет две первые строфы.

Стихи помечены: 12 июля 1819 г., рядом, всё в том же «гробу сердца» его, другое стихотворение:

МОЙЕРУ

Счастливец, ею ты любим,
Но будет ли она любима так тобою,
Как сердцем искренним моим,
Как пламенной моей душою?
Возьми ж их от меня и страстию своей
Достоин будь судьбы твоей прекрасной,
Мне ж сердце и душа и жизнь и всё напрасно,
Когда нельзя отдать всего на жертву ей.

Этих стихов не знала ни Александра Феодоровна, ни, вероятно, и ближайшие друзья — Тургенев, Блудов. За них не получал он ни наград, ни пенсий. Просто, в Дерпт съездив, повидав жизнь милых сердцу (в феврале 1819), написал всё это летом для себя. А записалось золотом в наследие литературное, да и человеческое (хорошо бы найти другого русского поэта, способного сказать хоть приблизительно подобное сопернику!).

А ученица его между тем захворала. В июле 1820 года занятия с ней пришлось бросить. Но для него болезнь эта оказалась и благодетельной: Александру Федоровну отправляли лечиться заграницу, среди других в свиту ее был назначен Жуковский.

Много лет назад, еще во времена Мерзлякова, сын турчанки и русский европеец мечтал уже о западе — собирался в Геттинген. Тогда это не осуществилось: не был он готов. В Отечественную войну сверстники его Европу увидели, докатились до самого Парижа. Но он заболел и не докатился. Теперь не он болел, но ему пора видеть новое. Художник созрел в нем, Лагарпы, Флорианы, Жанлис, Коцебу давно позади, близки Шиллер и Гете. Вот теперь и пора встретить ту Германию, духовный союз с которой главенствует над всем взрослым его писанием.

В сентябре он трогается, через Дерпт и Ригу, в довольно таки дальний путь. Это его волнует и воодушевляет. Несколько жуток берлинский двор, он боится там скуки и казенщины, но зато Дрезден, галлереи, Рейн, замки, Швейцария! И люди удивительные... (в эту поездку мельком встретился он с Гете).

Опасения насчет Берлина не подтвердились. Наследный принц, брат Александры Федоровны, проявил себя очень мило, оказался даже склонным к литературным интересам. Новое и замечательное увидел Жуковский в театре, Шиллерову «Орлеанскую деву» — позже и перевел ее, прославил на русском языке.

А у себя дома королевская семья устроила пышное представление — инсценировку поэмы Мура «Лалла Рук»: живые картины в духе феерии восточной, где великий князь Николай играл роль поэта-короля, Александра Федоровна героиню, Лалла Рук. Жуковский всюду присутствовал. Из поэмы перевел эпизод, озаглавив: «Пери и ангел». Вообще же состоял как бы придворным поэтом — положение не из легких.

Помогал легкий характер. Да еще то, что к царской семье привязывался он тоже семейно, по другому, конечно, чем к Протасовым и Юшковым, всё же входил в жизнь этих частью надменных, частью и сентиментальных «верхушек пирамиды», как благодетельный и благосклонный, скромный дух. Жуковский именно «при них», и обиходный, свой, но и вышний, за ним поэзия и красота — это они, к счастью, чувствовали и понимали.

Шум, блеск двора, сердце же закрыто. У Маши только что родилась дочь. Он спрашивает друзей о ее здоровье. А самой ей приписка: «Маша, милый друг, напиши мне о своем малютке. За неимением твоих писем перечитываю твою книжку и, кажется, слышу тебя: это бесценный подарок».

Очевидно бесценный, раз взят с собой в европейское дальнее странствие (видимо, ее «письма-дневники»).

«Тут вся ты, мой милый друг и благодетельный товарищ. В твоем сердце ничто не пропало; еще, кажется, ты стала

лучше». «Читать твою книжку есть для меня оживать. И много милых теней восстает».

На нескольких строках три раза слово «милый». Это Жуковский. Это нечто и от того времени. Не от Аракчеева и Бенкендорфа, а от нежных душ, чувствительных, мечтательно-меланхоличных.

Так шла зима. В апреле тронулся он в путешествие по Германии и Швейцарии.

Жуковский рано начал рисовать, с детства. Занятие это очень любил, оно прошло чрез всю его жизнь. Поэт, в стихах своих музыкою проникнутый, одухотворивший ею слово, музыки как искусства не любил. Живопись же считал родною сестрой поэзии — в собственной его поэзии эта сестра роли не играла. У него был острый и живой взор. Видел и замечал превосходно, но для стихов этим не пользовался. Весьма склонен был прославлять Божие творение. Делал это в описаниях природы (прозой) и в рисунках.

Еще собираясь в путешествие, летом 1820 года усердно рисовал виды Павловска и упражнялся в гравировании их на меди. Заграницею это пригодилось — в Германии, Швейцарии встретилось как раз то, что его артистически воодушевляло. Он много рисовал в дороге.

Первое крупное, может быть и великое впечатление его в этой поездке — Дрезден. Подъезжал он к городу вечером 1-го июля. «Вышел из своего смиренного Stuhl Wagen'a», пошел пешком. «Город светился между зеленью каштанов, кленов и тополей; вблизи, между темнозелеными деревьями мелькала мельница, за нею зеленел широкий луг, далее виден был прекрасный дрезденский мост, над ним темные липы Брюлева сада и величественно из-за вершин древесных выходил купол церкви Богоматери и великолепная католическая церковь с высокими башнями».

«Долго бродил по террассе Брюлевой; пестрая толпа сверкала на солнце под зеленью лип, и всё было чрезвычайно живо; небо ясно угасало и на светлом безоблачном западе

прекрасно отделялся высокий крест, стоящий на мосту: этот вид давал картине что-то необычно

Под таким углом встретился он с Дрезденом, пребывание там оказалось значительным для него внутренне.

Вот встреча с Фридрихом, живописцем, и Тиком — главой романтиков немецких того времени. Оба ему понравились. С Фридрихом отношения сохранились надолго, Тик произвел впечатление яркое, но так и мелькнул странно-таинственной звездою. Они виделись, много беседовали, Тик читал ему «Гамлета» — чтец был замечательный — но Шекспир не так уж понравился: тяжкое, сумрачно-кровавое и «слишком человеческое» в нем не было близко Жуковскому.

С Фридрихом он сошелся. Об этом пейзажисте и художнике романтическом без него и вовсе бы мы ничего не знали. Жуковский в нем ценил «верность» изображения природы и «человечность».

В те времена целы были еще дворцы Дрездена, картинная галлерея Цвингер, терраса Брюля над Эльбой, где позже прогуливался тургеневский Кирсанов. Мирный, цветущий город, осиянный искусством, так Жуковскому подходил.

В эти июльские дни встретился он в галлерее с Сикстинскою Мадонной. Смотрел ее не один раз. Но однажды лишь, просидев перед ней час в одиночестве, ощутил как бы тайное вхождение ее, мистическую встречу. Полагал, что творение это есть видение Рафаэля, как бы запись посещения и в тот удивительный, одиноко-счастливый час собственной жизни пережил это видение сам. «Гений чистой красоты» — слова Жуковского, Пушкин пустил их в ход позже.

Для Жуковского в тот час встреча с Мадонною была не только встреча с красотой, но и с самим Божеством. Чрез картину открывался ему высший мир.

По террассе Брюля, разумеется, как и Кирсанов, он гулял часто, Эльбою любовался. Как некогда Карамзина, она погружала его в мечтательные настроения. Да и родное вспоминалось — Белев, Ока, разные Темряни, Жебинская пустынь, Дураковская пустынь.

Из Дрездена, всё на лошадях, с товарищем своим Олсуфьевым, двинулся он дальше, через Саксонскую Швейцарию к Карлсбаду, а там на Констанцское озеро и в Швейцарию. Ехали в коляске, иногда вылезали, пешком по тропинкам сокращали дорогу. Любовались видами диких саксонских гор, полных разных легенд.

Тут же он рисовал: всё хотелось запомнить и изобразить. Близ Бастей, над Эльбою, с высоты отвесного утеса расстилался перед ним Божий мир. Словами вполне живописными и взволнованными изображает он его.

«И над всем этим неописанным разнообразием гор и долин вообразите тот же чудесный туман, волнующийся, летающий, но гораздо более прозрачный, так что по временам можно было различить всё, что таилось под его воздушными волнами; но иногда вдруг он совершенно сгущался, и в эти минуты казалось, что стоишь на краю света, что земля кончилась и что за шаг от тебя уже нет ничего, кроме бездны неба».

Та же изобразительность, если не ярче, в описании Констанцского озера.

. . . «Когда озеро спокойно, видишь жидкую, тихо-трепещущую бирюзу, кое-где фиолетовые полосы, а на самом отдалении яркий, светло-зеленый отлив; когда воды наморщатся, то глубина этих морщин кажется изумрудно-зеленою, а по ребрам их голубые тени, с яркими искрами и звездами; когда же облако закроет солнце, то воды, смотря по цвету облака, или бледнеют, или синеют, или кажутся дымными».

Так может писать только имеющий любовный, памятливо-точный глаз — мир близок и прекрасен, надо всё запомнить, ничего не упустить.

Началось путешествие по Швейцарии. Подымался он на Риги-Кульм, видел Чортов Мост, С. Готард, спускался в Италию до Милана, назад на Женеву. Побывал и в Шильонском замке, что дало нашей литературе «Шильонского узника».

На лоне вод стоит Шильон,
Там в подземелье семь колонн . . .

Из Байрона взял самую не-байроновскую поэму. Обратил ее в меланхолически-нежный вздох.

Вот как написана смерть младшего из трех братьев-мучеников за веру.

Смиренным ангелом, в тиши,
Он гас, столь кротко молчалив,
Столь безнадежно-терпелив
Столь грустно-томен, нежно-тих,
Без слез, лишь помня о своих
И обо мне... увы! он гас,
Как радуга, пленяя нас,
Прекрасно гаснет в небесах...

Легкая цепь смежных созвучий, в четырехстопном ямбе с непременными мужскими рифмами — впечатление ясной и прозрачной печали, включенной в удивительную гармонию природную. Всё очень трогательно, но это уж не карамзинский сентиментализм: эпоха Пушкина и Лермонтова. Ей Жуковский предтеча. Пушкин был еще полу-учеником, Лермонтов вовсе ребенком. Пушкин испугался даже, увидав, что некоторые строки «Братьев разбойников» его как бы и от «Шильонского узника». («Мцыри» всей поступью своею — при полной мужественности — тотчас вспоминается, как только берешься за «Узника»).

Из Вевэ Жуковский проехал во Фрейбург, побывал в Люцерне, видел «Умирающего льва», дальше путь его к Цюриху. Шафгаузенский водопад опять дал возможность блеснуть описанием (всё это, как и письма саксонские, направлялось Александре Федоровне. Всё было литература, вошло в собрание сочинений).

Путешествие же заканчивалось. Оно питало и укрепляло его, художника уже зрелого, в расцвете сил, силам этим давало новый уклон. Он узнал новых людей (среди них, хоть и мимолетно, самого Гете). Видел новые страны, новую жизнь, испытал новые чувства. Осенью в Берлине оказался автором

первейших пьес — «Орлеанской девы», «Шильонского узника». Вряд ли в Белеве написал бы их. В альбомах сохранились и его рисунки.

Путешествием обязан он двору. Двор его вывез с Александрою Федоровной, двор разрешил и теперь провести остаток года в Берлине. Но никто не подумал в то время об одном странном влиянии, которое оказал запад на Жуковского: он физически ощутил невозможность крепостного права. «Аннибаловых клятв» как Тургенев не давал, но, вернувшись, отпустил на волю своих четверых «людей». Так что и дальше не зря именно он будет обучать будущего Царя-Освободителя.

Бор. Зайцев

ПЛАЧ

Борису Зайцеву

Мою сестру звали Ариадной. Мне было девять лет в тот незабвенный, снежный, голодный год, когда она кончила школу и стала взрослой, и так как в этот же самый год умерла моя мать, — в одной из холодных, пустых клиник Петербурга, — то случилось так, что в два месяца изменилась вся наша жизнь и изменились мы сами.

Была квартира в Ротах, была прислуга, без присмотра которой меня не выпускали на улицу; был чудаковатый отец и неслышная, нездоровая, какая-то неживая от всех своих долгих болезней мать; была видимость семьи и борьба за существование. И вдруг все опустело, выцвело, смерклось. После второй операции были тихие похороны. Ариадна заложила волосы жгутом на затылке, наколола на шляпу креп; папа поседел, похудел, стал совсем сумасшедшим, каким-то веселым сумасшедшим, часто от веселья плачущим; прислугу отпустили, квартиру заселили чужими людьми, и я стала бегать в кооператив, в хлебный распределитель, на пути Варшавского вокзала, где иногда бывало молоко.

Долгая эта зима двадцатого года соединила нас троих в одной комнате, в бывшей нашей столовой, посреди которой стояла железная печь. Жизнь наша шла вокруг этой печи, где вечерами дрожало медленное, тяжелое тепло. Отец кряхтел и похохатывал за ширмами и оттуда говорил свои остроты, от которых я еще тогда смеялась во весь свой громкий смех, а Ариадна не улыбалась даже глазами. За ширмами он раздевался и одевался, читал, спал и бормотал. В комнате же иногда бывало так, будто мы с Ариадной только вдвоем и есть на

свете. Особенно вечерами, когда мы ложились с нею спать на один широкий кожаный диван, стоявший раньше в кабинете отца. Из каждой комнаты сюда была занесена случайная мебель. Мы ложились головами врозь и укрывались каждая своим одеялом. И когда всё гасло, и только розовато шевелился последний огонь за печной заслонкой, гоня и колебля тени на светлой стене, я засыпала, обняв ее колени.

Я согревала их, я прижимала их к себе, к своей детской, сильной груди; я разговаривала с ними, как не могла разговаривать с самой Ариадной. Я рассказывала им что-нибудь, я мечтала шопотом, я называла их ласковыми именами. Во сне она шевелилась, уходила от меня, опять возвращалась. Белое пятно какого-то света — не то фонаря, не то луны — дрожало в углу потолка, над папиной ширмой. Я тихонько плакала, я смеялась от счастья; я боялась жизни, я верила в нее; я хотела чего-то громадного, я сама себе казалась слишком маленькой; я была всюду первая, и я никому не была нужна.

Из долгой, почти непрерывной ночи мы переходили в долгий, почти непрерывный день, ложились когда было совсем светло и вставали при ярком майском свете. Да, она была уже взрослой, она стала взрослой в тот год; у нее нежно закруглились руки и вытянулось тонкое лицо. Она была так худа, что когда раздевалась, чтобы умыться с головы до ног в большом тазу (а я поливала ее, стоя на табурете), видны были все ее косточки, тут и там шевелившиеся под кожей, а розово-голубая грудь, которая шевелилась тоже, то совсем пропадала (когда, например, Ариадна поднимала руку), то появлялась снова (когда она наклонялась).

Вечерами отца не бывало дома и мы особенно тихо и трудолюбиво проводили вместе эти вечера. Мы купались, стирали свои рубашки, мыли друг другу головы, стригли волосы, что-то перешивали, что-то штопали. Иногда, копаясь в сундуках, мы находили какой-нибудь старый капот или немодную, смешную пелерину, и Ариадна примеряла ее, ходила по комнате, заглядывала в зеркала, потом забывала ее на себе и в ней продолжала выдумывать мне и себе прически, приде-

лывать какие-то пряжки к разношенным туфлям, играть выцветшими лентами. Она воображала таинственный маскарад, на котором ей суждено было вот-вот появиться; должна была начаться жизнь, — не эта, убогая, полуголодная и скучная, а какая-то другая, но она всё не начиналась. Она произносила, отставив руку, закинув голову, великолепный, бессмысленный монолог, от которого слезы сверкали в глазах у нее, а у меня текли по щекам. И всё, что она ни делала тогда, — а было ей восемнадцать лет в то лето, — значило только одно: где-то есть жизнь, где-то есть неожиданность счастья и произвол судьбы, и надо быть готовой ко всему, когда распахнутся, наконец, двери в бальный зал, полный света и музыки.

Отец возвращался со службы поздно вечером, съедал горшок каши, запивал его черным чаем без хлеба и сахара. Иногда мы обе уже спали, и он будил нас своими тяжелыми сапогами, от которых вот-вот казалось отскочит подвязанная веревкой подошва. Изредка он подходил к нашему дивану и смотрел на Ариадну, на меня, опять на Ариадну. Она открывала светлые глаза, просовывала руку с прозрачным колечком между щекой и подушкой, говорила: «Ах, папа!» — с каким-то печальным укором. А он уже готов был сесть в кресло и разматывать одну из своих нелепых историй, часто начинавшихся так:

— Однажды, Марк Твэн сказал мне: послушайте-ка мистер, забыл ваше имя-отчество . . .

В сентябре Ариадна поступила на службу в музей и я опять целыми днями стала оставаться одна.

После ее ухода с мышьей неутомимостью, с муравьиной выносливостью начинала я свой трудовой день. Я мыла пол, стояла в очередях, бегала за пайками, готовила и стирала. Иногда, когда не под силу было поднять большую кастрюлю с борщом или котел с кипящим бельем, я звала из соседней комнаты старую, стриженную, с трубкой в зубах, графиню Рыдницкую, и она помогала мне. В каждой комнате нашей квартиры, — а всех их было пять — жила отдельная семья, со своими детьми, со своей печкой и стиркой, и только графиня

жила одна и всё ждала, когда ей позволено будет уехать на родину, но бумаги ее всё не приходили.

После завтрака отец уходил на службу, а я опять принималась что-то чистить и скрести, между жесткой воблой и затхлым пшеном насилуя свое детское воображение. Потом я шла к графине и там слушала ее рассказы о несбыточной, нарядной и веселой жизни, об усатых мужчинах, кружевных накидках, меховых рукавичках и Божьей Матери.

В шестом часу мы садились с Ариадной за стол. «Ты бы хоть Пушкина почитала, — говорила она мне. — Хорошо бы тебя в школу отдать, а графиню нанять обед готовить». И я знала, что эта бестолковая жизнь моя скоро кончится, что я скоро начну учиться. В десять лет я была сильна, с красными руками и грубым голосом, носила финскую шапку и шитые из войлока сапоги, и целью моей детской жизни было: урвать где-нибудь что-нибудь съестное и принести домой.

Она приходила со службы, раздевалась и, сидя за столом и глядя перед собой, принималась мне рассказывать свой день. В музее она сидела не там, где висят картины и ходят люди, но в задних комнатах, где ведутся книги и всегда что-то укладывают и раскладывают. У нее был хороший паек: табак, селедки, иногда сало и крупа. Мне приходилось брать с собой наши детские санки, когда я ходила за ним. И как я впрягалась в них, как бойко шла по обледенелым мостовым, по крутым мостам Екатерининского канала, теребя замерзающий нос, перекинув косу за ухо!

Я уже знала и Георгия Серафимовича, ее начальника, и Веру Сергеевну, сослуживицу, и приходящих изредка, как у них говорилось «музейных работников» — профессора Максимовского, палеонтолога Гризе и поэта Андрея Звонкова. И я так хорошо и верно воображала большую комнату, где у высокого окна сидит за столом Ариадна и круглым почерком, клонящимся влево, записывает что-то в громадную книжищу. Напротив сидит Вера Сергеевна в шелковой кофточке; в нее все влюблены, она знакома со всеми писателями Петербурга и каждый вечер ходит в театр. А Георгий Серафимович, в

шапке и калошах, страшно образованный и всегда всем недовольный, ползает между какими-то ящиками с древностями и всё бранит кого-то, и грозит, что уедет жаловаться в Москву.

Мне казалось тогда, что жизнь, которой мы живем, которой живут все кругом в этом единственном на свете городе (потому что о других городах я не имела ни малейшего понятия), что эта наша жизнь с вечно сосущим нас голодом, с холодом, с рваным бельем, дырявыми башмаками, с черной сажей печки, тьмой на улицах, льдом, страхом тяжелого сиротского конца, тюрьмы, сумы, разлуки, больницы, есть единственно существующая в мире жизнь. И так же, как я не могла вообразить себе никогда не виданного апельсина или берега моря, так я не могла бы поверить тогда, что бывают на свете бесполезные подарки, бесцельные прогулки, праздные деньги, тепло и покой.

А между тем, графиня Рыдницкая приходила к нам иногда и рассказывала Ариадне и мне о меховых рукавичках и кружевных накидках, и убивалась над нами, — надо мной, потому что у меня не было «золотого утра жизни», как она выражалась, над Ариадной потому, что юность ее проходила без той туманной поэзии, которую графиня так любила.

— Бедные мои девочки, — говорила она, попыхивая трубкой, — бедные мои весенние цветы!

Ариадна пригорюнивалась при этом, покусывая свое светлое колечко, а я принималась так же грубо и громко хохотать, как хохотала над отцовскими остротами, хотя и чувствовала (никогда никому не признаваясь в этом), что в чем-то она права, только не совсем, а так немножко. И чувствуя это, я боялась, что смех мой перейдет в слезы.

Еще приходили к нам две барышни, две сестры Дюковы, подруги Ариадны по гимназии, Люда и Тата, большие, полногрудые красивые девушки. Сначала они не доверяли мне и требовали, чтобы я на самом интересном месте их разговоров затыкала себе уши, но потом они привыкли ко мне. «Эта Саша! Ох, уж эта Саша!» — говорили они вместе, а то и в три голоса с Ариадной: — «Ох, уж эта ваша-наша Саша!» И

это «ох» имело отношение к моему бесстрашию, к моим быстрым ответам, к моим вороватым глазам и сильным рукам, хватающимся решительно за всё и крепко за всё держащимся.

Она была во много раз лучше и Люды, и Таты, моя Ариадна, с ее громадными глазами, легкими волосами, хрупким телом и такой, как мне тогда казалось, особенной душой, какой ни у кого не было. Слушая их разговоры, шедшие обычно в перемежку с шопотом и смехом, я начинала понимать, что одна из Дюковых собирается замуж, то есть собирается переехать из родительского дома, от сестры, к чужому всем нам человеку, да еще расписавшись с ним в комиссариате, и основой всей этой катастрофы была ее любовь к этому чужому, кажется, не очень молодому человеку, и его любовь к ней, о которой главным образом и говорилось шопотом на нашем диване. Я начинала понимать и то, что другая Дюкова, тоже влюбленная в какого-то мужчину, испытывает невообразимые препятствия к тому, чтобы соединиться с ним так, как бы она того хотела. Мысль, что и Ариадна может когда-нибудь выйти замуж, переехать от нас, оставить меня одну с отцом, в пустоте и беспросветном мраке моей жизни, ужаснула меня. Я стала по особенному приглядываться к ней, и то, что я заметила, испугало меня.

Я заметила в ней постепенно всё увеличивающееся равнодушие к нам, словно мысли ее были уже заняты чем-то другим. Она приходила позже, уходила раньше; она вечерами стала бывать где-то, о чем никогда не рассказывала. Она стала иначе спать — ее дыхание не могло обмануть меня. И даже в самом лице ее я заметила перемену.

Помню в одно из первых воскресений нового, двадцать первого, года, мы все сидели вместе; отец что-то писал за своим письменным столом и время от времени, равнодушно поглядывая в нашу сторону, говорил что-нибудь фантастическое, отчего все недоуменно переглядывались. Мы сидели на нашем диване, Ариадна посередине, Люда и Тата по бокам, а я то с одной стороны, то с другой старалась примоститься на

ручке, но меня все отпихивали и даже один раз положили на пол.

— Бывают, девочки мои, — говорил папа, — такие животные, которые из собственного пупка вытягивают кишку и на ней играют удивительные мелодии.

Я смотрела на Ариадну.

— Что ты всё смотришь на меня? — спрашивала она. — Люда, спихни ее, чего она так смотрит? Ты бы хоть Пушкина почитала! Когда ты так таращишь глаза, видать, что у тебя лицо будто из двух частей составленное. Господи, какая ты будешь некрасивая, когда выростешь!

Тата смеялась, наматывала мою косу себе на руку и говорила:

— Некрасивая, но с характером практическим и сумасшедшим.

— Практическим и сумасшедшим, как у ее покойного отца, — хладнокровно подавал голос папа из-за какой-то бумаги.

А я всё смотрела, и страх будущего — ее и моего — обуревал меня, страх, которым я ни с кем не могла поделиться. Я опять старалась втиснуться между ними, меня, наконец, пускали, щекотали, накрывали мне лицо подушкой. А я всё старалась решить: почему я так люблю ее? Почему так боюсь потерять? Почему хочу быть всегда подле нее?

Я помню этот вечер. Он предшествовал той удивительной ночи, когда мы, наконец, остались одни. Отец влажно храпел у себя за ширмами, в комнате давно погасла печка и было холодно; незакрытое пианино, на котором Люда на прощанье отбарабанила вальс Шопена, белело клавишами и в груде грязной посуды (силы не было мыть так поздно все эти тарелки и чашки) что-то изредка потрескивало.

Я прижалась к ее худым, холодным ногам и тихо спросила:

— Ты любишь их? Ты очень любишь их?

— Кого? Дюковых?

— Ты им всё говоришь?

Она пошевелилась.

— Я никому не говорю всё.

— А я хотела бы кому-нибудь всё говорить. Ты нет?

Мне показалось, что ей захотелось отделаться шуткой, насмешкой, но она сдержалась.

— Говори мне всё, — сказала она.

— Не могу. Буду, если ты будешь тоже.

Она вдруг протянула под одеялом руку и тихонько сжала мои пальцы.

— Зачем тебе не больше лет, Саша? — сказала она почти вслух. Ты бы была моей самой близкой, самой первой подругой.

Я замерла, задохнувшись.

— А теперь?

— А теперь это всего только — Тата и Люда. Потом, только много потом — ты. Ах, я не знаю, может быть так оно даже и лучше. Бывают в жизни такие, знаешь, периоды, когда никакие подруги вдруг не нужны.

— Я не нужна?

— Ты сестра. Нужно вдруг становится совсем другое, такое особенное и серьезное. А прежнее всё такое детское.

Я села на постели.

— Ты влюблена? — воскликнула я с ужасом и слезы мгновенно полились у меня по лицу и рукам.

— Тише, что ты! Ты разбудишь папу. Иди сюда, ляг ко мне.

Я перелезла к ней и мы на некоторое время затихли. Никогда до этого она не звала меня лечь с ней рядом. Мне было так хорошо, так светло — даже в самых темных углах самой себя, и я хотела тогда только одного: чтобы эта ночь продолжалась вечно. От Ариадны шло тепло, шел милый, мыльный запах от ее шеи и какой-то сладкий — от волос. В длинной рубашке, с высоким воротом и длинными рукавами, она лежала вытянувшись рядом со мной, и я чувствовала ее плечо, ее колено.

— Скажи мне, кто он? — спросила я, замирая от блаженства и ужаса.

— Кто он? Ах, этого так сразу не расскажешь, — она

говорила как бы про себя, для себя. — Он работает в театре, хочет писать для театра, хочет быть режиссером. Но он женат и мы будем жить так.

Я не совсем поняла, что она говорит, но прерывать и спрашивать не хотелось.

— Папа, конечно, никогда не согласится: у него ни настоящей службы, ни пайка. И вообще он очень странный, совсем особенный, некрасивый ужасно. Ты увидишь.

— Он тебя любит?

Она вздохнула с каким-то перерывом.

— Да, Саша, — и она вдруг отстранилась от меня, — он меня любит и я его люблю. И мы решили быть вместе.

Слышно было под одеялом, когда мы молчали, как стучит ее и мое сердце, разнобойно и сильно.

Мы заснули вместе, и в эту ночь мне приснился сон.

Содержание сна забылось мною, остался его аромат, волнение, с ним связанное, та тоска, из которой он состоял весь, с первого появления чужого человека у нас в комнате, между печкой и ширмами, до его исчезновения в каких-то незнакомых переулках города, похожего на Петербург. Смысл сна был мною утерян, да его и не было, вероятно, как у большинства снов, только остался удивительный привкус, какой-то таинственный узел, который до сих пор гнетет меня. Этот человек, который во сне назывался мужем Ариадны, и на котором вертелся весь несложный механизм моего детского сновидения, был непонятным образом связан со всей нашей действительностью, с распадом России, с тем тяжелым, звериным и тоскливым, что происходило тогда наяву. Он как будто был тут в тесной, и необъяснимой, и страшной связи и со смертью мамы, и с холодом, и с голодом, и с недавним расстрелом моего старшего брата, и с несчастьями графини Рыдницкой.

Его звали Сергей Сергеевич Самойлов, и когда я в первый раз увидела его, был вечер, уже давно начавшийся и еще далеко не кончившийся, зимний вечер, и Ариадна собиралась в концерт, завязывая у зеркала ленты капора. Папа, молча,

хмуро поглядывал на нее, а она всё розовела, всё оживлялась, всё скорее говорила то ему, то мне какие-то пустяки, топая в валенках, и наконец, когда раздался звонок в передней, уже совсем скороговоркой сказала, что это за ней пришел ее знакомый, приятель Андрея Звонкова, поэта, близкий друг Веры Сергеевны, Сергей Самойлов.

— Женишок? — спросил папа с чем-то неприятным в лице.

Это выпадение Ариадны из круга отца и матери, офицерско-чиновничьего круга, в какой-то иной круг вольных людей, водившихся при университете, при музеях, в литературных собраниях, около каких-то маленьких театров, вдруг отчетливо уяснилось мне в ту первую встречу. Сцепление всех наших бед, больших и малых, привело ее на простор иной жизни, привело к Самойлову, и кажется отец тоже понял это тогда. Она, улыбаясь, поздоровалась с Самойловым и познакомила его с отцом. Я стояла неподвижно за печкой, в углу, подле шкафа, и смотрела на них, позабыв всё на свете.

Самойлову было тогда лет под тридцать; он был светловолосый, сутулый, с красным носом, дурными зубами и умным взглядом ярких глаз. Это был молодой человек без всяких признаков воспитания и понимания людей, с простой привычкой говорить самому и не слушать других, приходить и уходить, когда заблагорассудится; он не совсем соблюдал расстояние между собой и другими людьми, что-то упорное было в его вздернутых плечах и наклонном лбу. В серой, толстой фуфайке и ватном пальто, не сразу сняв фуражку, он стоял и ждал, пока Ариадна натянет варежки.

— Я должен вас предупредить и сказать вам откровенно, — уже через минуту говорил ему отец, — чтобы вас не ввели в заблуждение: один глаз у нее стеклянный. Бедная моя Ариадночка, с ней в детстве случилась такая неприятность! Но сделано так хорошо, что вы и не распознаете, который не настоящий.

Самойлов с любопытством смотрел на него.

— Ну-с, а вы чем занимаетесь, товарищ Самсонов? —

спросил папа, сладко вдруг улыбнувшись, собираясь сесть в кресло и уютненько побеседовать.

Но Самойлов с Ариадной уже готовы были уйти. Лицо ее было неузнаваемо и сияло.

— Я думаю ставить пьески, пьески разные, на киятере одном, в люди выйти собираюсь по театральной части, — ответил Самойлов с большой серьезностью, — пописываю всякие смешные штучки, стараюсь во всю, кое-чего добился, кое в чем поднаторел. Поэтические всякие представленьица очень обожаю.

Я стояла в своем углу, за шкафом, и смотрела на него во все глаза.

— А это кто же? Девочка или мальчик? — спросил он вдруг, увидев меня и протянув в мою сторону палец.

— Девочка, — ответила я громка.

— И зовут верно Ирочкой или Кирочкой? — без малейшего смягчения в голосе продолжал он.

— Нет, меня зовут Сашей, — опять твердо сказала я.

— Здравствуй, Саша, — вдруг просто и с какой-то внезапной короткостью воскликнул он, быстро подошел ко мне и тряхнул мою руку. Через минуту их обоих уже не было в комнате.

— Здравствуйте, Самойлов, — сказала я гордо, но не знаю, слышал ли он меня. Отец не взглянул в мою сторону. Он взял тонкий, голубой стакан, стоявший на умывальнике, из которого мы полоскали зубы, и бросил его в каминное зеркало. Раздался страшный звон. Стакан разлетелся на мелкие куски, обсыпав всю комнату, но зеркало почему-то осталось совершенно целым, и в нем всё так же, всё в той же мути и дымной глубине продолжали стоять лампа, мерцать серебристые наши обои, коситься закрытая дверь. Тогда отец ушел за ширмы, лег на кровать и громко захохотал или заплакал, — я никогда не могла распознать его смеха от плача. Но ночью зеркало треснуло.

Я долго в тот вечер не могла уснуть. Графиня Рыдницкая сидела у меня в ногах и вязала шарф, сиреневый, с кисточка-

ми. Я смотрела на нее и мне хотелось плакать и откровенничать, но я мужественно молчала.

— И вот, моя прелестная девочка, — говорила графиня, — в тот вечер, в первый раз, мы поехали с ним на острова. Лихач ждал внизу. На мне было газовое платье шампань с открытой грудью и бриллиантовый кулон с аметистами. Тогда носили локоны над шиньоном и каждый локон был надушен, а поверх был воткнут гребень, резной, резной, ужасно резной, и со стразами.

Потом она ушла, и я долго смотрела в то место, где она сидела, и ждала Ариадну. Но я не дождалась ее, она пришла, когда я уже спала. Я проснулась, почувствовав, как кто-то лег ко мне под одеяло; руки ее дрожали, шопот ее дрожал тоже.

— Саша, Саша, — шептала она, — пора спать Саша. Ты не спишь? Почему? Надо спать. Обними меня, Саша. Я не знаю, что со мной, прости меня. Я сама не понимаю, что это такое.

Но я уже не обнимала ее, не плакала с ней вместе, я вдруг очерствела в ту ночь и почувствовала даже некоторое удовольствие от этого жестокого чувства. Я вся сжалась, отодвинулась к стенке, притворилась спящей.

Днем всё было то же: стирка, уборка, стояние в очередях, беготня за сахаром к перекупщикам, на третий двор дома на Троицкой, тасканье дров из подвала, где кто-то крал их, и мои слезы о недосчитанных поленьях; жесткая, холодная, не по силам темная жизнь, третья зима — самая долгая, самая долгая, самая унылая. Днем всё было то же: и «ты бы Пушкина почитала», и отцовская рука, похожая на плавник, лежащая на столе, пока он пишет, или ест, или так себе сидит и смотрит куда-то мимо. Но вечерами уже всё было другое: Ариадна уходила почти каждый день, вернее, она не приходила больше со службы, а возвращалась поздно, когда мы оба уже спали, и иногда я даже не просыпалась от ее прихода.

Но однажды, уже в начале марта (помню, в первую же оттепель, я простудилась и теперь сидела дома с завязанным

горлом), в один из тех вечеров, когда отца не было, к Ариадне опять, во второй и последний раз, пришел Самойлов. Он был не один. Вместе с ним пришли Звонков и Вера Сергеевна, и все четверо пили чай, который я согрела на печке, ели черный хлеб, курили и разговаривали.

Подобие уюта было в тот вечер в нашей комнате. Треснувшее зеркало было завешено веселой пестрой картиной, полученной Ариадной в подарок от знакомой художницы; на лампе был новый самодельный абажур; чистая скатерть была постелена на столе и в вазе стоял большой, сухой розовый цветок, — не то настоящий, не то поддельный.

— Это, Саша, — говорила Ариадна всем по очереди, указывая на меня, и я неловко подавала свою красную руку, сама красная от шейного компресса.

Потом я тихонько разделась и легла, а гости, не обращая на меня внимания, продолжали говорить громко и много, заедать чай коркой хлеба, что-то декламировать, о чем-то спорить. Ариадна словно опять казалась мне прежней, хотя папироса в ее тонкой руке и какой-то локон над ухом были для меня неожиданностью, от которой сжалось сердце. Высокая, плоская, косоглазая и всё-таки чем-то красивая Вера Сергеевна говорила меньше всех, и однако, мне было ясно, что она ведет разговор. Звонков и Самойлов были на ты друг с другом. Звонков читал много стихов, и я понимала, что это всё были его стихи; читал он их нараспев, отчего стихи казались мне прекрасными, а Самойлов когда он умолкал, принимался что-то рассказывать, тоже слегка нараспев — и тогда всё стихало, его слушали, но он обрывал, не кончал, говорил, что Бог ему не дал слога, не дал дара, что он может выдумать что угодно, но срифмовать не может двух строк. А вместе с тем у него видимо на уме было что-то, что ему хотелось воплотить, что его мучило, что дозрело, быть может, уже давно, какой-то образ, для которого он нашел уже и название: Дырявый плащ.

— Его вынули из старого сундука, вросшего в пол дедовского дома. Он пахнет нафталином и кажется нам слишком

широким, но видно в старину люди были крупнее нас. Смотри, он весь в дырах! Он совсем вышел из моды. Но хоть он и сильно трачен молью, а всё еще великолепен. В него можно с головой завернуться от холода. Его надо проветрить: он слишком долго лежал на дне сундука.

Много лет тому назад, наши отцы в лесах Манчжурии на подступах Порт-Артура, завернули тебя и меня в этот плащ. Мы были детьми, нам было холодно в корейских степях. Отцы наши не вернулись оттуда, наши матери вернулись с нами одни. Наши матери, сероглазые и русые, взростили нас с тобой, а когда настала русская беда, не вынесли ни этих лет, ни этих зим. Мы похоронили их и поставили над ними простые деревянные кресты.

Мы многое видели, мы ничего не боялись, но еще больше предстоит нам увидеть в будущем. Молитвы мы забыли, надежды отняла от нас жизнь. Ничего этого больше не вернется. Этим старым плащем ты не раз укутывала свои маленькие ножки, я не раз драпировался в него, желая повеселить тебя и изобразить Чайльд-Гарольда старых времен. Скажи, не тот ли это плащ, которым Иосиф укрывал Марию с младенцем на пути в Египет? Или это, может быть плащ Дон-Кихота? Или, наконец, самого бога нашего, Сервантеса? Помнишь, как он кутал в него свою больную руку и закрывал им ослепшие глаза, а мы догоняли его, плача, но он не мог уже видеть нас? Или это плащ Лира, бегущего сквозь знакомую и нам бурю?

Теперь времена настали иные. Я должен уйти в одну сторону, ты — в другую. Мы раздерем этот старый плащ пополам. Он несколько вышел из моды, он напоминает какую-то старую пелерину, но это ничего! Я ухожу навеки в просторы моей угрюмой и жестокой страны, не только потому, что я люблю ее, но и потому, что мне нет иной дороги. Прощай!

Ты же возьмешь другую половину этой двухтысячелетней одежды нашей. Ты убежишь отсюда, от меня, от нас. Беги без оглядки, моя ненаглядная, моя дорогая, через моря и горы, беги в другие земли; не бойся одиночества, не бойся

своего сиротства. Живи, как птица, живи, как ветер. Спасай свою молодую, свою нежную жизнь. Беги в Африку, в Австралию, в Азию, выбери себе одну из двух Америк. Беги от этих унылых и страшных мест,

Закрыв плащем дырявым
Прекрасное лицо.

У меня, вероятно, был сильный жар. Я слышала высокий голос Самойлова. Он слегка раскачивался, когда говорил,- иногда стараясь облечь в трехстопный ямб отдельные выражения. Я помню, как он сказал: «Мне нет иной дороги», и потом, в конце «Одну из двух Америк», — но стихов писать он не мог, и конечно, поэма его должна была остаться ненаписанной. Однако, в полумраке большой комнаты, накуренной и натопленной, она как бы создалась на несколько минут, потому что трое его слушателей и четвертая — я — несколько минут после того, как Самойлов замолчал, еще слышали про себя ход и ритм несовершившихся стихов.

— Хорошо, — сказал Звонков, — очень хорошо. Не подаришь ли?

— Бери, делай с ним, что хочешь, — ответил ему Самойлов. И потом наступило молчание, которое показалось мне бесконечно долгим, и в котором я услышала, как стучит и звенит у меня в ушах.

...Это был колючий ветер, резавший мне лицо. Петербург тех лет представляется мне начертанным в снегу чертежом. На углу двух замерзших каналов, у крутого каменного мостика, я видела: налеплена большая афиша: в театре, в двухтысячный раз, идет пьеса Самойлова. Ветер треплет афишу и она рвется, как старый плащ; в дыры плаща виден красный закат, о красном закате в накуренной комнате читают стихи. Кто-то перевирает их — умышленно, настаивая на своей ошибке, и косоглазая, бледная Вера Сергеевна поправляет Звонкова, но он всё настаивает на своем:

Мы — дети Александра Блока
Забыть не в силах ничего.

Чего не в силах забыть? Холодную клинику, где умерла мама? Или похожую на глину, тяжелую и сырую четвертушку насущного хлеба? Или звезду над Сенатской площадью в прошлом мае, такую зеленую и одинокую?.. И эту звезду я уношу в сон, словно украденную.

Поздно ночью я открыла глаза. Свет горел в комнате. Отец, в одной рубашке и подштанниках, стоял, держась за свои ширмы, и громко говорил что-то. Ариадна сидела у стола, растрепанная, розовая, протянув по столу руки. В комнате был невообразимый беспорядок. Я не шевельнулась, и опять закрыла глаза.

— Если он с честными намерениями, то пусть не прячется. Пусть приходит, пусть женится, — говорил отец, видимо в десятый раз повторяя одно и то же. — Где вы с ним околачиваетесь? Куда бегаете? Что он вообще за человек есть? Нет, ты мне ответь, что он за человек такой есть? Актер? Суфлер? Может быть, акробат? На трапеции работает? Разве мне кто-нибудь объяснил, с кем я дело имею?

Она перевела дух, как будто за него.

— Я скоро уйду к нему, — сказала она спокойно, — мы будем жить т а к, потому что он женат.

Отец издал звук «А!» и в комнате стало очень тихо. Мне стало страшно. Я открыла глаза и села на кровати. В эту минуту ни к кому на свете не чувствовала я больше любви, а Ариадна показалась мне совершенно чужой. Пораженная этим открытием, я молча посмотрела вокруг себя и громко заплакала.

Она заметила, что я стала не та, и когда на следующий вечер — последний вечер жизни ее с нами — мы оказались с ней вдвоем, как бывало раньше, она, собирая свои вещи в парусиновый мешок, почти не говорила со мной, обходила меня, не объясняя своего ухода, словно всё должно было мне быть ясно и без того. Я стояла у окна. «Как же ты пойдешь в

такой буран?» — спросила я: крупный мокрый снег валил на улице. «Ничего, это не далеко, — ответила она. — Который час?» Было десять без десяти. «Это письмо ты передай папе». Я почувствовала, как что-то с силой шевельнулось во мне. «Что ж ты никогда не придешь сюда больше? — спросила я. — А как же я-то?»

— Ну полно, полно, ты совсем видно дурочка. Ты будешь ходить ко мне в гости.

— Это неправда, этого не будет.

Она вдруг села и спрятала лицо в руки.

— Я поняла, — сказала она, словно оправдываясь в чем-то, и вместе с тем понимая, что не мне слушать такие слова, — я поняла, что жизнь, это не это (она показала на нашу комнату), не ты, не он (она показала на ширмы). Жизнь это совсем, совсем другое, на всё это непохожее.

— Это Самойлов и его дырявый плащ, — сказала я грубо.

Она улыбнулась.

— Да, это дырявый плащ. Когда-нибудь ты вспомнишь меня, и эти слова, и весь этот вечер, а Саша?

— Не уходи, — сказала я едва слышно, — не уходи, Ариадна. Сделай всё как-нибудь иначе.

— Не могу иначе.

Я не понимала её, я рыдала на холодном подоконнике, а она целовала меня в волосы, прижимала к себе. Я не помню ничего, что было потом, как мы простились, как она ушла, как я осталась одна при свете горящей в потолке лампы, в какой-то угнетающей душу тишине. Отец вернулся позже обычного. Я вскочила к нему навстречу. Он остановился в двух шагах от меня. «Письмо, — сказала я, — тебе письмо от нее, папа».

— А! — сказал он опять, коротко и резко, — о чем же это письмо?

Я чувствовала, как всё мое лицо дрожит под его взглядом.

— Она ушла, папа, — выговорила я, наконец.

— А! Так на что ж читать письмо? Коли это всё, так

нечего и читать. Важен самый факт. Факт известен. А письмо — к чорту его.

И он ногой распахнул печную заслонку и сунул письмо в горящую печь. Не снимая ни шапки, ни калош, ни запорошенной снегом шубы, он прошел к себе за ширмы, повалился на кровать и затих.

Мы несколько дней скрывали ото всех наше несчастье, но графиня Рыдницкая, в конце концов, пришла к нам «вместе поплакать».

— Не можно, не можно так делать, — говорила она, дымя трубкой. — Юность — это цветы, это — любовь, это — красота. Но вот уже грубая жизнь обрывает лепестки, губит ростки . . . Трагедия отца не поддается никакому описанию.

Я ничего не понимала из того, что она говорит, и это меня озадачивало.

А Ариадна жила недалеко от нас, на Разъезжей, и я раза два в тот год встретила ее. Она носила бархатку на шее и кожаную шапочку самодельной работы. Каждый раз она с радостью и волнением целовала меня и распрашивала о том, как мы живем, и учусь ли я, и помню ли ее (будто я могла забыть ее, будто мне было не одиннадцать лет, а пять). Она утратила что-то чуткое, что было в ней по отношению ко мне, и разговаривала теперь со мной, как разговаривают с детьми взрослые, непривычные к детям. Я тоже стала чиниться с ней, мне захотелось дать ей понять, что я уже не та маленькая девочка, какой была, когда спала с ней на единственном диване, что я поступаю в школу, что я читаю книги, что я раскусила жизнь и уже многое понимаю. Так мы стояли на углу, возле писчебужного магазина, и страшно фальшивили друг с другом.

Потом я взаправду поступила в школу. Потом она переехала на Петербургскую сторону. А еще через год папина сестра выписала нас заграницу, и мы — в башмаках, выданных по ордеру, в пальто, сшитых из солдатских шинелей, в рубашках, выкроенных из старой простыни, приехали в Париж, держа в руках корзину с жестяной посудой и ремни с подушками.

Париж. Париж. Есть в этом слове что-то шёлковое, нарядное, что-то праздное, для танца созданное, что-то блестящее, шумящее, похожее на шампанское; всё там красиво, весело и немножко пьяно, какое-то кружево намотано; какая-то юбка шуршит при каждом шаге; что-то звенит в ушах и мелькает в глазах при этом имени. Я еду в Париж. Мы приехали в Париж. Мы стали жить в Париже... Но то, что я увидела в первый же день, не было похоже ни на шёлк, ни на кружево, ни на шампанское.

Представим себе человека, которого, наконец, домчали на луну. Он ждет, что увидит пустыню, величественную и грозную, увидит мертвые горы, каменные провалы, особенное небо. И вдруг он замечает, что перед ним всё та же оштукатуренная стена соседнего дома, идет дождик, во дворе дурно пахнет... Когда я выглянула в окно парижского своего жилища, мне показалось, что здесь всё совсем то же, что и у нас в Ротах: окраинный дух большого города, со множеством нищих, главным образом женщин, да еще старух; тихая, сумрачная улица, с дымящейся трубой прачешного заведения, с голубой вывеской слесаря; над вывеской окно с рваной тюлевой занавеской, за ней старик, вправляющий искусственную челюсть в широкий, мокрый рот. Надо всем — узкая полоска: образчик здешнего неба, серого и низкого. Там, за углом, и дальше — опять такая же улица, пустая и бедная; по ней идет некрасивая девочка, вроде меня (или это я сама иду с кошелкой?), сбоку из кошелки торчит кусок говядины, красный и твердый. Проходит рабочий с бутылкой вина в раздутом кармане заплатанной куртки. А потом опять ничего, никого, только слышно, как где-то стучит фабрика, вырабатывающая искусственную кожу для сосисок. Время от времени гул становится слышнее, это значит, что открыли двери на улицу, и тогда во всем квартале, и у нас в доме, начинает пахнуть чем-то тухлым и вязким.

Я прожила на этой улице не год, не три, не пять, и даже не десять лет. Я прожила здесь шестнадцать лет моей жизни, глядя в эти окна, дыша черным выдыхом фабричной трубы.

Года эти были бесследно похожи один на другой, это были колебания маятника, от весны к лету и от осени к зиме, всё тот же образовывался четыреугольник времени, в клетке которого я слушала с одинаковым смирением фабричный шум и воскресную тишину. Что-то за эти годы поблекло, заржавело, выцвело вокруг меня, побледнела лазурная вывеска слесаря. Что-то наоборот — обновилось, умылось, окрасилось по новому; но в квартире, внутри, у нас в доме, где в радио изо дня в день продолжал греметь Штраусовский вальс, где изо дня в день бессменная кошка играла с собственной тенью, где я жила с отцом в тесной комнате, расставляя из вечера в вечер, наискось от угла, как ставят покойников, свою складную кровать, — ничто не менялось, всё держалось кое-как, предполагая, верно, рассыпаться когда-нибудь, когда, может быть, нас уже не будет. Менялись только мы сами: Варвара, сестра отца, выписавшая нас, которую мы застали свежей сорокалетней женщиной, ни одного дня не остававшейся без работы и без любовника, стала за эти шестнадцать лет старухой, все еще ходившей куда-то поденно, на какие-то чужие кухни мыть посуду и натирать полы. К ней вечерами по прежнему приходили ее знакомые — поручики и капитаны, но уже не бравые, старательно приглаженные и припомаженные люди, а старые и смирные, как и она сама, с такими же, как у нее, громадными, жесткими рабочими руками.

Отец, первые семь лет прослуживший сторожем в многоэтажном гараже, а затем — рассыльным в кондитерской, теперь был без работы: работать, собственно, больше не мог, да работы и не искал. Те же всё были безумные рассказы, не имевшие ни начала, ни конца, тот же хохот похожий на плач, та же мистификация собеседника. Но в конце каждого анекдота появилось теперь слезное обращение в мою сторону: «О, дочь моя, моя Корделия!» — а когда меня не было при нем, куда-то в пространство, где я должна была находиться.

Я, конечно, изменилась больше всех: мне было тринадцать, стало двадцать девять, прожита была молодость вся, без

остатка; из некрасивой девчонки, угловатой и мускулистой, я стала некрасивой девушкой, коренастой и бледной, а потом очень скоро утратила возраст, утратила свежесть и чистоту скуластого лица. Будучи вполне здоровой, я вдруг стала напоминать мою больную, мою всегда неживую мать, и руки мои, такие прежде ловкие, стали большими и бледными, как у бабы, только что родившей.

Было тринадцать, стало под тридцать, но иногда мне казалось, что я всё та же, что я ничего не узнала, ничему не научилась, ничего не открыла здесь, что всё, что во мне есть, было уже там: знание жизни, отчаяние одиночества, высокие, таинственные чувства, мои слезы, мои мысли, моя от всех скрытая отвага, — всё это привезла я с собой, всем этим была награждена еще в России, и такой осталась навсегда.

Между тем, жизнь моя сложилась не хуже и не лучше иных жизней: тот волчий бег от западни к западне, за сытным куском, за теплым углом, кончился. В новом городе можно было жить по-людски: работать, зарабатывать, сводить концы с концами. Сначала я ходила в школу, но года через два школу пришлось бросить, потому что не было времени: надо было помогать дома. Варвара тогда шила, и я у нее довольно долго состояла в девчонках. У нее я научилась гладить, строчить, метать петли, и за это раз в год она шила мне платье, новое платье из какой-нибудь толстой шерстяной материи, на которое я несколько месяцев перед тем, как его надеть, любовалась бережно и тайно.

Когда мне исполнилось двадцать лет, я поступила гладильщицей в угловое прачешное заведение. К этому времени дела Варвары пошли хуже. В какое-то печальное зимнее воскресенье, перед Рождеством, она отправилась подавать в знакомый русский ресторан и очень скоро получила там постоянное место. Через несколько месяцев она сломала себе ногу, поскользнувшись с блюдом устриц в руках, и осталась хромой на всю жизнь. Ее определили мыть посуду на ресторанной кухне. Потом она стала ходить по частным домам.

Я стала гладильщицей. В течение девяти лет я каждый

день с утра до вечера гладила чужое белье, научившись стоять на ногах ежедневно часов по десяти. Я аккуратно получала жалованье, и тогда уже знала, что все гладильщицы и прачки откладывают, и даже не они одни, но и приказчики, и конторщики, и актеры, и даже министры. И тогда я тоже стала откладывать, мне понравилась эта мысль, о которой я раньше не имела понятия: сохранить часть заработанных тяжелым трудом денег, и на эти деньги . . . но что именно я буду делать на эти деньги, я еще не знала.

Военный воздух теткиной квартиры, так не похожий на воздух наших петербургских пещер, сначала очень мне понравился: мне всё казалось вечерами, когда гости сидели за чайным столом и говорили все вместе, что на завтра они куда-то выступят, будет дан бой, диспозиции уже взяты; мне казалось: мы все на бивуаке. «Генерал приказал собраться», «господа штаб-офицеры решили», «у гусаров нынче полковой праздник», — только и слышалось. И я удивлялась, почему эти люди с серыми лицами и нечистыми руками, не ходят в плюмажах, в голубых и сиреневых мундирах, не щелкают шпорами, не гремят саблями? У них была своя замкнутая, тесная и по своему дружная жизнь; были какие-то Марьи Ивановны, Евгении Львовны и Ирины Александровны, которые уже с другими мужчинами не водились; у них бывал бал с буфетом и вечеринки с лотереей-аллегри, традиционные обеды, молебны и панихиды, на которых они молились истово, молодецки выпячивая грудь и подтягивая церковному хору; но главное — были эти упоительно бесцельные, содержательные для них одних батальные беседы о том, как отступали от Екатеринослава, как сдавали Перекоп, как эвакуировали Севастополь, и Варвара, у которой муж, гусарский корнет, умер от ран на пути в Константинополь в девятнадцатом году, была в этой странно звучащей, ржавой цепи одним из еще вполне живых звеньев.

Девять лет. Нет, этому невозможно поверить. Разве так бывает в жизни? За что? Почему случилось так, что, не совершив никакого преступления, девять лет простояла я над гла-

дильной доской с тяжелым утюгом в руке? Первые дни я возвращалась домой и плакала ночами от невозможности постичь свою собственную судьбу. Потом я перестала плакать и пришла к заключению,, что окружающие правы: работа у меня чистая, место прочное, документ в порядке, жалованье я получаю достаточное, чтобы жить, как мне положено. А образования у меня всё равно нет, нет красоты, нет таланта, и значит ни на что другое я не гожусь.

И я копила. Никогда за эти годы не купила я себе ничего лишнего, ничего ненужного — чулки, обувь, платье, белье, я всё носила самое простое, годами не покупая перчаток и шляп. Я вносила в хозяйство за себя и отца то, что требовалось, а маленькие остатки хранила в толстой книге, стоящей на полке, над моим изголовьем, кулинарной книге, которой уже давно никто у нас не пользовался. Я слышала, что откладывают на операцию, на зубы, на поездку к морю, на новый буфет и просто на старость. С самого начала мне пришло в голову, что на эти деньги я когда-нибудь поеду в Италию. Я не знала, что именно буду смотреть в этой Италии — картины, или города, или просто темные ее ночи, апельсиновые рощи, кипарисы кладбищ? Но мне казалось, что эта моя мечта когда-нибудь осуществится: совсем одна, я поеду в Италию, в Геную, в Рим . . . Зачем? Чтоб увидеть то, чего я никогда, никогда не видела.

За все эти годы один единственный раз я могла выйти из этой жизни, это было, когда лет пять тому назад ротмистр Голубенко сделал мне предложение. Ротмистру Голубенко, одному из самых бравых варвариных гостей, было сорок лет с лишним, он держал магазин электрических принадлежностей. Это был черный, волосатый, живой человек, в прошлом смельчак и вояка, а теперь — любитель балалаечного оркестра, русской кухни и застольных песен.

— Вы будете сидеть у нас за кассой, — сказал он, — компаньон мой, Перловский, Василий Карлович, и я будем носить вас на руках.

За то, чтобы всю жизнь не простоять, а просидеть, я должна была заплатить своей свободой.

— Спасибо за честь, — сказала я, как можно мягче, а вышло всё-таки грубо, — но я отклоняю...

Откуда пришло ко мне это суконное слово?

На следующий день Варвара спросила меня:

— Ответь мне пожалуйста на три вопроса: раз — почему ты отказала Голубенке? Два — живешь ли ты с каким-нибудь прохвостом? Три — собираешься ли вообще когда-нибудь обзавестись мужем, и каким именно?

— О, дочь моя, моя Корделия! — воскликнул папа.

Я добросовестно думала минуты две.

— Раз, — сказала я, — потому что Голубенко бедный. Два — ни с каким прохвостом я не живу. Три — согласна выйти замуж только за богатого.

И сказав это, я пошла в угол, встала к ним обоим спиной, взяла с полки кулинарную книгу и пересчитала свои деньги так, чтобы они этого не видели. Там было восемь тысяч триста семьдесят франков.

Варвара ушла в соседнюю комнату и там раздался тот характерный звук, который я так хорошо знала: не то смех, не то плач — это у них было общее с отцом, и лицом они тоже были похожи, и напоминающими плавники руками; из соседней комнаты она меня окликнула и спросила: испытала ли я когда-нибудь любовь?

— А что такое любовь? — спросила я. И вдруг вспомнила Ариадну, и мне захотелось, вместо того, чтобы ехать в Италию, послать ей все мои накопленные деньги.

Было у меня во всю мою парижскую жизнь одно воспоминание, которое жило во мне, дышало, видоизменялось, росло, крепло, затихало, таяло и опять оживало. Оно иногда не давало мне покоя; оно часто делало меня счастливой; оно открывало мне знание того, что между людьми может быть какое-то серьезное и нежное проникновение друг в друга, радость от близости до тех пор чужого человека, тронувшего сердце навеки, отразившегося в этом сердце и там оставшего-

ся. Это воспоминание было совсем коротким. Это был голос, серьезно и нежно сказавший мне однажды: «Здравствуй, Саша!» Это был взгляд, однажды упавший в меня и как будто застрявший в душе. В моей бедной жизни я ночами жила этим воспоминанием, иногда весело, иногда слезно трогала его и думала над ним. Мне казалось, что так как я всё мое детство была немножко влюблена в Ариадну, то теперь оказалась влюбленной в ее мужа; мне казалось, что я бессознательно ищу соперничества с ней и подражаю ей; или что всё это лишь одно мое любопытство к их жизни, к их судьбе, любопытство к его несостоявшейся поэзии, которая должна была непременно иметь продолжение. С образом Самойлова у меня постепенно и незаметно связалось всё, что есть в жизни недосягаемого и прекрасного, о чем я могла только догадываться, мир, каким он мог бы быть, но не был для меня, люди, какими они могли бы стать, но какими я никогда не узнаю их. Мои тайные догадки о том, что кроме действительного, происходящего, есть еще образ, есть еще мелодия. Как будто в самые темные, в самые звериные годы моего существования, красота и поэзия мира мигнули мне, проносясь мимо меня, и сейчас же опять пропали. Пусть сам Самойлов был некрасивый, не слишком милый, не очень даже приятный господин, не имеющий таланта сочинять бессмертные поэмы (мы что-то не слышали тут, чтобы он прославился), что-то сквозь него увиделось мне тогда, прелесть иного мира мелькнула передо мной и сгинула в то время, когда ни о какой прелести мира нельзя было помыслить; и была теплота человека, на секунду склонившегося ко мне, когда кругом было так холодно и уныло, и люди боялись друг друга и не верили друг другу. Его «здравствуй, Саша», его совет жить

Как птица или ветер,

ничего не бояться, завернувшись в двухтысячелетний, то есть христианский, наш, хоть и разодранный на-двое, плащ, остались со мною во всю мою парижскую жизнь. Не скрою, самая память о лице его, голосе, за эти годы выцвела, потеряла свою

детскую силу, но всё, что пробудилось когда-то от этого лица, от этого голоса, было живо, еще существовало, еще иногда цвело во мне.

Оно не обладало ни твердостью, ни постоянством; в моей маленькой неуютной душе оно иногда не появлялось неделями, потом внезапно, без всякого видимого повода укалывало иглой, или начинало слабо, как-то лунно маячить в мыслях, потом пропадало. В какой-нибудь особенно одинокий вечер, когда рядом со мной, широко открыв глаза и всё время разговаривая сам с собой крепко спал папа (он теперь иначе не спал), а за стеной совсем уже седые, плешивые, беззубые, хриплые, пели и пили варварины гости (водка, гитара, какие-то прежние, свои женщины, некоторые давно бабушки), в какой-нибудь святочный вечер, или позже, весной, оно налетало, разматывалось, колдовало надо мной, оставляло в блаженном оцепенении, близком слезам.

Был конец августа 1939 года, и из нас троих в это время работала только я одна. Отец целыми днями сидел за столом и раскладывал пасьянсы, переходил по комнатам, держась за стены, остановившимися глазами смотрел и не видел, слушал и не понимал. Найдя вчерашнюю газету где-нибудь в углу, он долго читал ее, потом говорил, едва собирая слова: «Нельзя уступать, придется воевать, все пойдем, главное — твердость показать». Варвара, что-то бормоча, чинила и штопала, стирала и готовила — в августе она всегда оставалась без работы и никогда не могла с этим примириться, всё роптала, всё проклинала лето, свою никому ненужность. Штраусовский вальс гремел в радио; было жарко, скучно, пыльно в опустелом городе, а я всё стояла и гладила, стояла и гладила у белой стены, у белого стола, в белом своем фартуке, в ряду таких же, как я, старых и молодых, одутловатых и худосочных, молчаливых и болтливых гладильщиц, получающих, как и я, по четыре франка в час. Время останавливалось. Теплый дух подкрахмаленного полотна неподвижно стоял между нами. Жар печки, на которой грелись утюги, красный жар наших лиц, шипение утюгов, быстрый стук их на краю доски, а в

минуту тишины, тиканье стенных часов у хозяйского места — всё это было неподвижно, неизменно годами — назад, вероятно — вперед. В половине седьмого вечера начиналась уборка прачешной, в семь часов мы уходили домой; шатаясь от усталости, волоча опухшие ноги, проходила я те несколько сот шагов, которые отделяли меня от дома. А из фабрики колбасных кишек мне навстречу валили женщины, и каждая была чем-то похожа на меня, так мне тогда казалось.

Они валили мне навстречу в тот день с особенными, с измененными страхом и заботой лицами. Из маленького кафе рычало радио, но никто не останавливался, чтобы послушать ва». Растерянность мужчин и ужас женщин делали всех похо- ч тот, что стоял под окном, отвечал: «Опять она, и всё сызно- «Опять она» — говорил кто-то, свесившись из окна на улицу, его, каждый и сам знал уже всё, что должно было случиться. жими друг на друга; старых выбрасывало обратно в жизнь и они молодели от прилива чувств; молодых увлекало отчаяние и осунувшиеся, потемневшие лица их казались постаревшими. Жаркий вечер остановился над городом и не дышал, и в нашей улице, в медленных сумерках, кто-то громко плакал в подворотне большого серого дома.

Вечером, после обеда, я опять вышла на улицу, и так три вечера — до самого воскресенья — я выходила бродить. На углу улицы Вожирар, под тремя ростущими там платанами (собирались разбить сквер, но раздумали) толпились до ночи кучкой варварины друзья, и тихо разговаривали по-русски: Муся Мещерская, Петров, фон Моор, дядя Дрозд в синем комбинезоне, мадам Чурчуразова со своей слабоумной дочерью (обе простоволосые и в шлепанцах), Вася Востроносов, Петя Полешатов и другие, тоже все не то помолодевшие, не то постаревшие, называвшие друг друга, по старой памяти, уменьшительными именами, а меня звавшие Александрой Евгеньевной, будто я была другого полку. Три вечера стояли мы там, а в воскресенье я, сделав круг по рыдающим, по стонущим и кричащим улицам, попала на вокзал, где никто никого не слушал, никто никому не отвечал и люди, пьяные от горя,

давили друг друга в движущейся тесноте и прощальных объятиях, набиваясь в тяжелые поезда.

А небо было всё то же, то же. И такое у меня было тогда чувство, будто не вперед перелистнута была страница в тот вечер, но будто кто-то отхватил полкниги назад, с шорохом перехлестнул лет двадцать пять с лишним, и тяжелой рукой повлек всех нас в какие-то давно минувшие, страшные и скучные повторения. Это была западня, в которую мы попадали опять, дверца захлопнулась, безвыходное положение остроглазых, быстроногих мышат — вот только-что было возможно и то, и это, а сейчас всё кончено — задавило, пришибло, прихлопнуло.

Я была, как все в ту зиму, то-есть особенно ни на что не надеялась, замерла в полном и одиноком своем безразличии. Откладывать мне приходилось всё меньше: я теперь была единственной добытчицей в доме: отец болел, Варвара почти не ходила поденно, старела, бывала слишком занята и отцом, и домом. Я, как истинный кормилец семьи, приходила с работы на всё готовое. Да и какая же могла быть теперь Италия? Какие вообще могли быть мечты? Они хирели в безвоздушном пространстве моих постоянных сумерек. На два десятка лет хватило мне полудетских раздумий; когда Ариадна ушла от нас и с того дня, как я больше не видела Самойлова, словно погасла какая-то звезда и вот столько лет до меня еще доходил ее свет из необъятного далека. Теперь я знала, что по тому точному закону, по которому всё кончается, этот свет погаснет.

В самые дни июньской катастрофы умер папа, словно не мог перенести событий, хотя что был он им и что были они ему? Тогда я вынула из кулинарной книги запрятанные деньги. Около половины всего, что там было, ушло на его похороны. Варвара с горячим, опухшим лицом, растрепанная, неумытая, стояла тут же и в протянутую руку принимала мои бумажки, онемев от изумления. Потом она села на мою постель и залилась слезами — но уже не об отце, а обо мне, как я поняла по ее, в рыданиях завязшим, словам:

— Копила! Она копила! Откуда такое благоразумие? Как воли-то хватило? Сама без шубы зимой, в отпуск не едет, а откладывает... Да что ж ты, француженка, что ли? Откуда это в тебе? Вот оно, поколение-то новое, машины, не люди, никаких страстей, никакого безумия, один рассудок, рассчет... А мы-то, мы-то! Да, можно сказать, красиво жить умели, о завтра не думали, с двух концов жгли... В сберегательную не носили... Нынешние не то, умеют «про черный день»... Я в твоем возрасте только хвостом вертела. Ну, зато и отца похоронишь не в общей яме. Она копила! Нет, ты послушай, Евгений, друг ты мой, Саша-то наша деньгу копила!

И она с воем пошла к себе в комнату, где теперь лежал покойник, и там продолжала говорить, сморкаясь, пока не подошло время заняться каким-то делом.

Он лежал в солнечном луче, с чем-то благородным в лице, чего ему всегда как-то не хватало, со светлой каемкой между век и туго подвязанным ртом. Ноги его тоже были связаны и перевязаны были похожие на плавники руки, и от этого казалось, что весь он спеленут как мертвецы древности. «О, дочь моя, Корделия!» — прошептал он мне накануне вечером, и от этого воспоминания я заплакала, потому что каждый раз, как он это говорил, я знала, что он вспоминает Ариадну. На его мертвой груди мы нашли крестильный крест и стертый медальон, а в медальоне две фотографии — моей матери и Ариадны, вероятно, вставленные сюда еще в России. Я надела медальон на себя, а заодно и крест, и несколько дней было неудобно, потому что все это цепляло за лифчик.

Похороны его были совсем особенные: ярким солнечным утром явились дроги с клячей и двое служащих бюро. Погрузив гроб на дроги с помощью консьержа, оба служащих сели спереди и предложили нам с Варварой сесть сбоку, что мы и сделали. Мы ехали трусцой, держась за гроб и подбирая ноги, и всё время благодарили Бога за то, что так всё устроилось. На улицах Парижа не было никого, если не считать германских часовых. Я почему-то особенно хорошо запомнила площадь церкви Монруж, где ни вправо, ни влево, ни вперед, ни

назад, не было ни одного человека. Авеню дю Мэн была пуста до самого горизонта, авеню д'Орлеан была совершенно чиста. Все двери, все лавки были закрыты. Мне показалось, что в некоторых окнах стояли люди и показывали на нас пальцами. У Орлеанских ворот переминались с ноги на ногу два немецких солдата в полном боевом облачении, они спросили у нас пропуск, после чего мы опять затрусили дальше, а внешний бульвар вправо и влево напоминал своей полнейшей безлюдностью фильм, виденный мною много лет тому назад: какой-то ученый напустил на Париж внезапный сон, всё остановилось, и только на верхней площадке Эйфелевой башни уцелели какие-то влюбленные.

Перерыв в прачешной продолжался ровно одиннадцать дней, после чего всё началось сызнова, с той разницей, что теперь стирали не на частных клиентов, а на немецких солдат; мыло и щелок доставлялись по ордеру, как и топливо, а белье привозилось и увозилось на грузовике.

Мы вдвинулись в зиму без хлеба, без сала, без шерсти, без угля. Несложные предметы домашнего обихода вокруг нас постепенно начали портиться и ломаться, а заменить их было нечем. Перестали зажигаться спички — как было когда-то в России — признак надвинувшейся беды. Теперь мы были вдвоем с Варварой и когда я приходила вечером, на трехногом нашем столе, на кухне, было поставлено два прибора. Мы садились друг против друга, она — полуседая, тяжелая в своей хромоте, до сих пор темным карандашом подводящая глаза, начинающая стыдиться своих безобидных страстишек: выпить, покурить, посидеть при темном абажуре вечерок вдвоем с фон Моором, совсем лысым и очень обтрепанным; и я — худая, но широкая в кости, с неопределенного цвета волосами, грубо скроенным, несимметричным лицом (левая сторона чуть меньше правой), всегда в одной и той же темно-зеленой юбке и серой кофточке, листающая какую-нибудь библиотечную книжку (варварин вкус — роман из жизни графьев и князьев), или тасующая старую колоду карт —

успеть разложить единственный известный мне пасьянс, пока не пришли Петров и фон Моор и не сели в дурака.

Темными, толстыми пальцами, распухшими от холода, но всё попрежнему далеко отставляя мизинец, Варвара держала чашку какого-то подозрительного напитка, слегка пахнущего ромашкой и перцем, сахарин шипел в нем, потому что был на соде, а небольшие, дурно нарезанные ломти черствого хлеба, намазанные яблочным повидлом, дополняли угощение. Обычно все жались в крошечной кухне, где было теплее, потому что был газ, и тут же, когда гости уходили, мы раздевались, кое-как мылись над серой раковиной и бежали каждая к себе в ледяную постель, где каталась под одеялом горячая бутылка. Гости выходили на темную лестницу, чиркали спичками, хлопали себя по бокам, ища карманный фонарик и найдя, убеждались, что батарея опять не горит — свойство всех батарей, лампочек, зажигалок в грозные времена. Они выходили в черный, без единого света мрак улицы, в осеннюю городскую ночь, которая была как ночь в лесу или поле — ни огня, ни голоса, ни тени. Когда бывала луна, люди подбадривались, шагали крупно, ликуя переходили мостовые; когда шел дождик, то не было слышно встречных, и бывало двое сталкивались грудью, отвратительное чужое тепло касалось лица, чужая тяжесть задевала тело. Когда после Нового года выпал снег, то несколько ночей было светлее от белых плешин, от каких-то звездных отсветов. И надо было внушать себе, оступаясь о какие-то кучи, щупая углы домов, чтобы не просчитаться перекрестком, что это Париж — шёлк, кружево и шампанское — а не Обоянь, не Чебоксары между властью белой и властью красной, не двадцатый, а сороковой, сорок первый, сорок второй год, и земля попрежнему вертится вокруг солнца.

И разговоры чем-то напоминали мое петербургское детство: если они были на высокую тему, то непременно о том, что девять десятых человечества всегда жило впроголодь и что значит должна была и для нас, парижан, настать уравниловка; если на низкую, то о том, где достать масло и когда

начнут выдавать картофель? Развязывались с легкостью узы, до того казавшиеся нерасторжимыми; слово «арест» ходило наравне с мелкой разменной монетой, и в этой расшатанной, голодной и холодной жизни умирал для меня всякий свет памяти, всякий свет надежды.

Многие в ту зиму уехали, — кто куда — устроились на работу в Германию, бросились сражаться в Россию, незаконно бежали на юг. Ни Муси Мещерской, цыганки в длинных серьгах, ни Пети Полешатова, скучного и прожорливого враля, ни дяди Дрозда, георгиевского кавалера и шоффера, больше среди нас не было. Продолжали ходить Петров да фон Моор, оба служившие в починочной мастерской при немецком гараже, приносили то кочан капусты, то кило сахару, то просто фальшивую хлебную карточку, и за всё это платила я, а когда не хватало жалованья, вынимала заложенные в кулинарную книгу деньгу.

Варвара хромала из кухни в комнаты, обсыпая папиросным пеплом постную запеканку из брюквы. Тут же в кухне висела гитара, которую Петров любил держать в руках — играть он на ней не умел. Все трое, сидя на жидких стульях вокруг стола, в масляно-коричневых стенах, потчевали друг друга «натуральным винцом», хрустели соленым огурцом, выпивали по восьми чашек чаю. Она, попив и покурив, игриво смеялась, они называли ее Барбишончиком, как сорок лет назад, кажется ревновали ее друг к другу, во всяком случае обнимали ее по очереди за талию, жали ей под столом ноги, целовали толстые, грубые пальцы. Фон Моор имел на нее заметно больше прав, чем Петров. Между ней и фон Моором иногда вспыхивали многозначительные, страстные намеки, от которых мрачнел Петров и рвал гитарные струны.

— Подсаживайтесь к нам, честь и место, — кричали оба, а мне некуда было спрятаться в холодной квартире и я шла к ним на кухню, потому что здесь было тепло. — Александра Евгеньевна, не осудите по молодости лет. Страсть есть жизнь, как сказал один испанец.

И я садилась между ними. И Петров, маленький, тощий,

но ужасно толстогубый, с совершенно желтыми, как подсолнечник, глазами, целовал меня в плечо, изображая пьяного, а Варвара, млея, ударяла его по руке крепко надушенным, не совсем чистым платком.

Две бутылки стояли на столе. Под них Варвара любила подкладывать старые конверты, для сохранения чистоты клеенки в цветах. Но на этот раз под бутылкой красного бордо простодушно было подложено нераспечатанное письмо на мое имя, и я увидела его, уже порядком залитое вином.

— Прости меня, Саша, виновата, виновата, — закричала Варвара, — с третьего дня лежит, под хлебом запряталось. Всё забывала сказать.

— Из газового общества? — поинтересовался фон Моор и громко захохотал.

— От налогового инспектора, — ответил ему Петров и услужливо подал мне грязную вилку, чтобы вскрыть конверт.

Письмо было совсем коротенькое. Чем дольше ждешь, тем письмо бывает короче. Собственно, оно должно было бы состоять из одного только обращения: ведь столько лет...

«Дорогая Александра Евгеньевна, я хотел бы с Вами встретиться. Давно знаю, что вы тоже в Париже, один раз даже мельком видел Вас (года два назад). Однако, не знаю, как Вы ко мне относитесь, может быть, не совсем дружески? Буду Вас ждать в ближайшую субботу в кафе у Вас на углу, часов в девять. Расскажу Вам кое-что. Есть у меня до Вас маленькая просьба — дело моей совести. Впрочем, Вы может быть, не помните меня? Я — муж Вашей сестры, Ариадны, Сергей Самойлов».

Перечитав это письмо десять раз сряду, я поняла две существенные вещи: первая, что Ариадны с ним больше нет, вторая, что он давно в Париже, но ни разу до сих пор не вспомнил обо мне.

С письмом Самойлова в руке, я вышла из кухни, прошла в комнату и там, в темноте и холоде, просидела довольно долго. Меня поразило то, как я начисто лишена каких бы то ни было предчувствий. Казалось бы: стужа и мрак; полу-голод,

полу-террор; не зажигаются спички; с весной начнет трава расти на улицах. Кому же явиться, как не ему для дополнения картины? А письмо было такой неожиданностью для меня. И я включила радио, совсем тихо, не видя покрутила стрелку. И вдруг кто-то нежно и со всем убеждением, на который способен человеческий голос, сказал:

— Ты здесь еще? Ты всё еще здесь? Но, клянусь тебе, там ждут тебя, там всё готово к твоему приезду. Сейчас в садах цветут апельсиновые деревья, морское дно видно из окон белой виллы. И, знаешь, вечером по саду летают темно-синие стрекозы, каких ты никогда не видела. Пора тебе туда, пора!

Мгновение тишины; гром аплодисментов и, кажется, тяжелое шуршанье падающего занавеса.

Два года назад он видел меня, но с тех пор ни разу не подумал обо мне.

Но зачем ему было думать обо мне? Зачем вообще было помнить о том, что у его тоненькой, светлоглазой, сумасбродной жены были где-то когда-то родственники — сумасшедший отец, принявший его в штыки, и неизвестных лет не то брат, не то сестра, которых сама Ариадна легко бросила, на письма которых не отвечала и которые в ее жизни никогда никакой роли не играли — люди другого мира, и их вероятно покоробило бы, если бы они узнали, что Ариадна стала маленькой актрисой, игравшей сначала разные иностранные пьески с претензиями, а потом — романтические доморощенные агитки; что они оба шатались по театрам сперва Петербурга, потом — Крыма; она все стремилась к Таирову, но так выходило, что в Москве им не было места и они несколько лет прожили в Симферополе и там играли, пока Ариадна не заболела брюшным тифом и не умерла. Он тогда (это было в 1928 году) перебрался в Тверь, к сестре. Здесь его и арестовали по какому-то заводскому делу, в котором был замешан муж сестры. В тюрьме он просидел недолго, всего четыре месяца, и был даже суд, после которого его сослали на Беломорский канал, и там он встретился с настоящими политиче-

скими ссыльными, преимущественно сектантами — беспоповцами и субботниками. И однажды, по снегу, лесом, карельским девственным бором, перешагнув через Мурманскую дорогу, мимо озера такой красоты и неподвижности, что собственно, надо бы туда когда-нибудь непременно вернуться, мимо пограничников в шлемах — а издали казалось, когда он хоронился в сугробах, что у них песьи головы и загнутые шашки торчат из-под длинных шинелей, как песьи хвосты, — мимо всего этого, из сугроба в сугроб, с краюхой краденого хлеба за пазухой, до одной избушки на курьих ножках, с веселыми наличниками, с киноварью и суриком расписанной дверцой, с синим дымом из лакированной трубы, на которой щелкал флажок — полицейский финский участок, а вы думали — игрушечный домик, где живет пряничный карлик из сказки?

Два года Гельсингфорса и пять лет Берлина, сначала грузчиком, потом фокусником, потом шоффером, потом гримером. Я переехал в Париж, но на всю жизнь здесь не останусь, нет, нет. И, может быть, уеду очень скоро, здесь мне делать нечего. Куда? На восток, на восток, конечно: не люблю океанов, не люблю островов — люблю твердую землю. Я потому и поспешил . . . то-есть я мог бы и раньше, но не было такой настоя . . . настоящей необходи . . . — Тут только я заметила его манеру говорить, не кончая слов. — Я объясню вам сейчас причину. Это для меня так важно. Это просьба . . . это . . .

Он крепко обнял и сжал маленький круглый столик, на котором стояло наше пиво.

Он был когда-то некрасив, бледен, краснонос, производил не очень молодое впечатление; улыбка беззубого рта безобразила его. Таким он остался навсегда, и умные, блестящие глаза его смотрели тем же прямым взглядом мне в душу.

Но кроме того, в облике его оказалась та русская потрепанность, которую я так хорошо знала, особая потрепанность, которая началась с нашей заграничной жизнью и кончится с нею. Она обошла, как рок, только малое число весельчаков и разбойников, сроднившись со всеми остальными, с их блестя-

щими спинами, душными подмышками, вытертыми обшлагами, истертыми галстуками, серыми носовыми платками. И не имело значения, что Самойлов был более похож на актера и комиссионера, чем на бывшего офицера и каменщика, эта потрепанность его была та же, что и потрепанность варвариных знакомых.

— Я смотрю на ваш серый свитер, — сказала я, — и мне кажется, что это тот же самый, что и тогда. А «Дырявый плащ» помните?

Он помотал головой.

— Я никогда никакого плаща не носил.

— Я и не говорю, что носили, вы сочинили его. Помните, там было про Дон-Кихота и Лира?

Он внимательно посмотрел мне в лицо, и вдруг что-то прошло в его взгляде, что-то блеснуло в памяти.

— Это не я, это Звонков придумал. Был у меня такой товарищ, он в ссылке умер.

— Да нет же, это вы, я наверное знаю. Неужели вы забыли? Такая немодная была пелерина и ее уже поздно было штопать.

— От нее сейчас осталась одна дырка, — усмехнулся он.

Мы замолчали оба. Я думала об Ариадне, о ее прозрачном лице, о груди, которая светилась, когда она купалась в тазу. О том вечере, когда она ушла от нас, завязав ленты капора и взяв какой-то узел на руку, бабьим, извечным движением. И я думала о Самойлове, о том, что он на две трети прожил свою жизнь, что это свидание имеет для него какой-то важный смысл, и еще о том, что глядя на меня, он меня не видит

Я никогда не волнуюсь, я очень спокойная, но в тот вечер я волновалась ужасно, будто что-то могло зависеть от этого свидания. Из-за этого волнения я так плохо слушала его. Припоминаю слабый свет лампы в вонючем кафе, пятна сырости по стенам и его, конечно, оказавшегося куда меньше ростом, чем я думала: в детстве он казался мне высоким.

— Я вызвал вас сюда по очень важному для меня делу, Александра Евгеньевна. И важному, и спешному, — повторил

он, улыбнувшись во весь рот. — Я хотел бы попросить прощения у вашего отца. Так таки прощения, как бывает, когда люди каются. Вы могли бы помочь мне в этом?

Вероятно лицо мое выразило удивление.

— Я перед ним очень грешен, очень виноват. Я у него дочь увел, хуже чем украл, почти что убил. Меня это чем дальше, тем больше мучает.

Тогда я расхохоталась ему прямо в лицо.

— Вы верите в эти глупости? Да вы с ума сошли! Неужели есть люди, которые верят в эти глупости?

Он отпустил столик, который всё время держал.

— Не знаю, что вам ответить на это, — сказал он. — Быть может, надо бы промолчать. Или сказать, что есть, есть такие люди, которые верят, напрасно, мол, вам кажется, что их нет. Да ведь вы и сами знаете, что их не так мало. Я думаю, между прочим, что если бы их вовсе не было, в мире было бы очень неуютно.

— Почему?

— А вы преставьте себе: вот вы встаете однажды утром, день как день, дождик идет, и вдруг вы узнаете, что то всё отменено, что касалось там всяких глупостей, но не так, как в России, где только всего и сделали, что из тысячи церквей оставили одну, а попов отдали в арестные дома. Нет, отменено временем, веком, всё, связанное с совестью, с сознанием греха, с «блаженны плачущие». Секрет утерян. Остались, так сказать, только права человека и гражданина, да уголовный кодекс. И никто больше ни в чем не сомневается, никто не молится. Вам не было бы страшно?

Я неподвижно молчала.

— Подумайте и скажите. Я ведь знаю, вы наверное никогда, никогда . . .

— Вот именно, — перебила я его, — даже к заутрени.

Я потянулась к старенькому, вытертому портсигару, из которого он только что закурил, и вдруг почувствовала, что солгать не посмею.

— Да, это удивительно, но мне стало бы не по себе, —

сказала я, — да, мне стало бы неуютно, если бы то совсем кончилось.

Он едва услышал мой ответ. Какая-то новая мысль овладела им.

— Есть ли у вас кто-нибудь очень близкий, очень дорогой? Нет? Совсем никогда не было? Ну, тогда подумайте о вашей матери. Вы ведь помните ее? Представьте себе, вам скажут, что она была богохульницей, богоотступницей, — ведь это всё равно, что узнать, что отец был безносый. Вы смеетесь? (Я не смеялась). Отчего это каждому человеку хочется, чтобы мать у него непременно в какой-нибудь церковушке «припадала», чтобы она, так сказать, за него умела замаливать? И потом, на том свете, тоже немножко...

Я молча пожала плечами.

— Вы знаете, самый холодный, как камень холодный человек хочет, чтобы возлюбленная его умела с Богом поговорить и его детей бы этому учила. Я одного такого знал в тюрьме, ему сектант один Евангелие подарил, а он взял да Евангелием этим мышь убил: боялся мышей, ночью слышит шорох, вскочил, бросил в мышенка Евангелием, на месте пришиб.

Он перевел дыхание, выпил пива.

— Удивительно, — сказала я, опять подняв и опустив плечи, — удивительно, Сергей Сергеевич, что вы о таких вещах думаете, о таких вещах говорите. И каяться хотите. Только отец мой...

Но он перебил меня.

— Я встречал на севере, в лагере, таких людей, таких... Я мог бы рассказать вам...

Но в маленьком кафе, где мы оба сидели, поднялось какое-то беспокойство. Искали чей-то зонтик. Нам тоже пришлось встать. Гарсон ползал на четвереньках под лавки, лохматый пес, дремавший у потухшей печки, заворчал, открыл гнойные глаза, и колыхнулась занавеска над дверью, не пропускавшая на улицу сиреневый свет ламп (старое, рваное биллиардное сукно), выпустив и впустив кого-то. Здесь пахло винной

отрыжкой, как во всех маленьких грязных парижских кафе, и ноги мягко шлепали по сырому мусору давно неметеного пола. Куда ни глянешь — глаз всюду встречал какие-то сырые тряпки, которыми время от времени всё тот же гарсон вытирал в углах откуда-то набегавшие лужи.

Как иногда бывает, я слушала его голос и не слышала его слов. Я смотрела ему в лицо, видела, как в какую-то минуту рассказа, вероятно, решительную, он сделал остановку и провел обеими руками по щекам. Я слишком была растревожена этой встречей. Я думала опять об Ариадне, о Симферополе, о том, что там есть кладбище, а на этом кладбище — ее могила. Внезапно я прислушалась. Самойлов говорил о каких-то двух женщинах, которых он знал на севере, на лесозаготовках.

— ... и тогда главный начальник — зверь и палач — велел им придти. И он спросил их: чорт побери, отчего вы всегда такие покорные и всему радуетесь, и не боитесь двойной нагрузки, и паек свой отдаете, и всякое глумление переносите, и вот у вас сквозь лохмотья тело сквозит. Отвечайте, сволочи! И они ответили: оттого, что мы верим в Господа нашего Иисуса Христа...

А руки у Самойлова были большие, худые и чистые, с тонким обручальным кольцом на безыменном пальце, и я думала: откуда это кольцо? И что он вообще делает? Где живет? Он рассказывал о каком-то Владимире Борисовиче, студенте Духовной Академии, который с 19-го года ходит по сибирским лагерям, и я только и успела запомнить из всего рассказа это ничего не значащее имя и отчество, потому что Самойлов говорил теперь всё быстрее, тайно и глухо разгораясь, сыпал слова перед собой, бежал по ним, пробегал обратно, иногда оставлял их наполовину непроизнесенными. Лицо его было худощавое, совсем мне чужое. Сейчас же над ухом начиналась редкая проседь.

Он остановился внезапно на какой-то невидимой точке.

— Ну, это так, к слову. Многое я тогда видел... Теперь о другом, я вас наверное задерживаю? Вы наверное заняты?

Нельзя ли мне увидеться с вашим отцом? Я хочу, я должен просить у него проще...

Я ответила:

— Отец мой умер.

Он остался неподвижно сидеть, только лицо побледнело немного. И я поняла тогда, что по глазам его, по умным, ярким глазам, ничего нельзя узнать, что он думает, что чувствует.

— Вот как, — сказал он медленно и тихо. — В таком случае, простите, что зря вас побеспокоил.

И это было всё. Он сложил горкой мелочь — за выпитое пиво, его и мое. Рукопожатие наше было сильно и кратко, после чего он пошел налево, а я направо. И было так темно, что никто не мог видеть наших лиц.

Всё было мне понятно: ему нужно было видеть меня, чтобы окончить дело своей совести. Он колебался долго, он, может быть, много лет мучился этим грузом, возможно, что перед каждой исповедью, — потому что он наверное занимается таким делом. Если бы мой отец был жив, Самойлов вероятно пришел бы к нам, — и кто знает! — мы бы еще разок могли поговорить на разные темы. Я, может быть, рассказала бы ему о себе, о знакомых прачках, о скопленных деньгах, о поездке в Италию, которая, конечно, никогда не состоится. Он бы посидел вечерок с фон Моором... Но папы не было больше, и он зря потерял время со мной. И я не сказала ему, что он учит меня в жизни тому, чему не могли научить ни прачешное заведение, ни ротмистр Голубенко.

Он зря потерял вечер с совершенно посторонней особой, о которой он не знал решительно ничего и которая ему была никто. Его жизнь с Ариадной, вероятно, представляется ему сейчас юношеским грешком, не более. Бог ему судья. Его Бог. Может быть, скажут что люди меняются? Нет, люди остаются те же. Он тот же, и я та же, и даже рассказы его звучат продолжением прежних выдумок.

В кухне на этот раз было чадно и дымно, потому что Варвара пекла блины. Петров, фон Моор и вернувшийся в отпуск из Бретани Вася Востроносов (шрам в поллица, пом-

нит Каледина) сидели там и уже тянули по третьей. Я сейчас же села с ними, меня стиснули, я выпила и вот уже хохотала, глядя, как фон Моор навинчивает блин на вилку. И когда я хохотала так, я слышала сама, что мой смех начинает походить на плач — точь в точь, как у папы и Варвары, это у нас семейное. Я вспомнила про пасьянс, который тоже перешел ко мне по наследству, и от смутного чувства, что бессильна что-либо поправить в своей жизни, стала хохотать еще громче. Но лучше было так смеяться со всеми вместе, чем плакать одной в нетопленной всю зиму комнате, под тонким, полосатым одеялом, в жесткую подушку. Ведь это была и есть моя жизнь.

Вещи вокруг нас делаются всё более хрупкими. Каждый предмет — единственный и другого больше не будет. Люди делаются всё прозрачнее, и когда уходят, то кажется, что они вот-вот вернутся. Всё пропадает: хлеб, бумага, мыло, нитки, керосин и золото. Пропадает пропадом мир, и в этом всеобщем пропадании, уже не от звезды, давно угасшей, а от какой-то новой дрожащей звездной туманности, тихонько опять сияет для меня какой-то благословенный свет.

Я не могу объяснить, когда и каким образом появился он снова, у меня нет уже прежней зоркости, детской, безошибочной чуткости, того нюха, которым я когда-то была наделена, но я знаю, что в нашей черной жизни, телесно слабея, тупея, старея, я с какой-то особенной силой, с особенным жаром опять ловлю его, и то, что оживает наперекор всему (как и двадцать лет назад) внутри меня, можно бы назвать — очень приблизительно и тяжеловесно — исканием высоты, жаждой мудрости, любви, правды, при чем все эти слова не значат разное, они части чего-то одного, бесконечного, вокруг которого я хожу, не видя его. Какая высота может ожить там, где именно бедность и пошлость делают ее невозможной? Какая мудрость в моей службе в прачешной и в вечерах, проводимых на теткиной кухне? Где в моей жизни любовь, до которой мне никогда не было дела? И неужели может меня коснуться правда, о которой я никогда не задумалась? Но как двадцать лет назад, бесплодная восприимчивость моей души снова обо-

стряется, как может быть ей суждено обостриться всего два-три раза в жизни человеческой. И я невольно начинаю думать, что когда-нибудь, году может быть в шестидесятом, мне будет еще раз положено испытать что-то подобное.

Но где тогда будет Самойлов, и каким именно образом подаст он мне знак?

Н. Берберова

1941-1942.

КОНЬ РЫЖИЙ*)

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

I.

Лев Толстой где-то очень хорошо писал «о любви к земле по купчей крепости». Этот дом мы строили сами. Клали фундамент, выводили стены, настилали черепицу, красили полы, клеили обои, устанавливли печи. И на самом краю немецкой деревни вырос наш двухоконный сероватый дом. Весь участок земли обнесли забором, вдоль него посадили любимые русскими березы, тоненькие, нежные, но уже в первый год затрепетавшие легким ситцем листьев. Перед балконом — кусты роз, всякие цветы, пестрый строй георгинов. А дальше фруктовые деревья, груши, яблони; весной, когда они зацветали, везде, даже в комнатах, пахло леденцами.

Этот дикий песчаный участок разделан любовью нашей семьи к земле. Вспоминая пензенское именье, мы шутя называем его «местоименьем». Земские корни оказались глубоки, тянут к земле. Кто-то из древних говорил, что человеку нужен не столько дом, сколько сад. Мне он нужен. И вот я сажаю, поливаю, полю, копаю песчаную немецкую землю, превращая ее в свой сад. Только в этом году нет былого душевного покоя, оттого и нет возможности вполне им насладиться. Это чувство спасшихся после кораблекрушенья, ноги всё еще не верят суше. Русскую грозу носишь в себе, словно от русского землетрясения никуда не ушел. И в острые минуты та-

---

*) См. 14-ую, 15-ую, 16-ую, 17-ую и 19-ую книги «Нового Журнала».

кого ощущенья, здесь на бранденбургском песке чувствуешь себя нежилецкой луковицей, пустившей корни без земли, в воздух. Тогда и этот разделанный цветник, и деревья, и огород кажутся почти несуществующими. Но всё-таки к весне я рою новые ямы, смешиваю песчаную землю с чернозёмом, с удобреньем и сажаю новые яблоновые и грушевые сорта, которые зацветут только на вторую весну; и всё-таки хорошо свежим солнечным утром выйти из своего дома в свой сад.

На подловке голуби уж заждались лёта и черношалие, синеплекие, белые, краснопузые, желтые, чугунные выносятся в прозрачность утреннего воздуха с стремительным звоном крыл, словно под рукоплескания. Играя, они дают сначала низкие, блистающие, взволнованные круги, потом набирают высоту и в солнечных лучах кажутся прозрачными, белосеребряными «как святой дух», а залетев на оловяную тучу сразу проявляют всю разнобойную пёстроту окрасок. Это тоже счастье: следить за полетом своих голубей. На большой высоте, отстав от стаи, лентовый красношалий начинает кувыркаться, стремительно падая вниз, и кажется, вот-вот ударится о крышу, но у крыши внезапно он выравнивает паденье и тяжелыми кругами снова начинает набирать высоту, догоняя снизившуюся за ним стаю. Взвинчиваясь в поднебесье, голуби почти скрываются, также как мои русские голуби в Пензе, когда мальчишкой, стоя с махалом на крыше, я спорил в голубиной охоте с приказчиками соседней мануфактурной лавки братьев Кузнецовых; водить голубей, это сильная и непроходящая страсть.

В подберлинской деревеньке Фридрихсталь я живу уж давно. За двенадцать лет жизни хорошо знаю Германию. Берлин знаю лучше Москвы. Знаю суровые берега Северного моря, живописный Шварцвальд, солнечно-гётевские Веймар и Иену, где идя по улицам, из уюта цветущих розариумов я всегда слышал то набежавшего скрипичного Моцарта, то рояльного Баха; знаю деловые немецкие города, Лейпциг с вокзалом в тридцать шесть платформ, безличный Магдебург,

скучный Брауншвейг, пестроту старинного портового Гамбурга, изящный Гановер, оставивший в душе легкое воспоминанье, знаю Франкфурт, Штеттин, но больше всех немецких городов люблю столицу Саксонии — Дрезден с его синей Эльбой, с дворцом, с Брюллевской террасой, с недалекой крутизной Кенигштейна, с воспоминаньями о Достоевском, Бакунине, Вагнере. Я не только привык, я л ю б л ю весь этот добротный. скучноватый рай — Германию. И ценю немецкий народ за становую черту его характера, за трудовой пафос, за неодолимую страсть благоустройства своего дома на земле — своей страны; а немецкую интеллигенцию люблю за ее взволнованную фаустовскую душу.

II.

Ночью я стоял на Унтер ден Линден. Я всегда ощущал, что надолго покоя не будет и всё-таки этот предчувствуемый обвал, настав, кажется внезапным.. Тревожно и разноголосо гудят сгрудившиеся автомобили, где-то с нетерпением названивают застопорившиеся трамваи, ночное движенье пришло в замешательство. На тротуарах к домам жмется толпа и ликующих, и охваченных страхом. А по мостовой густыми колоннами движутся коричневые рубахи, несут дымные красноватые факелы, гул их шагов, как чугунный; они тяжело, каменно поют: «Blut muss fliessen! Blut muss fliessen!»

Глядя на их мерцающе плывущие в темноте огни, я думаю о том, что это настает немецкий всесокрушающий октябрь. В страхе от огненных орд с тротуаров шарахается беспомощная толпа. Оранжево вздрагивая в окнах старинных домов всё кровавей разгоралось пламя мощного костра, разложенного перед старым университетом. Бой барабанов, визги флейт, военные марши. Мечущиеся снопы прожекторов. Колонны гитлеровцев с свастиками на рукавах. Кольцо полутемной толпы. Всё создавало необычайность этой картины. И вдруг, подняв правую руку к огнедышащему небу, толпа запела «Die Fahne hoch!»

Это гимн новой Германии. Когда песня замерла, от костра в красноту ночи громкоговоритель прокричал:

— Я предаю огню Эриха Марию Ремарка!

Будто с плахи упала отрубленная голова. Как морской гул по площади прокатилось одобренье. Под этот гул с грузовиков чьи-то красные руки — множество рук — стали сбрасывать в пылающий костер книги и пламя внезапным прыжком прыгнуло на темное небо, высоко, как живыми, закружив книжными листами.

Толпа ликовала. Я тоже был захвачен зрелищем этой ночи. Плотно сжимаемый, я плыл в водовороте откуда-то вырвавшихся темных страстей, и так же как в нашем октябре, я словно осязал эту заманчиво гибельную стихию потопа, но идущего уже по Западу Европы.

С пламенем пожара Рейхстага и в деревне, как во всей стране, тоже сместилось всё: пониманья, чувства, взаимоотношенья людей; сместились плоскости исторического бытия. Вздрагивая на мотоциклах и здесь мчались коричневые рубахи. Из домов выволакивают врагов «проснувшейся Германии», тащут в ресторан «К трем липам» допрашивать, избивать до тех пор, пока не запоют нового гимна. А если не поют, тащут дальше, в концентрационный лагерь Ораниенбург: пытать и убивать. Это не вчерашняя Германия. Это не розариумы Веймара и Иены. Крепость правового государства, пафос труда, фаустовская душа, бебелевский социализм, папское католичество, лютерово протестантство, всё исчезло в огне и дыме дьявольского пожара. Это те же октябрьские голые люди, только музыка здесь не нашего октября с его сверхмотивом всемирного революционного разрушенья. Это культ другой варварской силы, культ всемирного порабощенья. И люди кричащие по радио под стон воинствующих маршей, и по дорогам несущиеся на автомобилях в руках с автоматическими ружьями, и марширующие военным строем ударники, это всё уже не вчерашнее, это взломавшие культуру страны, проснувшиеся варвары.

Стоя у горбатого деревенского моста я видел, как перед

отрядом въехавших гитлеровцев, в ноги начальнику упала простоволосая немка и в беспамятстве обнимала его сапоги, умоляя не пытать, не избивать, не убивать ее сына, которого он увозит в концентрационный лагерь. Деревню сковал террор, страх. Это «Le massacre des innocents» Питера Брегеля.

III.

Подъезжая на велосипеде к своему участку, я вижу светлое платье согнувшейся над грядкой матери, она обрезает усы у земляники. Этот небольшой кусок земли на окраине немецкой деревни она любит так же, как любила Сапеловку и Конопать. У калитки меня встречает жена, та Олечка Новохацкая, о которой я так часто думал в донских степях, раненым, на телеге; с которой юнкером, козыряя генералам, ходил по Москве; студентом танцовал на балах в их институте, когда в камлотовых платьях до пят, в кружевных пелеринах и шелковых передниках институки парами плыли по бальному залу, отдавая глубокий реверанс величественной начальнице, баронессе. В огороде, белея рубахой, сгибается брат, с которым вместе прошли с винтовками по донским и кубанским степям; нас вместе взорвали в Педагогическом музее и мы вместе работали дровосеками в гельмштедском лесу у старика Кнорке. Брат окапывает яблони. Нет только моей няньки Анны Григорьевны; истосковавшись по России, по православным церквам, не выдержала и с немецкой швейной машиной уехала назад в родное село Вырыпаево, где и погибла вскоре во время сплошной коллективизации. Жена подвязывает ее любимые георгины. Я слез с велосипеда, поговорил с ней и стал таскать воду, чтоб поливать яблони, когда в калитку нашего сада, блестя каской, в зеленом мундире вошел жандарм. На ходу он вынул из портфеля какую-то бумагу, заглянул в нее и спросил:

— Вы русский писатель Гуль? Вы написали роман из жизни русских террористов?

— Да.

— Берите мыло, полотенце, подушку, поедете со мной в концентрационный лагерь.

— Куда?

— В Ораниенбург.

— За роман?!

— Там разберут, что вы понаписали.

Над садом, садясь на крышу, лощила моя пестрая стая голубей. Я простился с семьей и мы с жандармом поехали на велосипедах по лесной дороге. Под шинами мирно похрустывала хвоя. Так, почти не разговаривая, мы доехали до Ораниенбурга. В городе у древнего герцогского замка переехали площадь и в прилегающей улице у больших деревянных ворот с надписью «Konzentrationslager Oranienburg» слезли с велосипедов.

Жандарм провел меня мимо коричневого часового. Толстый, увалистый, он шел быстро, мы пересекли вымощенный двор, поднялись на третий этаж высокого кирпичного зданья и наконец вошли в пахнущую всемирной канцелярской духотой небольшую комнату. Здесь сидел такой же, как он, жандарм. Они о чем-то тихо поговорили. Сидевший тут же позвонил по телефону. И вдруг дверь порывисто растворилась и на пороге я увидал высокого гитлеровца, настоящего розенберговского голубоглазого нордийца с множеством шевронов, с черной свастикой на рукаве, во всей военной фигуре которого было что-то необычайно резко-заносчивое. Это — начальник концентрационного лагеря, штурмбанфюрер Шефер.

— Почему вы арестованы? — бросил он.

Я рассказал, что вахмистр мне передал, что мой роман конфискован тайной полицией, как неотвечающий духу новой Германии, добавил, что книга в Германии имела хорошую прессу и вышла в десяти других странах.

— Я уезжаю, — повернулся Шефер к жандарму, — поместите этого господина в амбулаторию, а назавтра я запрошу Берлин, — и также шумно, словно военным маршем, Шефер вышел.

IV.

В первые дни тюрьма особенно тяжела, вероятно, потому, что ты весь еще не применился к несвободе и всё в тебе ропщет. Со временем резкость спадет, тоска притупится, свободы будешь хотеть, быть может, еще страстнее, но научишься жить и в рабстве, а в долгой тюрьме, может, отвыкнешь и от свободы, как отвыкают от нее канарейки.

В амбулатории шумно толкутся сменившиеся с караула гитлеровцы и меня не покидает чувство, что всех их будто я где-то уже видел; и знаю и эти крепко вырубленные брутальные лица, и грубобранную речь, и рукастые жесты, и животный хохот; это наши октябрьские латыши, думаю, то же площадное отребье, чернь всяческих революций.

— Наверх, к вахмистру Геншелю! — закричал вбежавший приземистый гитлеровец в рыжих сапогах с ушками навыпуск

И я поднимаюсь к неизвестному вахмистру Геншелю, ненавидя и приступки лестницы, и белокрашеные нумерованные двери, и надраянные дверные ручки, и весь этот душный ораниенбургский пивной завод, наскоро превращенный в тюрьму для рабов Третьего Царства.

На втором этаже в комнате за столом — пожилой человек, вместо лица у него — «полицейское клише»; это и есть вахмистр Геншель. «Что это, допрос о романе?», — думал я. Но отталкивающим от себя голосом вахмистр говорит:

— Я должен вас сфотографировать и снять оттиски пальцев. Сядьте вон там и ждите.

Я чувствую странную физическую тошноту. Я сел в углу и жду очереди. Перед вахмистром — старый немец, крестьянин безнадежно дикого вида; самое большее, он мог быть арестован за то, что обругал Третье Царство, и теперь в печатные бланки вахмистр заносит фамилии его жены, матери, бабушек и глухие ответы старика по всем пунктам длинного опросника; потом вахмистр переходит к описанью примет: рост, нос, глаза, но на волосах произошло замешательство. У старика не было волос; только сзади меж ушей узкой полосой они окаймляли

череп, но и то цвет их был неопределим. Вахмистр на минуту насупился, потом быстро встал и взял аппарат: на полированной деревяшке болтались разноцветные косички и одну за другой он накладывает их на туповатую добрую голову дикого старика. Наконец цвет волос преступника установлен; и вахмистр, отпустив его, крикнул:

— Следующий!

Следующим был я. Я сел на теплый стул проковылявшего за дверь старика. Я тоже называл фамилию жены «Новохацкая», матери «Вышеславцева», бабушки одной «Аршеневская», другой «Ефремова» и от этих неудобопроизносимых для немца славянских фамилий вахмистр впал вдруг в раздраженное оцепенение и злость.

— Теперь мойте руки, — злобно пробормотал он.

Я опустил руки в таз с грязной жижей, обтер их о какую-то тряпку и каждым моим пальцем вахмистр водит по лиловой краске и по разграфленному листу, а в дверях взатылок выстроились преступники: члены рейхстага, ландтага, чиновники, журналисты, ремесленники, крестьяне, рабочие, бывшие граждане вчерашней Германии.

V.

На дворе лагеря беловолосый немец, с глазами как большие стеклянные пуговицы, окрикнул меня. У него семенящетанцующая походка, он похож на хищную птицу. Это следователь лагеря — штурмфюрер Нессенс. Не глядя на меня, а как-то хватая исподлобья, Нессенс спросил, кто я и почему не на общем положении? Отвечая, я глядел в его подергивающееся, розовое, словно пудреное, тонкое и очень жестокое лицо и думал: «садист».

Каждый день я вижу, как караульные водят арестованных к нему на допрос. А сегодня в амбулаторию гитлеровцы внесли на руках молодого заключенного и в ожиданьи санитарной кареты положили его на мою койку. На губах у него пена, лицо бурое, он в беспамятстве и, вырываясь из их рук, мыча словно

от нестерпимой внутренней боли, он вдруг с грохотом упал на пол; он умирал после допроса у Нессенса.

Чтобы хоть как-нибудь не быть в концлагере, я ухожу на опутанный колючей проволокой луг. Он всё же зелен и над ним всё же повисло жидкое солнце. Тут я ложусь, глядя на уже приглядевшийся вид: уездная немецкая улица, белые дома дешевого конструктивного стиля и протестантская церковь с шпилем, ускользающим в облачном небе. Церковь вызывает во мне воспоминанье о Лютере: «Da stehe ich und kann nicht anders!» У проволоки проминается часовой-гитлеровец с автоматическим ружьем. Я гляжу вслед пронесшейся стае воробьев, словно ими кто-то выстрелил, как картечью, из пушки. Но скоро мне уж не на что смотреть. Тогда, скинув рубаху, я ложусь под солнцем голый до пояса: на грудь, на закрытые веки падает красноватое тепло и, не улавливая причинности, я вспоминаю, как в отрочестве охотился с отцом в Косом Враге. Может быть Россию напомнили прошумевшие воробьи? Может быть тянущиеся с востока снеговые ветхозаветные облака? Не знаю. Лежа я от нечего делать воскрешаю в себе весь тот день: осенний, мокрый, с резким воздухом; чернолесье тогда было уже охвачено концом осени, опадали последние лимонные листья с берез и бурокрасные с осинника. За ночь выпала пороша, забелив лощины. В Косом Враге лес перемежался полянами, оврагами. Когда на рассвете мы спустили гончих, первым громыхнул бас старого кобеля Валадая. Охотники уже все рассыпались мастерить. Сквозь вязаные перчатки стволы двустволки волнующе холодят пальцы и от азарта у меня, мальчишки, ёкает сердце и подрагивают поджилки. На краю поляны я затаил дыханье. Гон приближающейся музыкой всё отчаянней катится на меня. И вдруг по гнилому, мокрому листу мне слышатся пугливые скачки и передо мной в белорыжей траве вырастают уши русака; он прислушивается к гону, но вдруг заложив уши, прыжком кидается в сторону и от охватившей меня дрожи я забываю всё и только с стучащим сердцем ловлю на мушку бегущего зайц . . . отдача в плечо, выстрел . . . И я бросаюсь по кочкам к убитому зверю, а гон

вокруг разливается с остервенением, ахают дуплеты за дуплетами, собаки выбегают на поляну, а я уж несу зайца за теплые длинные уши, спеша к привалу похвастаться и получить поздравление с полем.

В эту же охоту я понял, как любил отца. Оба в бобриковых куртках, в подшитых кожей валенках, подпоясанные патронташами, мы возвращались домой в розвальнях, но к вечеру дождь смыл порошу и ударивший мороз превратил всё в гололедицу. А ехать в гору. Когда на паре лошадей мы добрались до середины обрывистой горы, лошади вдруг заскользили и пристяжная, упав на колени, покатилась в овраг. «Упадем, упадем, барин!», закричал кучер. Я быстро выпрыгнул, но отец выпрыгивая зацепился валенком и еще б мгновенье — его б подмяли накатывающиеся сани. Вот в этот-то миг, когда я увидал для него смертельную опасность, я и ощутил, как люблю его. Бросившись к саням, я обхватил его верблюжий валенок и, что было сил, вырвал его из розвальней. И ощущенье этого теплого верблюжьего валенка осталось на всю жизнь ощущеньем любви к отцу и неизжитый отголосок этого чувства есть во мне даже сейчас, когда я лежу на солнце, на лугу концентрационного лагеря; я словно и теперь вижу темную гололедную дорогу и в темноте вечернего зимнего неба каким-то чортом прочертился наш, напружившийся, выгнувший спину коренник.

Караульный что-то напевает. Я приподнялся. Как я хочу свободы! Какой? Самой простой! Итти вон так по той улице, как там идут какие-то немцы, не понимающие, какое несказанное счастье эта обыкновенная телесная свобода. О, как я ее хочу! Но я заперт, лежу под караулом, за проволокой и мысленно спрашиваю себя: «ну, о каком бы предельном счастьи ты сейчас бы мечтал? чего б хотел, пусть совершенно несбыточного?» И отвечаю: «вот если б, пусть без денег, без крыши, без работы, но внезапно бы очутиться вдруг свободным на улицах Парижа! Это было бы предельное счастье!» Но — свисток. Гитлеровец свистом сзывает заключенных на поверку и отовсюду тянутся понурые люди, походкой, уста-

лыми движеньями рук и ног выражая какое-то невыразимое отчаянье. Я смотрю, как они строятся солдатским строем. Пожилой гитлеровец подает команду и с деревянно-откинутыми руками, с бессмысленными лицами все они остолбенели. Я думаю о том, как глубоко надо презирать свой народ, чтоб воспитывать его так, как воспитывает Гитлер. Но я тут же останавливаю себя: может быть я чего-то в этом всё-таки не понимаю? Ведь Гитлер знает свой народ и это он загнал его в эту тюрьму. И в стране не нашлось даже горсти молодежи, которая, как мы, с оружием в руках пошла бы за свою свободу? На похищенье свободы Лениным русский народ ответил многолетней борьбой. А тут? Я знаю, что арифметическое большинство немцев не за Гитлера, но почему они сдались? Может быть потому, что Гитлер уже овладел их душами изнутри, заворожив их чем-то исконно-немецким, связанным со всем арсеналом идей великого германизма? На лугу концентрационного лагеря я вспоминаю и Фихте с его «законом силы» в речах к немецкому народу, и Гегеля, утверждавшего государство как «абсолютный дух», и Вагнера, обожествившего в звуках германскую варварскую силу, и многих великих немцев. И я внутренно уверен, что в этом насильническом лагере, я вижу всё ту же грубую германскую силу, охваченную непомерной гордыней величия, только для площадного пониманья сниженную в гитлеризм.

На булыжниках двора горнист в коричневой форме трубит зорю. По трубе заключенные расходятся спать на солому в корпусы пивного завода. Сумерки. У караулки неуверенно закувыркались звуки гармоньи ненаучившегося еще играть ударника. Склонясь на табурете, он с трудом, но упорно разучивает гимн новой Германии; из-под его пальцев плоская мелодия вырывается несвязными обрывками. Сквозь большое окно подвального помещенья я вижу, как арестованные укладываются спать на соломе. На подоконнике у кого-то стоит красная роза в консервной банке.

VI.

А в шесть утра тот же горнист играет подъем и тюрьма оживает. С ночью ушла возможность остаться наедине с собой. Позевывая, почесываясь, потянулись вереницы грязных заключенных к клозету, к кранам умываться. Кряхтя под тяжестью бидонов, в проходную комнату, куда из амбулатории перевел меня Нессенс, вошла курносая молочница, в очках. Я давно заметил эту бабу, перед каждым гитлеровцев поднимавшую руку римским приветствием с вскриком «Heil Hitler!»

Возле моего соломенного мешка поставив бидоны, она из-под очков удивленно взглянула и тихо спросила:

— Тоже арестованный?

— Арестованный.

Сердобольно закачав головой, баба вздохнула, но из амбулатории грохнули шаги и тут же подняв руку навстречу гитлеровцу, молочница вскрикнула: «Heil, Hitler!» Невыспавшийся парень налил молока и ушел. И опять из-под очков на меня бабий соболезнующий взгляд; она протягивает кружку молока и шепчет:

— Знакомые тоже тут сидят, ох, что с людьми делают, а за что? Кто им что сделал? Муж безработный, трое детей, вот я и ношу сюда молоко.

Но слышны тяжелые сапоги и торопясь баба побежала отнести утреннее молоко коменданту Крюгеру и следователю Нессенсу. Оказывается, они любят молоко. А когда возвратилась, губы ее дрожали, она закрывала лицо руками. «Ох, лучше смерть, чем здесь . . . ох . . . доску . . . доску . . .» лопотала баба, показывая ладонью под подбородок. Но через комнату пробежал телефонист и встрепенувшись баба зазвенела кружками, бидонами и, собравши их, не глядя на меня, выбежала из комнаты. Я понял, что у Крюгера и Нессенса она увидела что-то страшное. Но только позже я узнал, что при допросе в Ораниенбурге употреблялся средневековый прибор «Gänsebrett», доска, надеваемая на шею нескольким людям, как гусям на базаре.

На луг, чтоб отсутствовать, я ухожу каждый день, но сегодня из лагеря не уйти. Во двор, барахтаясь, один за другим врываются затянутые тентом грузовики с арестованными. Привезенных выстраивают, разводят и по камерам, и по двору на работы. У моего окна человек пятнадцать пожилых немцев в тугих воротничках, добротных галстуках, сидя на корточках, перочинными ножами вырезают меж булыжниками траву. По виду это аккуратнейшие чиновники Веймарской республики. Конечно, двор зеркально чист и травы на нем нет, но они выполняют особую шутку гитлеровцев, называемую: воспитательные работы. Об этом еще Достоевский писал в «Записках из мертвого дома»: «Мне пришло раз на мысль, что если б захотели вполне раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным наказанием, так что самый страшный убийца содрогнулся бы от этого наказания и пугался бы его заранее, то стоило бы только придать работе характер совершенной, полнейшей бесполезности и бессмыслицы. Если б заставить каторжника, например, переливать воду из одного ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок, перетаскивать кучу земли с одного места на другое и обратно, я думаю арестант удавился бы через несколько дней или наделал бы тысячу преступлений, чтоб хоть умереть, да выйти из такого унижения, стыда и муки. Разумеется, такое наказание обратилось бы в пытку, в мщение и было бы бессмысленным потому, что не достигало бы никакой разумной цели».

Высокое солнце нестерпимо палит. Мешковатый, обрюзглый, старомодный немец, всем своим видом напоминающий уютную, старую невоинственную Германию, изнемогая от трудности позы, попробовал было с корточек опуститься на колени. Это вся свобода, которой он захотел. Но караульный сразу заметил его движенье и крикнул: «на корточки!» И отяжелевший старик, вероятно больной, грозя разорвать надувшиеся брюки, снова унизительно присел и стал искать и вырезать перочинным ножом признаки несуществующей травы. И опять я думаю о том, что этого пожилого старобытного

немца мучит, конечно, не этот рыжий караульный малый, а его окриками мучит та же, солдатская, варварская Германия; и старик должен либо здесь умереть, либо влиться в гитлеровских сверхчеловеков; такое воспитанье не пустяки, я видел лица этих порабощенных людей.

На лугу гусиным шагом маршируют молодые гитлеровцы; их учит унтер-офицер, уже в годах, провоевавший войну и готовящий теперь эту молодежь ко второй. Под его лающую горловую команду парни машинно маршируют с видимым удовольствием. А я, легши в самом дальнем углу луга, вспоминаю как вчера на свиданье ко мне приходила жена, как войдя в этот дантов ад, в этот особый мир концлагеря, под взглядами гитлеровцев она шла несвоей походкой, будто у нее приклеивались к булыжникам ноги, будто она переставляла их с усильем. За дни моего ареста она исхудала, исплакалась, когда караульный отошел, успела рассказать, что по ночам к нам прибегают соседи-немцы поужасаться над совершающимся, соболезнуют, приносят для меня, кто кусок сыра, кто два фунта яблок, кто четверку масла и, чтоб никто их не увидал, так же тихо скрываются в темноте. В тюрьме люди всегда становятся сентиментальны, таково уж свойство тюрьмы и людей; и переданная от этих немцев еда трогает и радует меня.

Но на лугу зашумели голоса, ввели новую партию арестованных. В середине их почти богатырь, старик на седьмом десятке, с висячим животом, его седорыжие волосы причесаны на пробор, одет он в темнокоричневый костюм, по виду и повадкам типичный парламентарий и, если хотите, «бонза». Как истый буржуа, он против воли сторонится на лугу полуголых заключенных-пролетариев и стоит словно топором по лбу ошарашенный мастодонт. Через проволоку с улицы смотрят какие-то вольные, но часовой окрикнул зазевавшихся и они заспешили по своим делам. А часовой опять проминается вдоль проволоки по кайме шириной в два метра, на которую арестованные не смеют ступать.

Но вот, в раздумьи, опустив голову, от вновь привезенных арестантов медленно отошел краснощекий немец с остро-об-

щелкнувшимся под жилеткой животом. На нем легкий летний костюм, брюки тщательно заутюжены. По лицу, по виду это благонамеренный демократ. Глубоко задумавшись, он то приостанавливается, то снова движется к запретной черте. Вот он уж шагнул на эти два метра, из кармана пиджака вынул аккуратно сложенную, вероятно, заботливо данную женой, знаменитую «Stulenpapier», оторвал кусок приблизительно в свой зад и, чтоб не запачкать брюки, положил бумагу на траву, аккуратно на нее сев. Часовой идет к нему спиной, но он сейчас повернется. Я гляжу. Нет, он не заорал ему издали. Но подойдя, серьезно сказал: «Здесь сидеть воспрещается!» И несмотря на брюшко, ловко привскочив и подхватив с собой кусок бумаги, немец проговорил:

— Ах, здесь воспрещается? Danke schön! А где ж разрешается?

— Здесь, — мрачно указал гитлеровец на место рядом, но так, чтобы зад заключенного не приходился на роковой двухметровой черте.

И сделав два шага, демократ снова расстелил кусок бумаги и аккуратно, но уже уверенно на нее сел; из кармана достал «Völkischer Beobachter» и погрузился в чтение.

Я и не хочу улыбнуться и улыбаюсь. Я не профессиональный бунтарь. Мы все знаем, что такое революция и, конечно, всякая революция есть человеческое несчастье. Но на толстого, краснощекого немца с заутюженной складкой, на эту тщательно подложенную под его зад бумагу, я гляжу с легким славянским презрением, ибо это его отношение к «воспрещается» и «разрешается», это не бессильная тюремная покорность порабощенного, нет, это какая-то несомненная попытка приятия нового, обнародованного порядка. И тут не только мы, славяне, но все «не немцы» чего-то не понимаем в этом германском тяготении к тому, чтобы быть управляемыми, быть командуемыми, быть под, а не над. Глядя на читающего газету немца, я вспомнил, как после краха небурной немецкой революции 1848 года берлинские портные шли к королевскому дворцу с плакатом: «Unter deinen Flügeln

kann ich ruhig bügeln». И вот те из немцев, у кого эта шишка «тяги под» не слишком еще развита, должны ее доразвивать в концентрационных лагерях. В этом вся суть этих насильнических лагерей, где по команде трупфюреров заключенные бессмысленно бегают кругами по двору, перочинными ножами вырезают траву, роют ямы, которые, раз вырыв, немедленно же засыпают. Спору нет, «der Mensch ist nicht gebohren frei zu sein», но должна же жить в человеке, пусть даже ложная, но всё-же мечта о свободе? А вот Германия больше всего возненавидела «беспорядок».

VII.

В лагерь въехал лаковый черный автомобиль с восемью арестованными. Худой и высокий, как каланча, гроза лагеря комендант Франц Крюгер выстроил их всех на дворе и, наизмывавшись над ними, потоком брани осыпает особенно одного молодого, спортивно-одетого, широкоплечего шатена с очень немецким округлым лицом.

— А ну-ка посмотрим, как он бегает! — вдруг с хохотом вскрикивает Крюгер. И по его команде молодой человек побежал по двору, но он сыроват и бежит не очень шибко. Крюгер махнул одному из гитлеровцев: «Наддай!» И под хохот всех гитлеровцев, побежавший нагоняет арестованного и наносит ему удары в спину, в затылок, в шею. «Упадет или выдержит?», — думаю я. Нет, молодой человек выдержал, бежит, теперь я вижу его лицо, судорожно перекошенное в ожидании удара.

— В одиночную! — крикнул Крюгер.

Двое гитлеровцев повели арестованного в одиночку. Но вскоре же провели назад по двору на допрос. Идя через двор, молодой человек ладонью отряхивает пиджак, по испачканной спине видно, что в одиночке он лежал на полу. Что его ждет? О чем он думает, идя на допрос в эту страшную комнату № 16? Он, конечно, знает, что будет истязанье, пытка, быть может, убьют. Но идет с гитлеровцем твердо, иногд приглаживая рукой поднимаемые ветром светлые волосы.

Перед сумерками в ворота лагеря вошел Нессенс. Возле столпившихся на дворе караульных приостановившись спро-

сил: «Сюда прислали брата...?» (но как я ни напряг слух, я не расслышал фамилии). Караульные ответили утвердительно. Нессенс сказал: «Приведите-ка его ко мне», и стал похаживать мелкой танцующей походкой перед главным зданием. Я видел, как из казарменного здания одиночек вывели этого самого круглолицего молодого человека, вероятно, брата какого-то крупного врага гитлеризма. Перед Нессенсом арестованный встал руки по швам. Но не поглядев на него, Нессенс почти ласково сказал: «Пойдемте ко мне», и тихо двинулся в Главное Здание.

Они прошли через мою проходную комнату, вошли в соседнюю, с надписью «Главная касса». Судьба этого немца, окруженного ненавистью гитлеровцев, меня волновала. Я сел на свой соломенный мешок и вдруг услыхал понесшиеся из «Главной кассы» исступленные крики Нессенса и звуки ударов, вероятно, по лицу. В ответ ударам раздавалось сдавленное, будто коровье мычанье. В потемневшей комнате я лег на тюфяк, прикрылся одеялом. Долетавшие крики Нессенса становились дики и вдруг сразу оборвались, пошла какая-то глухонемая возня с придушенным бормотаньем. Оставаться в комнате становилось невозможно. Не подавая виду стоявшим возле здания гитлеровцам я вышел.

— Ну, показывает он ему номера, — услыхал я голос гитлеровца Брукмана, уголовного вида сырого парня, одетого в грязный пиджак и синюю блузу.

Стоявший с краю, крутоплечий, животносильный трупфюрер Вилли затянулся папироской, лениво сплюнул на сторону, ничего не сказал. Вдруг из Главного Здания выбежал тяжелодышащий Нессенс, ни на кого не глядя пробежал в караулку и тут же в руке с резиновой палкой побежал обратно.

Замотав головой, Брукман засмеялся, — «Испестрит он его!» — и пошел в здание, но тут же с порога высунулся и, все еще смеясь, крикнул: — «Вилли, тебя зовет!»

Разбежавшийся трупфюрер Вилли затянулся последний раз, отбросил докуренную папиросу и по-солдатски легко и быстро пошел к Нессенсу. На дворе мутно темнело. В подвалах

пивного завода арестованные уже лежали на соломе. Я попробовал было войти в свою комнату. Но за дверью «Главной кассы» шла тупая возня, слышались стоны, хрипы, становилось ясно, что Нессенс убивает молодого немца. И вдруг меня охватило чувство рвоты. Я поспешно пересек двор, вошел в клозет. Кружащее рвотное чувство не покидало меня. Из темноты отхожего места, в оконце я вскоре же увидал, как танцующей, семенящей походкой, в пальто внакидку, Нессенс пересек двор и скрылся за воротми лагеря. За ним, насвистывая тустеп, прошел в караульное помещение Вилли. Идя назад в Главное Здание, я думал о том, что сейчас Нессенс идет по улицам мирного, укладывающегося спать, вечернего Ораниенбурга и никто из встречных немцев не знает, что этот человек только что убил другого. Дома его, вероятно, ждет любящая жена, она уже приготовила ужин, на столе кофейник, накрытый пестрым вязаным чехлом, чтоб кофе не остывало. Нессенс поцелует жену, сядет за стол, разговаривая, начнет резать мясо, жевать, глотать, пить. Вероятно он проголодался и устал; всё-таки убить, это не так уже просто; и усталый он раньше обычного ляжет спать на удобную широкую постель.

В своей проходной комнате я взглянул на дверь «Главной кассы». Она заперта. Тишина. Я лег на соломенный мешок, поджавшись, завернулся в принесенное женой одеяло. Зеленоватая луна выкатилась над лагерем и повисла, освещая в моей комнате на полу длинный ромб. Через комнату прошел телефонист, свободно раскрыл дверь «Главной кассы». «Стало быть, они вытащили труп в смежную комнату?», — подумал я. От ворот долетел неестественно взвизгивающий хохот девушек, под луной пришедших на ночное свидание к уставшим за день гитлеровцам. Кто-то начал играть на гармони. Лежа, я представлял себе гостиную в немецком доме среднего достатка, с вышитыми подушками, ковриками, с обрамленными фотографиями, с натертыми до метафизического блеска полами; и в этом холодноватом уюте седую, рыхлую, но энергичную немку-мать; сейчас она в думах о сыне, боится за него и еще

не знает, что на полу грязной комнаты лагеря вместо сына уже валяется окровавленное мясо.

Ударив створкой, в окно потянул сквозной ветер. Кто-то напевая пошел по двору и напев словно уплывал один, без человека. Ораниенбургская церковь начала отбивать часы. Я зарубал в памяти это немецкое округлое лицо, его спокойное выражение, мелочи одежды, красные туфли, коричневые «вольфы», как заставляли его бегать, как вызвал его Нессенс, и неизвестный немец мне говорил: «запомни меня хорошенько, чтоб хоть когда-нибудь рассказать, как они меня убили». Прервал меня задрожавший, подъехавший к лагерю грузовик, он разрывал ночную тишину нетерпеливыми гудками, словно кричал: скорее! И в караулке и в амбулатории все ожило, зашумело, закричали голоса. Над зданием, осветив двор, вспыхнула сильная электрическая лампа. Грузовик въехал во двор и было слышно, как с него спрыгивают люди. Потом со двора в амбулаторию через мою комнату прошел, окруженный гитлеровцами, приехавший Шефер. Из амбулатории донесся шум голосов, возня, словно из соседней комнаты тащили что-то тяжелое и вдруг это тяжелое с грохотом бросили на пол. В наступившую паузу донесся с усмешкой голос Шефера: «Kinder! Wie haben Sie ihn beschmutzt!» Это, конечно, ему показывали труп убитого Нессенсом немца. Ботая сапогами, несколько гитлеровцев выбежали в темноту двора, закричали: «Стаскивай!» И по наполненному звуку шагов, по кряхтенью и полусловам было ясно, что они тащут какие-то тяжести и в узкой двери протискиваются с трудом. Снова в амбулатории голоса, возня и опять грохот брошенной на пол клади и тут же дикое страдающее мычание, словно человека с заткнутым ртом. Меня обдавала лихорадочная дрожь, я не мог ее осилить. А из амбулатории — голоса, шум, возня, стоны. Будто кто-то, прыгая на связанного и нанося ему удары, полуголосом выпытывает: «где Гофман?, говори, где Гофман?» В ответ — глухонемые мычания. Потом всё стихло. Из открывшейся двери блеснул углом свет. Шефер с гитлеровцами прошли по моей комнате в «Главную кассу». Слышно, как с аппарата кто-то

взял телефонную трубку и голос Шефера произнес: «Ораниенбургская полиция? Начальник лагеря Шефер . . . Чорт возьми!», — закричал он, — «Я же приказал немедленно! . . Да, к Хафелю . . .», — и трубка брошена. Название реки, на которой стоит Ораниенбург, ошеломило меня. Ночное действо становилось ясным; последний его акт: гитлеровцы везут что-то топить в Хафеле. Я ждал. Вскоре на дворе зацокали подковы, по булыжникам загремели колеса и тут же из амбулатории послышались шаги нагруженных тяжелой кладью людей; путаясь в дверях, они что-то выносили, укладывали и вскоре, вертясь по камням, зашумели уезжавшие колеса. Уехали. Всё замерло, всё угасло. Гитлеровцы разошлись спать. Над лагерем глубокая тишина, будто никогда она и не была нарушена. Только зеленая луна за это время поднялась несколько выше. Где-то залаяла собака. На колокольне медленно прозвонили часы. И всё. Тишина. Связанный путами изнуряющей бессонницы, лежа на соломенном мешке, я всё прислушивался к этой ненарушаемой ничем земной тишине.

VIII.

На дворе буйно свистали флейты, стонали трубы, корнет-а-листоны и, как живой, бухал большой барабан. Одетые в коричневые рубахи, красношеие музыканты играют марш. В воскресенье в лагере всегда играет военная музыка. Только свидания сегодня отменены комендантом Крюгером, потому что в берлинском предместьи Кепеник молодой социалист Шмаус при аресте оказал сопротивление, убив двух гитлеровцев. Его, раненого, схватили вместе с отчаянной матерью, кричавшей сыну: «Стреляй в них, Антон, стреляй! Чего ж ты не стреляешь?» А отец Шмауса не дался живым, забаррикадировавшись на чердаке, повесился. Для нас, заключенных, лишение свиданий — большое наказание, ибо тюремное свидание есть всегда еле уловимое прикосновение свободы.

Чуть подпрыгивая, толстоплечий, животастый капельмейстер дирижирует знаменитым Баденвейлерским маршем. Это

любимый марш Гитлера, марш полка, где в мировую войну он служил ефрейтором На улице худая, беременная немка сопротивляется часовому, отгоняющему пришедших на свидание. Этих женщин трудно отогнать. Немка вцепилась в лагерную проволоку, стараясь хоть взглядом разыскать мужа за решеткой в арестантской толпе. Возле нее пухлая блондинка с непокрытой головой подняла двухлетнего мальчика и показывает его отцу за решеткой. Заглушая плач, крики, голоса, Баденвейлерский марш сотрясает воздух. И нежным сиянием солнце обдает начищенные трубы оркестра и посреди двора стоящего коменданта Крюгера, празднично одевшегося в черный мундир с кровавыми петлицами. Крюгер чему-то улыбается, слегка похлопывая хлыстом по своему начищенному голенищу.

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ

I.

И вот серый рассвет, мелкосеющий дождь, и пустоватый поезд несет меня к Парижу. Каруселью отбегают сиреневые домики, плещущие розами палисадники, картонно вертятся сероствольные платаны, кудрявые девушки в пестрых платьях пролетают мимо, их застлали рекламные щиты коньяков, пудры, прованского масла. Неясным беспокойством ощущается близость Парижа.

Прикусив опушенную усиками верхнюю губу, черноглазая француженка пудрит плохо вымытое в вагонной уборной лицо, сурьмит выщипанные кукольные брови и толстым карандашом делает свой бледный рот похожим на красный рот слепого котенка. Париж уже близок. В это туманное, низконебное утро, заволоченное дождливой мглой, кто-то встретит ее на вокзале и под локоть подсадит в дешевый автомобиль. Француз с подвитыми усами и молодо блещущими беззрачковыми глазами, в веселеньком галстуке, что-то напевает укладывая чемодан. Он улыбается тоже, вероятно, парижской встрече.

Даже лукавый, седорозовый аббат в ожидании Парижа закрыл молитвенник и сунул его в глубокий карман вороной сутаны.

Париж ждет их всех. А ведь всего несколько часов назад не было ни этих беспечных глаз, ни беззаботных движений, ни беспричинно выходящих на губы улыбок. Я признаюсь, всего этого не видел уже лет двадцать; с того самого дня, как из родного дома ушел на войну. После войны из окопов возвращаться было почти некуда; а там две гражданских войны и невольное путешествие в побежденную голодную Германию.

Я забыл даже, что существует еще вот такая беспечная жизнь, с множеством дешевеньких колец на пальцах, с лакированными женскими ногтями, веселенькими галстуками, с затопляющей рекламной пестротой алкоголей. От этого отдохновенного, легковейного воздуха я отвык. А тут и от лукавого аббата, и от темноглазой девушки, и от напевающего старичка, и от дамы с расфранченными куклятами-детьми, от всех французов, от всей Франции веет наслаждением жизнью.

Вспотевший паровоз, отплевываясь белым паром, пробегает по мостам, насыпям, откосам, с приятным разговором перепрыгивает с рельс на рельсы и наконец, шипя, вплывает под стеклянный дымный колпак парижского вокзала.

Я так и представлял. С низко опустившегося неба, как с потрепанной декорации несет липкая сквозная мгла; тускло блестит грязнота асфальта. В этой сырости, кажется, не может быть солнца. Я останавливаю, по воде с брызгами шуршащий, красножелтый, попугайный автомобиль и в этой мокроти, в общем потоке машин, я уже двигаюсь по улицам, входя в жизнь Парижа. На него я гляжу с приготовленной русской любовью. Но, Боже мой, как заброшены эти седые улички, грязные тупички, как нечистоплотен, сален великий город, какими дряхлыми проулками везет меня неизвестный француз, зарабатывающий на жизнь искусством шофера. На тротуарах из железных коробок вывален вонючий мусор, в стоках мостовой, как живые, распластались грязные тряпки, волнуемые водой; какая-то ребрастая, подыхающая сука обнюхивает вы-

ставленные у молочной бидоны, и из-под открытых общественных уборных по мостовой текут ручьи. О, Париж! Вот он, дряхлый чаровник мира! Как же ты грязен, старичек, пока тебя еще не побрили и не сделали утреннего туалета.

Но вот вместе с потоком машин мы влетаем в широкую светлость улиц и Париж словно поворачивается другим боком. Это — Лувр, Тюильери, «батюшка Палэ-Руаяль», места великих французских волнений, священных безумий, убийств и смертей. Вот когда-то глотавшая головы гильотиной Площадь Согласия, как она хороша в это синее утро и как тиха через полтораста лет! От нее потянувшиеся утренние Елисейские Поля дышат прелестью французской деревни, на их каштанах поют птицы и за ночь взмокшую гладь мостовой, позевывая, подметают какие-то старички в смешных картузиках.

Резко мелькнула зеленоватая, мутноилистая Сена с белыми горбами ее мостов. И вдруг блеском ослепляет перспектива Площади Инвалидов, а за ней зеленые деревья и кусты Марсова поля с поднявшейся воздушным кружевом состаревшейся знаменитостью, старушкой Эйфелевой. И опять кварталы открытых базаров, шумливых лавченок, подозрительных кабачков, подслеповатых публичных домов, это опять тот же Париж, повернувшийся ко мне уж не знаю каким боком.

В узкой, зловонной, как немытая кишка, улице, среди человеческой толкотни красножелтая машина останавливается. Я, оказывается, приехал. Улица, конечно, грязна, безалаберна, бестолкова. Гораздо было бы лучше, если б она пестрела газонами и цвела липами, но на свежем воздухе зеленого луга немецкого концентрационного лагеря я мечтал ведь о свободе вот на этой парижской улице. Так, чего же мне надо? Вот она и есть: и улица, и свобода! Счастлив? Ну, еще бы! Франция подарила мне мою мечту.

И всё же, медлительно расплачиваясь с шофером новыми для меня монетами с изображением Марианны, я испытываю жесткое чувство бездомности и странного волненья. Но я уже поднимаюсь по осклизлой винтовой лестнице гостиницы «Золотая лилия», дурно пахнущей неубранными постелями, убор-

ной, пудрой, дешевой смертью. Отяжелевший, небритый хозяин даже ранним утром дышит на меня красным вином; в его гостинице живут арабы-торговцы орехами, забытые жизнью проститутки, негры-продавцы ковров и кокаина, и русские эмигранты, офицеры и солдаты мировой войны, ставшие почти что нищими.

В центре довольства, блеска, утонченности, изысканности, мод, вкуса, богатства, свободы, в Париже судьба дает мне переспать в комнате бедного русского шофера, пахнущей кошками и немытым бельем. Откуда-то доносится неприличный грамофонный мотивчик, куплетист поет, что на свете нет ничего приятней парижской любви. В этой комнате гостиницы «Золотая лилия» трудно даже представить, что так недалеко существуют еще немецкие концентрационные лагеря, «воспитательные работы», «гусиные колодки», громы Баденвейлерского марша и убийства заключенных. Я знаю, что это есть, но для меня это тоже ушло и после утомительного пути я засыпаю в чужой постели и мне снится мой детский, всегда пугающий меня сон, как к моей постели медленно приближается человек без головы, в черном сюртуке и что-то мне шепчет . . .

II.

Что это за пестрота вьющихся дешевеньких занавесок? Что за заплеванный умывальник? Что всё это такое? Но я прихожу в себя: это мой Париж, это одна из станций многолетней бездомности.

Париж одет в голубоватую старинную дымку, это его единственная одежда. Я иду в подвижной парижской толпе, шумно стучащей миллионами женских высоких каблуков, мелькающей женскими икрами в шелковых чулках. Париж отовсюду кричит ртом уличных торговцев; мясники в белоснежных, но чуть-чуть закровавленных передниках зазывают за мясом, арабы предлагают орешки, хрипят лотошники, продавая фрукты, овощи, запыленные конфеты, небритые газет-

чики выкликают клички газет, а у туннеля подземной дороги уличный певец с лицом бандита поет под гармонью песенку о любви, о Париже; и тут же неподалеку на улице стоят три козы, пастух и овчарка; слушая песню, этот пастух всё-же не забывает предлагать прохожим козий сыр и козье молоко.

Мимо книжных лавок букинистов, где приколоты раскрашенные портреты каких-то генералов, великих людей, куртизанок, я выхожу к закопченным скалам Notre Dame. По зеленоватой Сене медленно плывут груженые диким камнем баржи, какие-то белые пароходики, баркасы и на оковавших реку гранитах полудремлят парижские лентяи-рыболовы, закинувшие удочки в муть Сены.

В голубой дымке под золотым солнцем, потоком, как будто беспечной и веселой, но страшной и напряженной жизни течет беспощадный Париж. Он дробится во мне картиной кубиста, вероятно потому что я чужероден и чужд очарованию этой греческой свободы уличной жизни. И какая это тягость в шуме чужого языка, на чужих улицах, среди чужих жестов, в движении чужой стихии, быть совершенно свободным. Я это внезапно с отчаянием ощущаю, ненужно стоя у какого-то фонтана на площади Saint-Michel. Я гляжу на весь этот движущийся вокруг меня Париж и думаю: «да, какая это тягость, жить без своего неба, своего дома, своего крыльца, своего языка, своего народа, своей родной стороны!» Это, конечно, слабая минута, это пройдет и я позабуду всю разъедающую соль этого ощущения. Но сейчас никто не знает, как вблизи желто-черноватых стен Notre Dame, я в первый раз за всю свою бездомную жизнь завидую и этому неспешному старичку-французу в какой-то старомодной разлетайке с седой бородкой Наполеона III-го, и седокам сгрудившихся у моста разноцветных автомобилей и пассажирам трясущихся зеленых автобусов, всем им, французам, только потому, что они у себя дома и у них дома, в Париже, очень хорошо. Я внезапно понимаю, что никакой России у меня нет и быть уж не может; это — химера, ночной эмигрантский бред и самоулялякивание; жизнь потеряна раз навсегда и на ее

конец остается только классическая тяжесть чужих порогов и горечь кусков чужого хлеба.

Это, конечно, неспаная ночь, ошеломительное впечатление. Я стыжу себя за слабость вырвавшихся чувств. Я иду к Люксембургскому саду. Все французы кажутся мне неживыми, ускользающими, движущимися сквозь затуманенный бинокль. Они весело обедают на открытых верандах ресторанов и кабачков, они смеются; едят со смаком устрицы, сыр, виноград, пьют вино. Я давно отвык и от этого обилия яств и от этого пиршественного веселья, для которого, вероятно, нужнее всего душевное спокойствие. О, у них его, до зависти, сколько угодно! Правда, мне чудится и иное, но это за мной, вероятно, идет тревожная тень Германии: а не опасно ли так уж ублажаться устрицами, вином, мясом, салатами и время ли так уж подолгу сидеть на этих чудесных, располагающих к лени и разговорам верандах кофеен? Ведь в Германии встали беспощадные мифы XX-го века, там сейчас презирают и отдохновенье, и свободу, и праздность, и изнеживающее обилие яств. Там едят грубо, работают без роздыха, создавая полуголодных, выносливых новых людей, которые будут безжалостны, если им придется разрушить с воздуха этот хрупкий Париж и всю эту наслаждающуюся Францию, немогущую оторваться от хорошо приснившегося сна.

Вот он, Люксембургский сад, памятник Верлэну, памятник Бодлэру. На фоне зелени застыли в движении темные бегущие скульптуры. Над цветами, бассейнами, газонами, детьми играющими в мяч и буржуа стучащими молотками довоенной игры крокет, над всем чудесным садом, где в вакхической беспланoвости разметаны желтые железные стулья, на которые многие положили ноги и, греясь на солнце, полудремлят, над всем изяществом этого нежного Люксембурга летит размягчающая душу и волю песенка гармониста о том, что мимо него проплыла любовь на речной шаланде и он тоскует об этой уплывшей любви. Конечно, может быть, вывезенное из Германии мое чувство тревоги и ложно; вероятно, я ничего не понимаю в этой светло-льющейся латинской стихии. Может быть в по-

следнюю минуту в смертельном страхе за свой очаг хромоногий гармонист, забыв уплывшую любовь, и бросится храбрым солдатом к границам Франции. Я, беглец из двух тоталитарных стран, просто гуляю в Люксембургском саду и думаю. Я думаю даже о том, что бездомность иногда становится достоинством, давая и опыт, и облегченность пути, в котором ничего уж не остается для потерь. Так я хожу среди французов в музыкальном сумбуре Люксембургского сада, как в пустыне. Но начинает смеркаться, сторожа звонят, сад запирают и надо куда-то уходить. Сейчас, в сумерках, каждому особенно нужен порог, к которому бы прийти.

А я вот ночью один на скамье неизвестного парижского бульвара. Над головой стонут рельсы надземной дороги, темь и грязь, колоннада, составленные спинками скамейки. Между двух скамей вставив деревянные култышки, к которым приделаны его обрезанные ноги, примостился какой-то француз, вероятно, участник мировой войны; в такой позе он уже не может упасть и, положив на руки курчавую, в грязном берете, голову, спит, обдавая окрестность перегаром вина. Где он потерял свои ноги? Под Верденом? На Сомме? Когда ему оторвало их, он был молод, теперь заросшее щетиной лицо налилось застоявшейся лиловой кровью, он почти стар. А на противоположной стороне ослеп публичный дом, сквозь его железные ставни радио сипло выбрасывает в ночь что-то веселенькое, как она его обманула и как она от него ушла. Песенку глушат харкающие гудки ночных автомобилей; пары бензина и истертая подметками пыль заменяют бульвару воздух. Я свободен. Я один. Я на парижской улице. Но мне кажется, что всё вокруг меня движется страшной, уродской бессмыслицей. Чересчур уж много на темных тротуарах проституток, чересчур уж много шляп и пиджаков у кабацких оцинкованных стоек перед рюмками разноцветных алкоголей.

В кровяных огнях неоновых ламп тают очертания женщин, голоса их ржавы, девочки стары, дешевы, только за три франка зазывают в темноту черного переулка. На его углу одна, блеснув куском панталон, присела, зашуршав струей, и,

неверно привстав, пошла вертясь на острых каблуках, останавливая темных мужчин, кивая на тупичек. Из публичного дома гурьбой высыпали солдаты в голубой военной форме, все смеются, облегчились в этой первобытной ночи.

Раскорячив черные ноги над всем Парижем темнеет Эйфелева. В змеящихся огнях по бульвару толкаются без дела солдаты, арабы, негры, девки, где-то поются куплеты и с музыкой вертится электрическая карусель. Это апокалипсис парижской ночи. А мне бы заснуть, а спать негде, даже бульварную скамью и ту занял безногий участник войны. Где-то над нами потерялось никому ненужное в Париже небо, его мелкие запылившиеся звезды, как сыпь. Кто выдумал эти огни, эту толпу, этот ночной бульвар? «Броситься бы с него в какие-нибудь прохладные сады», думаю я, от усталости смежая глаза. К скамье подошел негр, на обвислых черных щеках всклокочена седая борода, он раздробленно дышет и ругается, что-то довело его до ярости. Он тяжело опустился на скамью, неверно выбросив ноги, и развертывает газетный сверток с хлебом, сыром и початой бутылкой плещущегося красного вина. Чавкая он начинает ночную трапезу; в ползущем червивом человеческом месиве, на сцене этого темного бульвара, негр неплохой персонаж; негр жует, бормочет, ругается. «Но неужели это мой брат во Христе?», — думаю я, рассматривая черного старика. Я очень устал, я даже внутренно жалуюсь кому-то и тот, кому я жалуюсь, начинает мне отвечать. Мы разговариваем с ним давно, с детства. Он один знает меня изнутри, из-под кожи; но мы говорим только в минуты потрясенности и тревоги. Я помню, мы говорили еще в Пензе, когда умирал отец, в бою под Млынскими хуторами, когда я лежал на луговине, когда был ранен вечером под Кореновской, когда гитлеровцы в Ораниенбурге убивали молодого немца. Сейчас я говорю ему, что так жить мне трудно, почти нельзя. Кто он? Эхо? А может быть, это и есть Бог?

III.

Вдали синеватым сахаром блестит хребет Пиренеев. На тяжелом крутосклоне я пашу на паре бланжевых коров. Небо еще не нагрелось, воздух звучен, как в концертном зале, отовсюду слышны долетающие, однообразные понукания пахарей. В матерчатых занавесках на мордах (чтоб не кусали мухи), в проволочных намордниках (чтоб не хватали траву) коровы мои, выгнув спины и медленно переставляя ноги, волокут плуг, отваливающий блесткие пласты суглинка, а по борозде сзади меня гомозятся куры.

Это небо не наше. Это небо с полотен французских импрессионистов. Такого розовато-голубоватого, и с желтью, и с празеленью, неба в России не бывало. На воспользовавшихся моей задумчивостью, затихающих коров я кричу: «Ха, Верми! Ха, Верро!»; и коровы вновь натягивают плужную цепь, ускоряя движение. До чего умны эти гасконские коровы, ими управляешь голосом. Я задумался о том, о чем, собственно, никогда не надо думать: о прошлом.

После теплых дождей пашется хорошо. Я пашу крутосклон второй раз; теперь плуг идет уж легко, почти не приходится придерживать ручку, я лишь медленно двигаюсь за коровами и разговариваю сам с собой. В это утро я вспомнил, как подростком в своем пензенском имении тосковал по трудовой жизни. «Ну, вот она и есть. Правда, с запозданием на двадцать пять лет, но пришла именно она, мускульная, трудовая, крестьянская жизнь». Под широкополой соломенной шляпой я улыбаюсь тому, что это утро, пашня, коровы в русском переводе именно и значат: «Ну, тащися, сивка, пашней десятинной, выбелим железо о сырую землю!» Только на этом гасконском крутосклоне мне кажется теперь, что тогдашняя тоска мелкопоместного пензенского барича была зряшней. Ну, разумеется, ну, конечно, и в ней, как во всей катакомбной философии Толстого, жила какая-то пленительная социальная правда; но сказочная, а потому вредная людям. Этот кающийся нерв русской интеллигенции революцией с кровью вырван из

русской жизни. «Аррэ, Верми, Ха, Верро, орэ сай...», по-гасконски кричу я, перевертывая плуг. Тяжело переступая, коровы неуклюже крутятся и снова, натянув цепь, медленно волокут его.

За работой я часто мысленно разговариваю с Львом Толстым. Мне раньше всегда казалось, что он, как никто, умел чувствовать и любить землю. Но став крестьянином, я понимаю, что Толстой чувствовал и любил ее сверху, по-барски. Крестьянин любить земли не может. Он, если хотите, любит ее, но так, как корова любит траву, которую ест, как лошадь любит дорогу, по которой бежит. То-есть, живет землей. Став сам мужиком, я хорошо теперь знаю эту человеческую особь. До чего он, мужик, глух, нем, жесток, первобытен, неблагостен и всегда хитер, как хитры окружающие его животные, и всегда нечестен, как нечестны с ним природа и Бог. Мужик должен быть таковым, ибо таковы силы земли, иначе мужику с землей и не сжиться. Он с рождения знает неблагостность своей земли. Мужик всегда сумеречен, суеверен и никогда не может быть религиозен, оставляя это пастухам, поэтам, бродягам.

Небо надо мной уже другое, яро-лазоревое, с ослепительно тающим солнцем. Овода и слепни облаком вьются над спинами коров. Солнце почти что отвесное. Я знаю: скоро полдень. На краю поля, зайдя головами в тень кустов, коровы мои не хотят поворачиваться. Я даю им отдохнуть. Эта гасконская глина тяжела: если нет дождя, она клёкнет, становясь камнем, если польют дожди, она разойдется месивом и пахать нельзя. Это не пензенский чернозем, который паши, когда хочешь. Здесь надо еще уметь выбрать время пахоты. Но русская революция заставила меня вздирать именно эту французскую глину и я ее вздираю. При чем иногда даже сам себя спрашиваю: а не выиграл ли я на всероссийской революционной лотерее? Кто из нас, русских, спасся от всесокрушающей революции? Большевики, что окружая Ленина, зачали октябрь, в большинстве расстреляны в подвалах своей же чеки. Рабочие? Те, что верили в «кто был ничем, тот станет всем»,

вот уже больше двадцати лет ведут рабью жизнь египетских феллахов. Мужики, солдаты, вся Россия, что из окопов бросились делить землю? Революция давно их лишила земли, превратив в полунищих государственных батраков. Интеллигенты? Свободомечтатели? В революцию их погибло множество, а те, что остались, влачат тяжкую жизнь несвободы. Так что в предгорьях Гаскони моя судьба совсем не худшая. Повернув коров и перекинув плуг, я спрашиваю себя: но разве я не тоскую, что выброшен из России? И идя за коровами, с предельной искренностью отвечаю: в моей двадцатилетней скитальческой жизни не было дня, часа, минуты, чтоб я пожалел, что живу вне России. Больше того. Я всегда чувствовал облегчающее душу удовлетворение, что живу именно вне России. Почему? Да, потому, что родина без свободы для меня не родина, а свобода без родины, хоть и очень тяжела, но всё-таки остается свободой. «Ха, Верми! Ха, Верро!», — подгоняю я моих затихающих коров.

IV.

Нетерпеливо отмахиваясь хвостами и ногами от оводов, ощутив ослабленность ремней ярма, коровы сбрасывают его с голов и смешной рысью, как неумеющие бегать женщины, трусят в стойло к охапкам маиса. А я иду в свое крестьянское жилье, которое каждому художнику захотелось бы написать. Старый крестьянский дом из дикого камня; стены увиты виноградом, от купороса яро-голубым, голубоваты даже камни, легшие фоном винограда, а виноград перерезали розовые, желтые, вытянувшиеся до крыши, мальвы. У порога пунцовым огнем цветет гранатовое дерево. В этом многовековом доме прохладно в жар и сыро в зиму, греет только камин в полстены.

У нас в красном углу — икона, копия Св. Троицы Андрея Рублева, на стене дешевая автотипия А. С. Пушкина, с портрета Тропинина. Александр Сергеевич глядит на свисающие с балок пучки укропа, связки лука, чеснока, на всё бедное убранство комнаты.

Старчески сгорбившаяся с широкогрустными глазами, словно ставшими еще шире и темнее, мать на этой ферме больше всех беспокоится, уродится ли маис, взойдут ли арбузы и дыни, встанет ли полегшая после бури пшеница, оправится ли неладно стелившаяся корова? Она любит и этот, наверное уже последний, кусок французской земли. И здесь все ее дни, как всегда, в материнском беспокойстве за утлый корабль нашей уплывающей жизни. Иногда невзначай глянув на нее, я с большим напряжением заставляю себя представить, что там, в Пензе, в зеленой гостиной, игравшая вечерами Шопена и Моцарта, это была она же, связавшая в моей памяти тот свой молодой облик с убегающими, скользящими звуками «rondo alla turca».

Сам-шесть мы садимся за стол, обед в е с ь с в о й; овощи с огорода, хлеб своего зерна, молоко своей коровы, вино своего виноградника, яйца своих кур, всё что дали труд, земля, животные. По земляному полу комнаты ходят цыплята, утята; выгнув спину, у ножки стола вьется кот; тут же рыжая овчарка, помощница в пасьбе; и я считаю, что если мы и не в интеллигентном, то в очень приятном обществе. За обедом наши разговоры однообразны и для постороннего совершенно скучны; это всё заботы хозяйства: появившиеся на картошке дорифоры, на винограднике болезнь, плохие всходы кормов, запор у теленка, базарные цены на цыплят и всякие соседские несложные сплетни и новости.

V.

Первым косцом идет брат, вторым Иван Никитич, третьим я, а моя жена и жена брата вяжут снопы, кладут их в крестцы и от крестцов желтое поле как бы приподнимается. Так мы работаем до полдня. А в полдень, обедая в тени фигового дерева, Иван Никитич, отирая потную сморщенную, словно замшевую шею и вместо русского кваска отпивая из бутылки «пикет», рассказывает как смолоду служил в урядниках в сальских степях и какие видывал там священные калмыцкие

праздники. Иван Никитич донской казак, бывший атаман своей станицы, живет по соседству, на ферме в развалинах древнего католического аббатства; земля у него неудобная, безводная, скалистая, казаку пошел седьмой десяток и он, как перст один, ковыряется в этих скалах, а ночь напролет спит с горящей лампой, ибо как только потушит, то в развалинах, говорит, поднимается такая шамата, такая шамата, что тут же зажигает лампу и шамата тогда, со светом, исчезает.

В революцию Иван Никитич потерял трех сыновей, двух в белой армии и одного в красной, девочка-малолетка умерла без него, а о жене он так ничего и не знает. За годы странствований чего только Иван Никитич не перевидал: Турцию, Болгарию, Румынию, Германию, Корсику, север Франции, Гасконь, но лучше Тихого Дона для него нет страны и он очень любит вспоминать донские степи, где гонял табуны долгогривых дончаков, где осенями с станичниками охотились на дроф, увозя битую дичь телегами, а когда ездили на рыбалку, то неводом захватывали столько рыбы, что и вытащить бывало не под силу. Иван Никитич помнит еще стародавние времена, когда казаки еще не садили картошку, помнит как земля была еще неделёная и по весне казаки выезжали всей станицей в степь и каждый сколько хотел, столько для себя и запахивал.

— Да рази хранцузам такое снилось?! — улыбаясь в седые усы, с искренним сожалением говорит Иван Никитич, — да у нас же везде простор, поэтому наш брат тут в тесноте по заграницам-то и пропадает, иээх... — Иван Никитич глубоко и грустно вздохнул. — Вот работал я в Эльзасе, был там у нас один русский, Полем звать, то-есть, как есть, ни по-русски, ни по-хранцузски, ни — по-немецки; ты к нему, Поль, мол, сколько время? а он улыбнется, покажет часы и всё. Ему скажут, Поль, подай, мол, вилы, он ногой их швырнет и вся недолга. А завтракать завсегда отойдет к сторонке, сядет один и ест. И не старый, годов сорок, не боле. Говорили про него, будто гвардии-офицер был, и как приехал заграницу, будто, зарок дал ничего не говорить, пока не вернется к себе

в Россию. И молчит. А работать примется, за мое почтенье, только как бы онемел.

Я плохо слушаю, я вспоминаю классическую толстовскую косьбу Левина с мужиками; тоже «барская была косьба», — думаю я.

— А чудной всё-таки народ калмыки, — вспоминает Иван Никитич, — помню то служил я в сальских степях и приезжает ко мне раз богатый калмык, Горгульгой звать, и плачет, что, говорит, ночью у него дочь умыкали. Я, говорит, знаю кто умыкал, его юрта верстах в двадцати стоит, поедем, говорит, с нами отымать девку. Не хотел я ехать, да он пристал, возьми, говорит, Бога ради три рубли, только поедем. Ну, дело, конечно, не мое, а делать нечего, взял я три рубли, седлаю коня, поехали. Едем мы по степи человек десять верхоконные и стали только доезжать до этой самой юрты, как, заслышав нас, из нее выскакивает молодой калмык. Мои калмыки сразу с седел да на него, сгробастали, Горгульга кричит: «Он, окаянный, он дочь умыкал!» Повалили они его и давай плетить. Плетят, а он как резаный боров визжит, ох, что смеху тут было! — рассыпчатым стариковским смехом смеется Иван Никитич. — А из юрты на крик выбегает вдруг эта самая девка, здоровенная, лет осьмнадцати. Калмык то этот как рванется, так, не поверите, вырвался, схватил девку да к коням, да кошкой на седло, да вместе с ней по степи! Калмыки на коней, я за ними. Скачу с ними, куды тут, ветер в ушах! Нагнали они их под откосом, сшибли вместе с девкой, с лошадью в овраг и не пойму я как они все костей не переломали; схватили их обоих, а девка кричит: не хочу к отцу, не поеду! Ну, тут уж они его еще пуще плетить зачали... — и Иван Никитич замолкает.

— Ну, и что же?

— Как, что же? — обидчиво, что его не поняли, говорит Иван Никитич.

— Что же с ним сделали-то?

— Как что? Заплетили, конечно, — говорит Иван Никитич.

— Как? До смерти?

— Ну, а как же?

— И ничего им не было?

— Да от кого же им быть, ежели у них в степях, к примеру, обычай такой?

— Ну, а девка?

— А девку, конешно, назад увезли, да за девку я там не знаю, влезла в юрту и шабаш. Дддааа, — глядя в гасконское небо, лежа на траве, заложив руки за голову вздыхает Иван Никитич, — сызмальства привычный я к степи, у нас осенями дрофы кады по-над степью летят, ну, верьте, хмарой небо застят и шум такой, что твои еропланы . . .

Брат кончил отбивать косу, поднялся; встали и мы с Иваном Никитичем, заходим за край поля и снова в этот зной идем друг за дружкой с общим звенящим шуршаньем кос. Пот выступает на лбу, на скулах, стекает по лицу, солит губы, а в ушах стоит протяжный звон, не то миллионного комариного пенья, не то это кровь звенит в ушах. Я стараюсь итти вровень с Иваном Никитичем а у казака-старика силищи! И мне радостно от мерного взмаха кос, от здоровой усталости мышц, оттого, что с крутосклона рябит увядшая цветная даль, оттого, что моя пшеница уродилась и я, кажется, на ней заработаю.

На закате мы уходим с поля усталые. С возвышенности пестрят те же лоскутные одеяла полей, виноградников, лесов, дороги обсаженные платанами. У тенистой реки тонет очертание древнего замка времен тамплиеров, он повис над обмелевшей рекой; в нем живут три семьи мужиков-итальянцев, ничего, конечно, не смыслящих в музыкальной строгости пропорций строения, в летящей красоте замковых лестниц и галлерей, в чем кто-то из строивших его тамплиеров понимал толк. Зато крепкие богатеи знают толк в откорме свиней, в отпое телят; денным и нощным трудом, смёткой, хищностью, ловкостью богатеют эти крестьяне и дай им Бог здоровья, хоть они и загадили видавшие виды, великолепные залы тамплиерского замка, а часть замковых стен даже развалили, сделав из камня совершенно замечательные свинарники.

— Вот живал я и в Париже, чтоб его намочило, — идя

рядом со мной говорит Иван Никитич, — а нет, никак не выжил, камни одни и выйтить некуда. Я уж там, бывало, слободной минутой в Булонский лес ездил, только чтооб подошвами по земле походить.

Я молчу, я устал, в голове занозой сидит глупейшая стихотворная строка «так вонзай же, мой ангел вчерашний, в сердце острый французский каблук», и я никак ее не могу из себя вытащить.

— Вот вижу я вчерась сон, — продолжает, тихо идя, Иван Никитич, — будто как я посреди своей семьи, всё дети мои и будто они собираются обедать, да только толкутся, толкутся, а ничего у них не выходит. Я смотрю, смотрю, да и говорю им: «Да што ж вы? Сначала надо умыться, Богу помолиться, а потом уж об обеде думать, обед собирать». Ну, они меня как-вроде послушались, стали мы все на колени и начали «Отче наш» читать. Стою это я на коленках, обернулся назад, смотрю, мама моя стоит, а до этого ее тут не было. Стоит она в сереньком таком платьице своем и как у нее голова часто болела, платочком таким повязана. Я это говорю ей: «Да откелева ж вы, мамаша?» А она мне ничего не сказала, а я это упал перед ней, цалую ей руки и говорю: «Мама, да не могу я так больше жить!» И почему я ей так сказал, сам не знаю, вроде это как дети што ль меня не слушаются, а только она положила мне руку на голову, да и говорит: «Нет, Ваня, ты еще можешь...»

Я молчу. Я, конечно, знаю, что даже на этой гасконской земле Ивану Никитичу легче, чем на парижском асфальте, но и здесь, разумеется, казаку не прижиться, он дерево непересадочное, оттого и тоскует. Есть пословица: без корня и полынь не растет. С тоненьким звоном кос, задевающих за ветви вязов мы лесной дороге подходим уже к ферме. Иван Никитич вздохнул, что-то пробормотал и начинает старческим дрожащим тенорком напевать:

«Конь боевой с походным вьюком
У церкви ржёт, кого-то ждет».

— А на прошлой неделе вот опять сон снил и опять не знай к чему, — вдруг говорит Иван Никитич, — вижу будто вместо нашей станицы вроде как какие-то цементные домики понастроены, квадратные такие, без окон, без дверей, и вижу жену с сыном и хочу их догнать, а они все уходят, а я им кричу: «Да, куда ж вы! Постойте, Марья!» А она не отвечает, идет. Потом дошла до одного такого цементного домика, а там как вроде дверь какая открылась, она с порога повернулась ко мне, махнула рукой, вроде как «не надо, мол, мне тебя», и взошла туда; подбегаю я к этому самому домику, а никакой двери найтить не могу».

VI.

Страдная пора здесь не жатва, а молотьба, когда по фермам ездит молотилка и соседи сходятся друг к другу на помочь. Гасконцы веселый, солнечный народ, хохотуны, хвастуны, безалаберники, но всегда себе на уме. С соседями я хорош, хоть и замечаю, что эти кондовые потомственные мужики относятся ко мне чуть-чуть свысока, с еле замечаемой усмешкой. Это потому что я человек не их круга, а себе равноценными все люди признают только людей своего круга. Так светские люди относятся к «parvenu», так же стадо рабочих коров относится к замешавшейся в нем молочной корове. Это вполне естественное, зоологическое чувство.

Из крестьян я сошелся ближе всего с Гарабосом. Может быть оттого, что он странноват. Над старым бобылем подсмеиваются все соседи. Мне же он нравится из-за моей любви к хорошей породе. А Гарабос — столбовой гасконец, оставшийся здесь, как невыкорчевывающийся виноградный корень, даже после того, как всю округу залили итальянцы. Лицо у него будто сшито из кусков коричневой замши, до того закоржавело складками, морщинами. Губы украшены грязными седыми усами, изо рта торчит единственный черный клык, а слезящиеся зеленые глазки всегда издевательски смеются; основной

же чертой характера семидесятишестилетнего гасконца остается, конечно, веселость.

В закопченное жилье Гарабоса страшно войти, тут круглый год то тлеет, то пылает камин. Жена давно умерла, сыновья ушли в город. В ветхой разваливающейся усадьбе старик один. В часы отдыха, бросив в камин бревешко, он дремлет у огня, радуясь пламени согревающему старческое тело; у огня лежит и его голодная коричневая сука.

На этой виноградно-пшеничной земле Гарабос родился и прожил жизнь, как прожили ее здесь его прадеды и пращуры. Гарабос дремлет от выпитого вина, от теплоты огня, от старости. Жизнь в старике сделала полный круг и вот уже застывает; он скоро умрет и смерть его, может быть, никто даже и не увидит, кроме его худой голодной собаки.

В свежие утренники с усадьбы Гарабоса видны вечные Пиренеи, по ним старик предугадывает погоду, иногда дребезжаще поет с детства заученную песню: «Les montagnes des Pyrénées, vous êtez mon amour». Старик — философ. Ему всё ясно. Как-то я заговорил о войне 1914 года, но он не поддержал разговора. «Это северным округам надо было воевать, — сказал старик, — а нам здесь воевать не с кем!» И это искренне, это то же крестьянское ощущенье враждебности к государству: «мы тульские, до нас не дойдут». Да другое представление было бы и противоестественно, ибо весь мир Гарабоса здесь, на восьми гектарах пшеницы и виноградника, с которых он никуда не сходит. Только раз, ребенком, отец возил его на ярмарку в окружной город и это единственное путешествие до сих пор старик вспоминает, как лежащее в бесконечности. Остальные его передвижения коротки и однообразны: отвести корову к соседскому быку, сходить на помочь, занять у соседей для клушки яиц, взять винную бочку и лишь в субботу, с раннего утра, когда на ферму глядят за ночь словно отмытые, светлые Пиренеи, Гарабос собирается в самое большое путешествие. Он надевает тогда черную, гасконскую рубаху навыпуск, оставшуюся еще от времен, когда торговал скотом; маклаческая рубаха сразу же скрывает нечистоплот-

ность костюма старика; шляпу он сменяет на широкий черный берет и посасывая самодельную старую трубку тихо спускается на еженедельный базар ближайшего городка. Тут на скотьем базаре старик приценится к бычкам, которые, как фарфоровые, привязаны пестрым рядом; узнает цены на яйца, кур; с своими сверстниками, такими же стариками, посасывающими такие-же трубки, он нашутится остротами и поговорками, какими они острят вот уж шестьдесят лет; и если кто-нибудь угостит, то старик выпьет рюмку анисовой водки. А когда начнется разъезд, Гарабос той же тропкой поднимется домой, на гору, на ферму, чтоб на рассвете на паре белых волов, с черными, словно обугленными глазницами и такими же черными метелками хвостов, выехать пахать свое поле, на котором он знает каждую ложбинку, ибо старым ручным плугом пашет его больше шестидесяти лет.

Раз, после базара, я помогал старику резать виноград. День стоял сентябрьский, виноградник был уже в утомленной желто-лазурно-красной листве. Вдруг, перестав резать и вынув изо рта стертую трубку, Гарабос сплюнул и, серьезно глядя на меня, проговорил:

— Ты знаешь, это только дураки ведь думают, что там, — он указал старым, закорузлым пальцем на нежно-осеннее небо, — ничего нет. А кто ж тогда этим всем управляет, а? — и, подмигнув слезящимися глазками, старик рассмеялся с хрипотцой.

Мы продолжали резать матово-чугунные, черные переспелые гроздья, от сладкого сока которых слипались пальцы. Мне всегда трудно было распознать отношения Гарабоса с Богом, но сейчас я убедился, что эти отношения существуют, хотя они понятны, вероятно, только им двоим. Этот гасконский вольтерьянец всегда подсмеивался над аббатами, церковью, над Богом, но сегодня в осеннем винограднике его должно быть что-то волновало. Вскоре он опять заговорил, рассказывая о том, что ночью в прошлую пятницу у вдовы соседки увидал в самой середине виноградника какое-то сияние, на следующую ночь опять, в воскресенье ночью то же

самое, тогда он пошел к ней посоветывать, чтоб отслужила по мужу панихиду; и действительно, после отслуженной вдовой панихиды ночное сияние в винограднике исчезло.

— Что же это такое было? — продолжая резать переспелые гроздья, спрашиваю я.

— Не знаю, что было, а вот было, — и зеленые глазки старика смеются, при этом он щелкает губами и произносит любимое «хок-йок!»

Трудно распознать душу этого старого гасконца.

Философия хлеба, постели, могилы у Гарабоса по-крестьянски жестока и ясна. Когда умер восьмидесятилетний сосед и я сказал об этом Гарабосу, он снял соломенную шляпу, неожиданно обнажив совершенно круглый безволосый череп, и произнес с сожалением: «Жаль». Потом помолчав, добавил: «Ну, пахать-то он уже не мог, а вот мотыжить мог еще». Я понял чувство и мысль старика, что каждому нужно свое отпахать, отмотыжить, а потом итти в землю. Зато живя здесь, на земле, старик, как истый галл, страшно любит всякие плотские радости: красное вино, жирный кусок баранины, пахнущий овчиной сыр, а потом, после еды, желтым пальцем набивает обсосанную трубку горлодерущим табаком; за такой едой он неизменно, со всей соленой откровенностью, балагурит о женской любви и сам первый заливисто хохочет, сотрясая высохшее, костяное тело.

В склонах Гаскони Гарабос произростает, как старый корень, дожидающийся естественного **умирания.**

VII.

На молотьбе всё ведется по исстари заведенным правилам: и угощенье, и работа. Подняв соломотряс к голубому небу, машина нетерпеливо ждет рабочих; засаленные машинисты отрывистыми свистками созывают их. В спадающих с костлявой поясницы, заплатанных широкими латками портках, с свисшими седогрязными усами, но тщательно выбритый с вилами на плече Гарабос идет к нам на молотьбу первым. На

помочи старик, конечно, уж только ловчится, приходя, чтоб задарма поесть кур, мяса, сыру, попить вина, кофе, арманьяку, потолковать, посудачить. Он издали уж кричит какие-то «патуасские» остроты, это значит, что от предвкушаемого пиршества старик в хорошем расположеньи духа.

За стариком сходятся человек двадцать соседей, французов, итальянцев; в гасконской рубахе, в соломенной шляпе пришел и Иван Никитич. Кругом смех, остроты, у южан сильно развита шишка жизнерадостности. Но вот паровичек застучал, все по местам и за шумом машины уже еле слышны выкрики голосов, а скирд начал мерно таять под вилами залезших на него мужиков, споро кидающих тяжелые снопы в подрагивающую пасть машины.

Дубовые столы уж приготовлены, накрыты скатертями, на них встали пузатые пятилитровые бутылки с красным и белым вином. Гасконцы идолопоклонники хорошей кухни. Окончив молотьбу и перетаскав к амбару мешки, соседи в очередь моют у ведра руки и с веселым говором садятся за столы. Церемония началась, как надо. Закуской подаются сардинки; за ними национальный наполеоновский суп с вермишелью, доев который каждый обязательно наливает в тарелку вина и, вкусно ополоснув, спивает. А хозяйки несут уже жирный кусок вареной говядины, ее каждый вдосталь запивает красным вином уже из стакана; за мясом салат, за салатом разварные куры, за разварными жареные, золотистые; и как только жареные куры приносятся на стол, происходит всегдашний отказ гостей от чести их разнимать. Это — дело и честь старейшего. Золотая курица плывет вокруг дубовых столов от отказывающегося к отказывающемуся пока, наконец, не дойдет до Гарабоса. Старик, смеясь, и всегда с одними и теми же прибаутками крепкого полового свойства, не спеша, берет свой сработанный, но острейший нож и ловко начинает разнимать тело птицы. На его искусство глядят молодые, отпуская такие же остроты, сопровождаемые дружным хохотом здоровых, уже наедающихся тел. Солнце юга, его блеск, вино, мясо, чеснок, кофе все тут землянее, кровянее, чувственней, чем у

нас северян. За дубовыми столами от простоты плотского веселья, от крепкоядения стоит все усиливающийся гомон голосов. Эти пиршества молотьбы мне всегда напоминают старые полотна Босха и Брегеля. По-локоть засученные мозолистые руки, крепкие челюсти, проголодавшиеся желудки, ничем не сдерживаемый хохот, грубость острот, звуки еды, крики, икота. Даже пришедшие с хозяевами собаки, подхватывающие оброненные со столов куски, и те вкусно пахнут «Деревенским праздником» знаменитого голландца. Подвыпившие и наевшиеся кидаются друг в друга хлебными шариками, сливовыми косточками, ударяют разговаривающих соседей головой об голову. Под общий хохот на лугу, у столов парни повалили здоровенного малого и, стащив с него штаны, ищут со смехом, есть ли у него то, что бывает у всех. Крестьянское веселье несложно, это детское веселье. Может, оно и тяжеловато, но, в сущности, не всё ли равно, как веселятся люди, главное, чтоб веселились, а остальное — воздух, климат, кровь, нация, класс.

Наконец подается кофе, арманьяк, печенье, фрукты, сыр и на блюдах табак с папиросной бумагой для заверток. Этим должен заканчиваться каждый праздничный обед на молотьбе. Это всё обязательно. И после этого наполнение желудков окончено.

На поля, луга, виноградники ниспадает тихая оливковая сумеречность. Вся помочь, покачиваясь, расходится по домам, чтоб назавтра так же собраться за столами у соседа. Я чувствую, что устал от работы, вина, мяса, арманьяка, кофе. У сарая сложены дышащие хлебным теплом мешки с пшеницей: годовой пот и труд. Вокруг дома пахнет хлебом и пролитым вином. На шоссе крякает спешащий автомобиль. В небе вызвездились первые звезды, они словно нетверды, вот-вот звездопадом просыпятся вниз. Звеня стаканами, тарелками, жена и мать убирают со столов, похожих на поле после побоища. И мягко из-за холма, как громадный искусственный лимон. вышла луна и залила всё призрачным светом, в котором резко заострился выросший после молотьбы омёт соломы.

Вино лишает меня чувства действительности, мне всё кажется, что это и не молотьба, и не я, а какое-то театральное представление, освещенное громадной электрической луной-лампой.

VIII.

Выросшие до крыши розовые, белые, желтые мальвы обступили наш дом. Увивший стену виноград цвел, испуская сладкий запах, будто кто-то пролил у крыльца душистое вино. В переднем углу комнаты, под темным образом Христа мать лежала в гробу маленькая, пожелтевшая; с странно молодым лицом.

Сквозь окно виднелась качающаяся в ветре айва, желтеющая пшеница и высокое ровное небо. Перед смертью сознание матери не выдерживало напирающего хаоса пережитого. В жизнь на бедной гасконской ферме врывалось далекое, русское, война, революция. И с широко-раскрытыми глазами мать произносила жуткую путаницу. Но потом, словно борясь с ринувшимся в сознание хаосом, она с отчаянием выговаривала: «Господи, да как же всё это было? Ведь я же путаю...» Я помогал ей выправить мысль. Закрывшись желтоватой, когда-то необычайно красивой рукой, она лежала детская. Взглядом страдающих глаз глядела на нас, своих детей, словно прося простить за причиняемое болезнью страдание. А когда ей становилось легче, пыталась расспрашивать о хозяйстве, сенокосе, о саде; сказала: «сливы в этом году много, если, Бог даст, встану, наварю вам варенья». Но вскоре с взглядом напряженно ищущим, испуганно-безумным, стараясь приподняться на слабых руках, она тревожно произнесла: «А, знаешь, в этом году большевики, пожалуй, придут... в прошлом не пришли, а в этом придут...» Я понял, что это вспыхнувшая жуть ожидания большевиков в Киеве, двадцать лет тому назад. Внезапно замолчав мать откинулась на подушку и вскоре заснула. К ночи она страдающе проговорила: «Как это страшно, что человек так близок к безумью... один шаг и начинается

безумье . . .» Я успокаивал ее. Над домом теплое небо расписалось созвездиями, плыла ночь, ни ветра, ни собачьего лая, будто всё к чему-то прислушивается и вдруг от шороха и шепотов матери я вскочил, но я еще не понимал, что это пришла смерть, что сейчас начнется единственно-страшное человеку: телесные страдания перед уходом с земли. Верующая, всю свою жизнь она не боялась смерти, но всегда болезненно страшилась возможности телесного уродства и наступало именно это: мать лишалась души, речи, сознания.

Рассветало медленно и безжалостно. Сквозь окно качалась та же айва, пели те же птицы, желтели те же пшеничные склоны. Полупарализованной рукой мать показывала мне на ногу и на голову, объясняя этим, что понимает происшедшее с нею: от закупорки вены в ноге — закупорка в мозгу и полупаралич. Хлопоча у ее постели, я вспоминал, как двадцать пять лет назад, закаменев в своем горе, мать вот также в Пензе хлопотала возле умирающего отца, и мне казалось, что времени нет, что это было вчера и вот ее самоё теперь уж не отнять, не вырвать, расставание настает, надо прощаться.

Мать пытается перекреститься на темный лик Христа, но рука непослушна. Я взял эту бессильную руку с пальцами сжатыми крестным знамением и помог поднести ко лбу, груди, плечам. И вдруг, глядя на меня, мать тихо заплакала. Это были те большие, запрокинутые в вечность мгновенья, что переживаются только, когда смерть подходит вплотную и своим током, веянием крыл обдает до дрожи. Мать пытается говорить, но всё, что произносит, это уже не речь, а отчаянный поток нечеловеческих звуков и в нем различимо только «Господи . . . Боже мой . . .» Словно она молится Богу и видя, что мы ее уже не можем понять, просит Бога, кричит к Нему, чтоб он помог ей досказать что-то самое главное, самое нужное, самое последнее, но у нее нет сил это выговорить.

Рассвело. За окном пели птицы. Остановив на мне потухающие глаза, мать неожиданно произнесла: «Умру». Это было последнее. Силы уводящиее ее из жизни брали верх. Мы сидели в тишине, нам показалось, она может быть заснет, но,

полуоткрыв глаза, она вдруг, с трудом приподняв еще непарализованную руку, сделала ею в направлении нас движение, словно прощалась с нами уже оттуда, с пути, уходя навсегда.

Вздрагивая и стоная, она лежала в бессознании. Силы смерти уже несли ее всё стремительней по страшному переходу из жизни в нежизнь. Вокруг — полевая тишина, трепет деревьев, долетают понукания пахарей. И нет для смерти окружения лучше, чем цветущая земля. В этой полевой певучей тишине и провожать и умирать легче, тут земля нестрашна, с землей слился, сжился.

Так же, как в отрочество, в Пензе, когда умирал отец, в нашем доме стала жить смерть, и от ее присутствия лица всех стали иными, все заговорили шепотом, заходили тише, жизнь пошла оторванно от быта, смерть словно говорила: «смотрите, как всё это ни к чему и как всё это просто, вот я пришла и беру, и очень скоро возьму вас всех».

Боролась со смертью только земля, не позволяя себя забыть. С запада набежали фиолетовые дождевые тучи, сильно понес влажный ветер: будет дождь, надо свозить сено; корова пришла в охоту, ее надо вести к соседскому быку. И подчиняясь земле мы работали и возвращались к лежавшей без сознания умиравшей матери.

У матери закрыты глаза, в тишине она дышит всё чаще. Мы стоим у ее постели, сквозь окно я вижу, как в ветвях деревьев прыгают и перекликаются маленькие оранжевогрудые птицы. Мать дышит словно торопясь. Мать умирает и, несмотря на сорок лет жизни, я ощущаю, что остаюсь потерянным, словно соединявшая меня с миром пуповина будет сейчас перерезана. Вот мать глубоко перевела дыхание и вдруг всё стихло. Это останавливается сердце. Бившееся шестьдесят пять лет оно биться кончает, еще мгновенье и оно остановится. Остановилось? Нет еще. В тишину с пашни ворвался чей-то непонятный далекий крик. И еще глубокий, всей грудью, вздох матери. И снова захлебывающееся, учащенное дыхание и опять одинокий длительный вздох будто сладко просыпаю-

щегося человека. За ним из мира в мир страшная влекущая тишина. Вот — запоздалый, всеотпускающий последний вздох и наступает совершенная тишина. В этом мире уже нет ее дыхания... мать умерла...

IX.

Есть в уничтожении много страдания, но есть и необъяснимое, радостное. Вот ушла мать, и с страданием смешалась непонятная, противувольная, неопределимая, невозможная для высказывания радость. Что это? Радость возвращения? Радость покоя? Того, что зовется вечным упокоением?

Из своего источника мы принесли воды, обмыли давшее нам жизнь маленькое тело, одели и уложили мать на прибранную постель, потом срезали незатейливые цветы, положили у тела и в сумраке прикрытых ставень в комнате настала пустота горя и тишина без дыхания.

Когда сосед привез гроб из свежих досок, мы бережно переложили мать в него, на свое только что скошенное свежее сено; и сухонькая, она, чья жизнь сложилась трудным женским подвигом, лежит скрестив восковые руки.

Русский священник читает ей отходную. Отрываясь от кадила ладанный дым летит, своим запахом вызывая воспоминания детства и России; дым улетает в раскрытое окно. С свечей в плоской руке, немигающе уставясь в пространство, стоит Иван Никитич, что-то шепчет, перебирая синими губами. Батюшка служит за священника, за дьякона и сам поет за хор, но чин православного отпевания так умиротворяюще прекрасен и глубинной мудростью смысла и радостно-страдающими напевами, что даже служба одинокого священника снимает животную боль, соблазны, лукавства, искушения, давая душе благость успокоения.

На рассвете сосед-итальянец, одевшийся в праздничный темный костюм, подводит к дому двуколку, запряженную

красными молодыми коровами в белых попонах и пестрых занавесках на мордах. Он управляет ими движением вишнёвой трости. Это здешний обычай: покойника на кладбище везут соседи; и мы подчиняемся ему.

В скуфье, с серебряным крестом в руке, в черной метущей дорогу рясе, за двуколкой пошел русский священник, я, брат, наши жены и Иван Никитич. С возвышенности бесконечен вид лугов, полей, виноградников. Встречные крестьяне, снимая шляпы и береты, пропускают горькое сельское шествие, с любопытством глядя на шагающего вразвалку русского священника. Я вспоминаю пышные похороны отца с громогласием дьяконов, с священниками в парчёвых ризах, с звучным хором, чужими и своими рысаками, извозчиками, роскошным катафалком, изобилием живых цветов, искусственных венков, и бедные крестьянские похороны матери, на сене, с немногими полевыми цветами, кажутся и легче и правильнее.

Кладбище заросло акацией, бузиной, сиренью, будто русское уездное кладбище. В ряду крестов — открытая яма, из нее тянет сырой холодок. Мы ставим гроб над ямой на два горбыля, под ними веревка. Француз-могильщик с любопытством рассматривает русского священника с длинными волосами и удивленно слушает непонятную службу. В груди пустота и остро прорезающее чувство бездомности. Сейчас тело матери уйдет в эту гасконскую землю. Как часто в предчувствии смерти мать говорила, что хотела бы умереть в России, где похоронен муж, дети, отец, мать, все родные. «Надгробное рыдание!» И, снижаясь, гроб опускается в могилу. На крышку упали комья глины. Я и брат закапываем мать, а над нами поют какие-то кладбищенские птицы, им хорошо, их тут никто не спугивает.

Наплывают свежие кучевые облака, сквозь солнце начинает сечь теплый слепой крупнокапельный дождик. Полями, мы молча возвращаемся на ферму, к дому, где крыша под одно прикрыла комнаты, сарай, коровник; только одно окно призакрыто ставнями, это комната матери, ставшая без нее странно пустой.

Я, торопясь, запрягаю коров ехать свозить оставшееся в копнах сено.

— Иван Никитич! — кричит батюшка, — лезьте на телегу, а я подавать стану! — В широкополой шляпе, в русской белой рубашке, в штанах, подхваченных ремнем, он сильным ро́змахом мечет сено. Казак еле успевает подхватывать. — Вот оно как по-сибирски-то! — улыбается русский батюшка, светлолицый, косая сажень в плечах.

Он — сибиряк, сын протоиерея, юрист, военный, эмигрант, фабричный рабочий и наконец, православный священник на юге Франции, подвижнически путешествующий и в зной, и в дождь, и в невылазную грязь по русским фермам Жиронды и Гаскони, везде служа, крестя детей, венчая молодых, исповедуя старых, соборуя больных, отпевая умерших.

С луга мы поднимаемся на изволок за поскрипывающим, покачивающимся возом.

— Где только я не побывал за этот год, — говорит священник, — недавно казакам служил всенощную прямо в лесу, да как хорошо было, составился хор, чудно пели, а погода была такая тихая, что в лесу со свечами стояли.

С подъема он оглядывается на пестреющую окрестность.

— Очень красиво, — говорит, — только нашей-то Сибири, конечно, не ровня. По сравнению с нашими-то просторами, это все игрушки. Бывало плыву по Енисею домой из университета, что за красотища! С парохода, балуясь, кричим: «Хозяин дома?!» А эхо на весь Енисей несет: «Домааа!» И батюшка мягко улыбается воспоминанию. «А зимой, когда на лошадях ехали, — снега, просторы дикие. Везешь, бывало, с собой обязательный кулек замороженных щей... Да, наша сибирская-то мощь европейцам и во сне не приснится», — и вдруг батюшка смолкает, словно поняв, что Сибирь очень далека и не стоит бередить себя воспоминаниями.

На утро он торопится уйти еще до раскаленного жара. Высоченный, широкоплечий, в черной шляпе, с клеенчатым чемоданчиком, в котором уложены ряса, крест, скуфья, свечи,

кадило, батюшка пошел к другим русским людям на фермах Гаскони.

А я выехал пахать.

X.

Так я и живу в Гаскони и только иногда во сне хожу в Россию. Недавно видел себя мальчиком, будто я и старый сельский учитель Непогодкин идем на охоте по болотным Лапотковым лугам. Я в высоких сапогах, они мне велики, я хлюпаю ими по болотцу, но вдруг всем телом вздрагиваю от внезапно фыркнувшего взлета чирков. Я сразу просыпаюсь: это трещит будильник, я в гасконской хате, с постели вижу, что земляной пол выкрошился, его надо набить; я — здешний крестьянин, это моя настоящая, не выдуманная жизнь и надо вставать задавать корм коровам.

Накинув пиджак, подрагивая от прохлады рассветающей ночи, в одних подштанниках, я иду в коровник. Заслышав меня, лежащие коровы с тяжелым крёхтом поднимаются на колени, встают, от них пахнет приятным молочным теплом. В полутемноте правая ловит шершавым длинным языком полу моего пиджака и жует ее. Я похлопываю старую умную корову по тяжелому свислому подгрудку и тихо разговариваю с ней на коровье-гасконском языке; потом я задаю им сена. И вдруг опять это ощущение нежно-изливающейся теплоты. Оно до того телесно ощутимо, что я даже приостанавливаюсь: «что это!?» И тут же отвечаю: «ах, это мама, опять». Я чувствую, будто она не исчезла, а где-то вот здесь, только совсем в иной жизни. И наполненный этим мягко-согревающим внутренним светом я ухожу из коровника.

После завтрака я выхожу на последний укос люцерны. Я работаю бездумно, но в это утро мне особенно хорошо; я люблю всё: и свою рыжую собаку «Моську», легшую неподалеку от меня, и сработанную ладную косу, под которой ровными рядами ложится трава, и щетку соседского мокрого жнива, и своих коров, и вспаханную дышащую землю, и свои

начисто вымытые винные бочки, и деревья сада, согнувшиеся под урожаем яблоков, и высокое небо, и весь этот резкий воздух, которым я дышу и не надышусь.

Конечно, пословица верна, что мила та сторона, где пупок резан, и я, конечно, хотел бы сменить разлапые фиговые деревья на играющую под ветром березу, а южное опаловое небо на наши тяжелые ветхозаветные облака. Но во мне есть и другое русское чувство, по которому вся земля — наша, вся Божья. И с моих пяти десятин в это утро я радостно встречаю и благодарю весь мир, за косьбой вспоминая изумительную молитву сеятеля: «Боже, устрой и умножь, и возрасти на долю всякого человека, трудящегося и гладного, мимоидущего и посягающего . . .»

Гасконь, 1938 — Париж, 1945 г.г.

Роман Гуль

ИЗ ТЕРЕЗЫ ИСПАНСКОЙ

О чистота безмерной глубины!
О глубина безбрежного сиянья!
О, в час ночной, в глубокий час молчанья,
Таинственные, трепетные сны!

Все тайники моей души полны
Безмолвных слов, и слез, и воздыханья,
И слышно мне, как будто трепетанья
Приносятся на крыльях тишины.

И раскрывается простор нежданный,
Простор бездонный радостных лучей,
Торжественный, безмерный и желанный.

И молкнет звук затверженных речей,
И мир померкнул, бледный и туманный
Перед сиянием Твоих лучей.

Николай Арсеньев.

***

Осенний день; поля пустые;
Шалаш оставленных бахчей;
Желтеют тыквы расписные
Средь полувысохших плетей.

Приветлив ветер шелестящий
В своей незримой простоте.
Орут грачи ордой летящей
В небесной синей красоте.

***

Лето. Горлинки турчанье.
У пруда вальками бьют.
На конюшне слышно ржанье,
И тебя поить ведут.

Ты идешь на недоуздке,
Весь блестящий и гнедой.
Припадешь к колоде узкой
Розоватою губой.

Ты напьешся и потянешь
Епифана за собой.
На минуту диким станешь,
А потом пойдешь домой —

В свой денник, где пахнет четко
И тобою и твоим,
Где сквозь крепкую решетку
Небо смотрит голубым.

Ты мой конь — ты брат мой милый;
Было нам немного лет,
Но они с такою силой
Вновь лучат чудесный свет —

Голубой, почти небесный,
Полный тайны бытия.
Я с тобою, с бестелесным,
Брат гнедой — любовь моя.

Николай Евсеев.

ИЗ ЦИКЛА «ДЕТСКОЕ»

1.

Страх в углу сидит и дышит,
За окном темно.
Мама скажет: «Это мыши.
Затворить окно».

Я уеду, я уеду
По́утру в санях —
Иль бежать к морскому деду
Можно только в снах?

Где мои былые кони?
За окном — не те.
Голубая цапля стонет
У постели в темноте.

2.

Она любила конный строй,
И бранный звон литавр, и клики
Пред бунчуком и булавой
Малороссийского владыки . . .
(«Полтава»).

Вперед, назад летит доска:
Вперед — в зеленой небо раме,
Назад — и пыльного песка
Горячий шелест под ногами.

И незаметно утонул
В саду неровный скрип качелей.
Я слышу медноструннный гул
Чудовищной виолончели.

То — в поле скачет конный строй,
То — бранный звон литавр, и клики
Пред бунчуком и булавой
Малороссийского владыки.

То грянул бой, Полтавский бой!
Вздымается заря далече
Над громом пушек, над стрельбой,
Над грохотом кровавой сечи . .

Качели замедляют ход,
Неведомые блекнут дали
Что там? Бегу на огород,
В пыли скользят носки сандалий.

Спешу — забыта мной доска —
В углу двора забор зубчатый:
В траве нашли там червяка
Пушистоперые утята.

Мария Кригер.

ЛЕБЕДЬ ТУОНЕЛЫ

Черная стынет река,
Черные спят облака.

В лоне заоблачных вод
Лебедь бесстрастный плывет.

Стань у порога веков,
У заповедной черты,
В царстве несбывшихся снов,
Холода и пустоты.

Сердце, стучать перестань:
Молча воздай свою дань.

В черной зеркальности вод
Лебедь плывет и поет.

Песня уносится вдаль,
Отгул звенит над рекой,
И неземная печаль
Всем обещает покой.

***

Погляди: над нами в небе
Одинокая звезда.
Искони наш тайный жребий
Нам указан навсегда.

Черные стоят деревья,
Сторожа ночной покой.
Из заоблачных кочевий
Веет сладкой пустотой.

Мы с тобой творим в молчанье
Расставания обряд.
В неизменном упованье
Новых встреч — глядим назад.

Переливами струятся
Многоцветные огни.
Нам встречаться, разлучаться —
Тайный жребий искони.

Глеб Струве.

ЗАГЛОХШИЙ ПРУД

Заглохший пруд. У самых вод
Спустила ива плащ зеленый.
Играет пестрый хоровод
Стрекоз, прохладой упоенный.

Чуть видно мокрой чешуей
Блеснет карась, плеснет над гладью —
И вновь покой. Развитой прядью
Лучи заката над струей.

В окне мелькнет украдкой тень,
В забытом доме над прудами,
И кто-то легкими стопами
Сбежит к воде под ивы сень.

Мечтой сверкнет усталый взгляд . . .
И песнь летит любовной трелью
И льется в воздух наугад . . .
Но пуст и нем уснувший сад,
И дышет пруд спокойно прелью.

Татиана Тимашева.

ЕРЕТИЧЕСКИЕ МЫСЛИ *)

IV. Взаимоотношения государственной власти и представительства.

«Государство» и «личность» антиподы, но необходимы друг другу. Если политический строй позволит «власти» забывать об интересах и правах «человека», государству грозит опасность выродиться в картину нацистской Германии или советской России. Если «человек» будет в состоянии пренебрегать интересами всего «государства», люди окажутся беззащитными против сильнейших. Сильные могут для собственной выгоды жертвовать интересами общего блага. И это не только «капиталисты-эксплуататоры», которых принято в этом обвинять. Когда для повышения заработка рабочие бастуют на железных дорогах, или професора для выгод по службе оставляют учащихся без экзаменов, это — явления того же порядка. Предпочтение личной выгоды общему благу не порок определенного социального класса: оно — свойство природы людей. Борьба с последствиями этого — назначение государства. Интересы его и отдельного человека часто тянут в противоположные стороны. Ни одного из них нельзя уничтожить; они оба законны. Но между ними должно установить «равновесие». В механике равновесие достигается «равнодействующей», по параллелограмму сил. В мире сознательном оно — соглашение, которое достигается уступками обеих сторон.

Задача упрощается тем, что есть два института, в которых выражается «государство» и «личность». Это — «власть» и «представительство». Нужно найти основы для их совместной работы, не ослабляя ни того, ни другого.

Для этого они должны друг от друга быть независимы. Зависимость «представительства» от власти есть уродство, которое бесполезно оспаривать. Оно само себя облича-

*) См. 19-ую книгу «Нового Журнала».

ет. Но зависимость «власти» от представительства долго почиталась требованием «народоправства». А между тем в ней было то же нарушение равновесия.

Во-первых. Если власть, в лице «главы государства», выбирается населением, она должна перед ним быть ответственной. Эта ответственность на выборах часто реальнее, чем ответственность депутатов; те могут прятаться за «коллектив» или за «партию»; главе государства прятаться не за кого. Но если бы он зависел от представительства, он им был бы покрыт; представительство перед населением его заслонило бы.

Во-вторых. Зависимости «власти» от «представительства» не должно быть потому, что у них различные функции. Главе государства вверяется аппарат принудительной силы; пользование им его монополия. Он представляет интересы всего государства. Сама практика власти воспитывает в нем эти навыки. У «представительства» другой подход к тем же вопросам. Оно стоит на страже прав и интересов людей, защищает их против деспотизма государственной власти, против забвения ею прав «человека». В этой функции власть ему не смеет мешать. Представительство своей деятельностью подготовляет контроль над государственной властью на следующих выборах. Но представительство не может ни власти смещать, ни ей приказывать, под предлогом, будто оно «суверенно». Претензии на суверенность не может иметь ни отдельный человек, ни класс, каков бы ни был его удельный вес в жизни страны, ни всё представительство в целом. Суверенен только «народ» в совокупности, но части своего суверенитета он передает различным государственным органам.

Компетенция «представительства» не исчерпывается «контролем» над государственной властью. Это было бы равновесием однобоким. Оно проявляется иначе. Власть не неограничена. Государством должна управлять не «воля» властей, а законы, т. е. общие нормы заранее установленные. В этом сущность «правового порядка», отличие его от деспотий. Управляет государственная власть, но только сообразно этим законам. Наряду с законами есть другие регуляторы жизни — нравы, верования, привычки, даже моды; народный характер может в них сказываться иногда еще ярче. Но только за законами стоит принудительный аппарат государства. Равновесие между правительством и государственной властью выражается в том, во-первых, что закон обязателен для обеих сторон,

и, во-вторых, что устанавливать закон они могут только совместно.

Можно подумать, что при таких отношениях между ними всё-таки полного равенства нет. Власти, обладающей аппаратом государственной силы, легче нарушить закон, чем представительству; у нее может явиться соблазн к установлению своего господства этим путем. Это — правда, и в этом профессиональная болезнь всякой власти. В наше время она приняла особенно острый характер. Воскресло учение о «вождях», которые выше законов, о «salus populi», как верховном принципе; проповедуется пренебрежение к формальной законности. Эти течения — последствия «войн» и «революций», которые демократию отравили. Но это — явление другой категории. Оно временно, как болезнь, которая кончается или выздоровлением, или гибелью. Эту болезнь — поклонение «силе» — переживает весь мир. Но даже пока он от нее не избавился позволительно думать, как должно быть построено государство, чтобы для таких «авантюр» не было соблазна, а для успеха их почвы?

Конечно, всегда возможно другое; нарушение законов агентами власти по злоупотреблению или незнанию. С ним государство должно бороться. Представительство может ему в этом очень действительно помогать, беззакония оглашать и обличать. Но исправление их дело государственной власти. Для этого в ней выделяется специальный институт, власть судебная, наделенная для этого особыми свойствами — несменяемостью, независимостью и т. д. Положение суда в государстве — мерило в нем правового порядка. Недаром настоящих судов не бывает ни в «революциях», ни при «диктатурах». То, что в них называется судом, профанация этого слова. Но суд, как бы он ни был построен, всегда остается органом государственной власти. Если представительство, хотя бы путем назначения судей, само возьмется судить, оно дискредитирует суд, как это мы видели на многих процессах. У представительства и у государственной власти разные подходы к вопросу.

Другое проявление равновесия между представительством и государственной властью заключается в их равноправном участии в издании самих законов, которые выше воли и того и другого института, взятых отдельно. Но здесь встает глубокий принципиальный вопрос. Всесильно ли всё государство над человеком? Если фактически, при отсутствии международного контроля над ним, трудно ограничивать волю

всего государства и защищать личность против него, то как должно смотреть на это само государство, которое считает себя «правовым»? Может ли оно почитать себя «суверенным» над личностью?

Естественно, что, когда практически возникла идея о международном контроле над жизнью всего государства, явились попытки дать определение неотъемлемым «правам человека». Они отразили углубление понимания отношений между «государством» и «человеком». Так Атлантическая Хартия 1941 года пошла дальше, чем Ковенант Лиги Наций. Она провозгласила огражденность человека от «материальной нужды». Это перестало быть только утопическим лозунгом революционных и социалистических партий; право человека на труд, на достойное существование, обеспеченная помощь от болезней и старости — были признаны, как «личные права» всякого человека, а, следовательно, ограждение этих прав сделалось одной из задач государства. В той же Хартии установлено другое, более общее и потому еще более ценное право — «обеспечение человека от страха». Это предполагает уверенность, что все признаваемые государством права человека ему обеспечены и их никто у него не отнимет. Для отсутствия страха важен не объем этих прав, а действительная их огражденность.

Было много попыток зафиксировать самый объем этих «прав». Даже советская конституция гарантировала личности «неприкосновенность» и различные виды «свободы». Такие попытки бесцельны. Если «неограниченных» прав не может иметь государство, их не может быть и у человека: ни безусловной неприкосновенности личности, ни безграничных личных свобод. Не в конкретном объеме свобод, который законами может быть изменяем, подлинное обеспечение «прав человека», а в чем-то другом. В том, что в издании этих законов принимает участие «личность» в лице ее представителей, и что законы должны быть для всех одинаковы; если закон может быть отменен, то должен быть заменен новым законом, т. е. новою общею нормою, применимой ко всем в данных условиях. В этом сущность правового порядка, т. е. верховенства «права». Она соответствует нашему пониманию справедливости; не даром самое слово «aequitas» — «справедливость» одного корня с «aequum jus» — «равное право». В этом же постулат нашей морали: не делать другим того, чего не хочешь себе. Если законы носят этот характер, то все будут заинтересованы в том, чтобы

их права не были законом нарушены. Участие представительства в законодательстве охраняет таким образом права всякого «человека» против произвола государственной власти.

Мы можем это увидеть на конкретных примерах. Возьмем самое острое право: «собственность», т. е. право человека на вещи. По Руссо это право было началом неравенства и подчинения одного человека другому. Трудно представить себе общежитие, которое могло бы обходиться вовсе без этого права, чтобы его не было ни у кого. Но государство может ему ставить границы, при условии, чтобы они были для всех одинаковы. Как государства уничтожили права людей на рабов, они могут уничтожить «собственность» на разные вещи, на «недра», на предметы «необходимые всем», на самую «землю» и т. д. Но все эти ограничения должны одинаково относиться ко всем. Их нельзя применять по признаку «расы», как было у Гитлера, или «социального происхождения», как было при Ленине; нельзя допускать только «социалистическую», коллективную собственность, как в сталинской конституции. Только при применении закона ко всем, всяким новым законом все пользуются одинаково. Участие в законодательстве «представительства» тогда и будет гарантией, что эти права человека будут ограждены не только против насильника, но и против произвола государственной власти.

Конечно, если за население принимать только одну его, хотя бы численно и бóльшую, часть, эта часть сможет устанавливать в свою пользу неравенство. Недопустимость этого хорошо сознавали, когда меньшинство присваивало себе право быть в лучших условиях, чем другие. Но чем справедливее, если «меньшинство» будет принуждаться служить «большинству»? Можно ли оправдать принудительный труд в концлагерях тем, что содержащиеся в них составляют меньшинство населения, а их работа полезна для всех, кроме них? Или оправдывать этим труд «военнопленных» на страну победителей за пределами военных действий и военного времени? Конечно, эксплуатация меньшинства большинством прочно установиться не может по той же причине, по которой человек может ездить верхом на слоне, а слон не может сесть на человека. Но даже на короткое время работа меньшинства на большинство, по воле одного большинства и в его интересах, была бы проявлением несправедливости. «Правовой» строй должен обеспечивать всем, и большинству, и меньшинству, и отдельному человеку возможность защищать всё

то, что государство признает «человеческим правом». Только тогда «личность» может считать себя защищенной. Для этого и необходима вторая Палата, как Палата меньшинств, имеющих интересы, которые признает государство, но которых все не имеют по природе вещей.

Отсюда не следует, чтобы государство могло быть бессильно перед интересами отдельных людей или меньшинств. «Бессилия» государства так же быть не должно, как и бессилия человека. В поддержании равновесия между ними проблема построения государства. Власть стоит на страже его интересов, как целого: для этого она и выбирается населением; ей дается возможность требовать от населения жертв для всего государства; она может набирать на военную службу, взимать налоги, предписывать иногда принудительный труд; это ее атрибуты. Гарантиями против злоупотреблений ими являются — выборность главы государства, существование народного представительства, и более всего верховенство над «властью» законов, т. е. тех общих норм, в пределах которых она может требовать от населения жертвы. В издании этих законов глава государства, как представитель его интересов, и депутаты, как защитники «человека», должны оба участвовать. В этом залог необходимости их соглашения, а потому и осуществления равновесия между ними. Но как в нормальном порядке может происходить издание новых законов?

Никто не возьмется теперь утверждать, что «власть» может издавать законы одна, без представительства. Но к такой монополии в демократии стремились уже парламенты; они считали, что выражают суверенную волю народа и, если не отменяли «вето» главы государства, то старались его ограничить и свести к безвредной формальности. Эта тенденция и была извращением демократии. Если дорожить интересами «государства», не закрывать глаз на значение власти в защите самих людей и их интересов, нельзя отвергать участия власти в установлении тех законов, которые она должна будет применять и ими защищать мир и порядок. Нельзя главе государства навязывать новые нормы для управления по воле одного того представительства, которое само не «управляет».

Тогда может случиться, что «воля» главы государства сделает невозможной реформу, которой всё население хочет. Это возможно, но в этом нет катастрофы. «Вето» главы государства всегда суспензивно. Если реформа дорогá населению, представительство на будущих выборах даст на

этом бой главе государства. Пока же оно будет примерами жизни доказывать пользу задержанной главой государства реформы и создавать обстановку для плебисцита на выборах. Будет одно из двух. Либо предположенная реформа окажется осужденной самим населением и «вето» главы государства будет оправдано, или будет избран тот кандидат, который с ней будет согласен и возьмется при ней управлять. Издание нового закона окажется только отсроченным; пока же будет действовать тот старый порядок, при котором до тех пор протекала жизнь государства. В этом преимущество всех «статус-кво»: оно не то «новшество», которое может оказаться опасным, ибо еще не испытано. А кроме того, предстоящий плебисцит закона на выборах может заблаговременно обе стороны побудить к соглашению. А оно всегда лучший исход.

Но в законодательной деятельности необходимо соглашение не только «государственной власти» и «представительства». Представительство не едино, как власть. В нормальном порядке непременно должны быть две Палаты, притом равноправные; чтобы издать новый закон, нужно согласие обеих. Отсюда вытекает другая и гораздо более серьезная трудность. Палаты не только могут быть между собою несогласны в подробностях, которые уладить нетрудно; за их несогласием может скрываться один из тех конфликтов интересов среди населения, борьба которых часто составляет жизнь государства. Если мы откажемся от претензии решать подобные споры большинством голосов, а противоположные интересы окажутся недосягаемы под защитой своих равносильных Палат, то не приведет ли это к тому, что осуществление тех важных и часто срочных реформ, которые требуют жертв от отдельных групп населения, станет вообще невозможным? Не окажутся ли они тогда не по плечу демократии и правовому порядку, и не реабилитируют ли этим «диктатуры» «вождей» и «революции» всякого рода?

Нормальный выход должен и тут заключаться в соглашении обеих Палат. К нему и должно стремиться. И их соглашение не невозможно. В переговорах между Палатами будет третий необходимый участник, глава государства. В переговорах он будет защищать те интересы, которые ему вверены населением, т. е. интересы всего государства, куда относится — прежде всего — сохранение в нем порядка и мира. Ему виднее, что для этого нужно, ибо именно он должен будет их защищать. И сами Палаты,

т. е. обе спорящие стороны, в достижении соглашения заинтересованы. Группы населения, от которых новый закон требует жертв, могут понять, что иногда разумнее их принести, сохранив в дальнейшем основы правового порядка, чем весь государственный строй поставить на карту. Те же,, кто хочет реформы, тоже знают, что важнее всего первый шаг, который откроет дорогу к дальнейшему. Почва для какого-то компромисса поэтому будет всегда на лицо. Наконец, в обоих Палатах представлены аналогичные, но не тождественные интересы; не всех членов Палат, не все группы населения проектируемая реформа будет касаться в одинаковой мере; не все интересы будут одновременно поставлены под удар. В оценке того, что в данном случае выгоднее — непримиримость или уступчивость, в самих Палатах может оказаться разномыслие. Словом, для компромисса возможность есть; если же он состоится, то это как раз будет то, чего нужно желать, и к чему должно стремиться.

Однако, только этой надеждой нельзя ограничиться. Добровольное соглашение может всё-таки не состояться. Палаты могут пожелать отстаивать интересы только своих избирателей и воевать «до полной победы». Из этого выход должен быть найден. Примирять несогласия отдельных людей или групп может только интерес всего государства, которое представлено властью. Если все средства исчерпаны (а для этого можно ставить обязательным условием предварительные перевыборы обеих Палат), власть должна иметь возможность оградить интересы всего государства. Из посредника она превратится в арбитра и даст силу закона постановлению одной из Палат. В этом не только заключается легальный исход. Самое наличие этого права у главы государства будет побуждать обе Палаты к сговорчивости. Каждая из них будет стараться свое мнение сделать наиболее приемлемым. Этим они свои позиции будут сближать и могут дойти до согласия. Если же они и не дойдут до него, то в решении, которое будет принято главой государства, всё-таки все три элемента, хотя в разной мере, будут участвовать. Это будет не только стремлением, но и приближением к единогласию. Решение окажется равнодействующей разных течений, всего государства, большинства и меньшинства населения.

Такая система законодательства практически будет иметь еще ту хорошую сторону, что при ней потребности и желания населения могут быть поставлены на обсуждение, как

только будут самими заинтересованными лицами сознаны, и что обсуждение их начнется в одной из Палат, т. е. в сочувствующей и благоприятной среде, а не в стане противников, где большинство может сразу их заглушить. Первоначальная оценка проекта будет исходить от сочувствующих. Благодаря этому они имеют шансы быть удовлетворены тогда, когда это сделать еще не поздно, удовлетворены постепенно, а не скачками и переворотами с пресловутыми «большевистскими темпами». Именно так изменяется и развивается живой организм*).

V. Заключение

На этом я кончаю изложение «еретических мыслей». «Ересью» называется сомнение в самых «догматах» веры. Верховенство «народного представительства», примат в нем «большинства» были для демократии «догматами». Сомнение в них казалось с демократией несовместимо.

---

*) Правовые скачки чаще всего объясняются тем, что перемены не были сделаны во время и прежние несправедливости с течением времени обострялись. Гордиев узел поневоле приходится тогда разрубать с очень ощутимыми жертвами. Образцом этого было, например, крепостное право в России: в нем постепенно слилось несколько разных «неравенств», вытекавших из различных источников. Было и позднейшее право помещика на личность крестьянина, и его право на землю, на которой работал крестьянин. Право на личность было легко просто отменить общей нормой; но права помещика на землю сталкивались с историческим правом самого крестьянина ее обрабатывать. Этот вопрос был разрублен Александром II. Исторически можно считать установленным, что Николай I был сторонником освобождения крестьян и с землею, но не решался сделать это без согласия самих помещиков: без него, говорил он, он превратился бы в «деспота». Для освобождения крестьян он тогда убоялся «дворян», как Александр II для сохранения крепостного права убоялся «крестьян», что открыто признал в своей известной речи дворянам. Чтобы таких острых диллем не стояло, нужно, чтобы и помещики и крестьяне одинаково имели своих представителей, чтобы те и другие заседали в равноправных Палатах и чтобы выборная Верховная Власть имела возможность по праву, а не только насилием взять чью-либо сторону. При таком строе ни неограниченного диктатора, ни революций будет не нужно.

Но мировой кризис ставит эти вопросы. Демократия приблизилась к тупику, который описал Достоевский. В «Бесах» Шигалев впал в отчаяние от того, что «исходя из безграничной свободы» принужден был заключить «безграничным деспотизмом». У него десятая часть человечества получала права над другими. Это совесть его возмущало, но он находил, что другого выхода нет. Это сделалось теперь не личной трагедией одного Шигалева. Демократии тоже исходили из «прав человека», «народоправства» и преобладания в нем большинства и докатились до современного «коммунизма». В Советской России «Партия», меньшая шигалевской десятой, навязывает свою волю девяти десятым народа, несогласных с собой «истребляет» и этот порядок именует «народной демократией». И от этого не приходят в отчаяние, а находятся «подражатели», которые думают, что это есть «новая эра», торжество «настоящей свободы» и что несогласные с этим те «враги народа», которых можно уничтожать.

За такой результат нельзя винить ни «народоправство», ни «права человека». Отрекаться от идеала, т. е. от конечных целей своих недопустимо; это — равносильно хуле на Духа Святого. Но в условиях жизни людям дано только приближение к ним. Кто хочет осуществить их сразу, в полном объеме, непременно их только уродует. Пока люди сознают себя «личностями», а в обществе существуют «различные» виды труда и занятий и на этой почве образуются профессии или классы, до тех пор в жизни неминуемы столкновения их желаний и интересов. Государство имеет задачей их примирять и силой поддерживать между ними то равновесие, которое нужно для общего блага; в этом его главное назначение.

Полностью идеал государства не осуществлялся нигде. Часто предполагаемое приближение к нему от него отдаляло; чем инструмент совершеннее, тем с ним обращаться труднее. Когда «народовластие» сменило «природных» властителей, это должно было быть большим улучшением. Но при разнородности интересов и «народовластие» превращалось в господство одних над другими. Сперва господствовало то «меньшинство», которое считалось наиболее ценной частью всего населения; потом сменило его «большинство», потому что оно «большинство». Отношение властителей и подвластных при народовластии тоже изменилось не к лучшему. Прежние «властители» могли о подвластных заботиться и позволять им высказывать свои пожелания; в бессилии их они не сомневались и их не боялись. При «наро-

довластии» это могло казаться опасным. С несогласными приходилось бороться. Борьба сначала имела свой декорум: учили, что «истина рождается из столкновения мнений». Эта «сантиментальность» отринута в тоталитарных режимах. В них «оппозиции» уже не допускались. Даже «покорности» стало мало; требовались энтузиазм, усердие. Равнодушных объявляли «врагами народа», обезвреживали и иногда истребляли. И это делалось «государством», которое имело целью «общее благо».

Несоответствие назначения государства с его результатами вызывало смуту в умах. Одни заключали, что государство, пока оно существует, и должно быть орудием «господства» сильных над слабыми, что всё дело в том, чтобы быть сильнее других. Другие стали отрицать самое «государство», его право людей «принуждать» и претензию осуществлять «общее благо». Толстой называл «общее благо» ловушкой, которая «подобием добра» заманивает и губит людей.

Проблему «государства» и «личности» во всей глубине ставит философская или религиозная мысль. Она учит, что «идеального» государства и не может быть. В человеке Бог борется с диаволом. Для людей «совершенных» государства не нужно. Не нужно его и для обществ «животных», как муравьев и пчел, где все подчиняются установленным законам природы. Только человек, вкусивший от древа познания добра и зла, склонный к бунтарству, с его опасным даром «свободы» и способностью слушаться диавола, нуждается в государстве. Потому само государство — создание диавола.

Для моей темы — взаимоотношения государственных учреждений — так в вопрос углубляться не нужно. И без этого все наблюдатели жизни признают, что в человеке есть две различных природы. Аристотель называл человека «zoon politikon». В нем есть зверь (homo homini lupus), который может жить только для себя одного. Но человек и politikon. Люди принуждены были жить обществами, которые возникали для общей их пользы, иногда для самой возможности им жить в данных условиях. Совместная жизнь и необходимое для жизни сотрудничество воспитывали в них сознание обязанностей друг перед другом. Для разума это может быть достаточным объяснением другого начала в природе людей. Но как бы мы ни смотрели на этот вопрос, отношения государства и человека должны быть на двойной природе человека основаны. Безрассудно мечтать о «переделке» его или мира, о «разрушении прежнего здания, чтобы

выстроить новое». Государство не здание, как человек не кирпич. В них обоих вековая наследственность, которая, как всякая инерция, громадная сила. Государственный строй надо брать, каким он сложился, как человека, каким он рождается. То, что в мире живых кажется новым, только изменение старого. Мой доклад исходит из этого. Он не пытается сочинять из головы конституции, чем увлекались в XVIII-ом веке; не проповедует каких-либо новых путей. Все они стары. «Государственная власть» бывала уже и сильной, и от представительства независимой. «Представительство» уже выбирали от групповых интересов, которые прежде выражались в сословиях. Великая революция тем началась, что «третье сословие», благодаря большинству своих голосов, сочло себя вправе диктовать двум другим свою волю, а не искать соглашения с ними (23 июня 1789 года). Отстаивая представительство «интересов», вторую Палату, необходимость согласия обеих Палат, усиление полномочий государственной власти, «Еретические мысли» не покидают старых основ демократии.

Но в формах ее можно было служить разным богам. «Тоталитарный режим» — апогей государственной мощи; он «человеком» жертвует для государства. Для этой задачи у него есть преимущества — те же, которые имеет войско над вооруженной толпой. И он такого результата достиг, сохранив главные учреждения демократий. В нем оставлено «представительство», в котором попрежнему видят «суверенитет государства»; существуют якобы «выборы», и т. д. Но это — лишь внешность. На деле правит «меньшинство» «единая партия»; она выставляет кандидатов на «выборы»; оппозиция ей не допускается; непослушных устраняют или истребляют. «Справедливость» и «общее благо» для таких режимов и не представляются идеалом; они ослабили бы могущество государства и неограниченность государственной власти. Такой государственный строй соответствует «волчьей» природе людей; одних он учит покорности, других — упоению собственной силой. Эти режимы — обоготворение силы. Недаром по их пониманию, именно в войне проявляется достоинство человеческой личности; отсюда их общая вражда к христианству, как бы различно эта вражда ни выражалась. Эти режимы открещиваются от восточной деспотии, выдают себя за «народовластие» только затем, чтобы скрывать измену свою тому идеалу, влечения к которому в людях нельзя истребить.

В человеке ведь живут инстинкты не только «волчьей природы». Есть еще те, которые в нем воспитаны общественной жизнью: солидарность, сочувствие к слабым, жалость к несчастным, желание им помогать. Эти чувства находят отклик в той же природе человека. Недаром облик Христа, несмотря на Его позорную казнь, для человечества оказался более обаятелен, чем «сверхчеловеки». Этих чувств нельзя подавить и потому с ними надо считаться. Если «любовь к врагам» выше природы людей и составляет внутреннее противоречие, ибо при ней не бывает врагов, и потому сделать такую любовь основой для государства нельзя, то понятие «справедливости» свойственно всем; все чувствуют обиду от несправедливости, когда приходится быть ее жертвой, и не надо природу свою переламывать, чтобы признать, что дурно другим делать то, чего от них не хочешь себе. На этом природном инстинкте может стоять государство. Оно может служить «общему благу». Если эта цель не достигается сразу, она должна оставаться путеводной звездой. Но «идеала» нельзя подменивать его «искажением». Нельзя на место «общего блага» подставлять благо «большинства», или наиболее достойного класса. Одним человеком нельзя жертвовать для спасения мира, вопреки тому, что казалось Кайафе «самоочевидной истиной». То же с «народоправством». Его нельзя заменять замаскированным господством одних над другими. С господством «меньшинства» демократия боролась, но, когда, победила, пошла сама по той же дороге. Чтобы «народоправством» все могли дорожить, нельзя волю большинства выдавать за общую волю. Народоправство может покоиться только на общем согласии. Если его и не всегда можно достигнуть, стремиться должно к нему. Государство не может, не упраздняя себя, отказаться и от употребления силы. Иначе человек со своими правами и интересами был бы беззащитен против агрессоров волчьей породы. Самосохранение есть естественное условие жизни. В правильном общежитии защита законов и прав человека есть долг государства. Но отсюда не следует, чтоб государство могло само стать агрессором против интересов и прав своих же сограждан, как это практикуется в тоталитарных режимах, где против государства у человека не существует защиты, где самая мысль об этом кажется преступной. Государственного строя, которой осуществлял бы полностью «общее благо», покоился бы на согласии всех, человека не мог бы угнетать, — конкретно мы себе пред-

ставить не можем. Но это не нужно. Необходимо только, чтобы в формах демократии к такому идеалу можно было итти, чтобы дорога к нему не была закрыта; чтобы государство своей деятельностью помогало человечьей, а не волчьей природе. Достоинство всякого строя должно расцениваться по степени этой возможности. Остальное приложится.

Но как бы строй ни был к этому приспособлен, приближение к идеалу определится всё-таки тем, в какой мере в борьбе двух природных начал «человек» будет победителем «волка», по иному пониманию «Бог» — победителем «диавола». Разум не может понять, от чего зависит исход этой борьбы. Но поскольку мы рассуждаем о «государственных формах», мы должны себе дать отчет, что может государство делать для помощи именно «доброй природе» людей.

Если оно возьмется людей переделывать приемами «принуждения», фактическим или моральным насилием, оно в человеке будет развивать противоположные чувства. «Духовные семинарии» воспитывали у нас «атеистов». Французская революция своей гильотиной отучила понимать, что такое «свобода». Коммунизм обостряет жажду эгоистического индивидуального счастья. Это естественно. Государство может развивать только то, что есть в душе человека. Добро, которое в человеческую природу заложено, нельзя укрепить приемами «волчьей» природы. Это заколдованный круг. Насилием можно «дрессировать» на короткое время. Но это не изменит существа человека. — Дрессированный тигр останется тигром и при первой возможности разорвет укротителя.

Если государство хочет улучшать характер людей, оно своими действиями не должно противоречить ее добрым началам. Слишком часто происходило обратное даже в режимах, которые считали себя «правовыми». Когда в пору «раскулачивания» крестьян, из их домов выгоняли, их добро отнимали, а их гнали на гибель, само государство явно учило людей быть «зверьми». Но не для этого ли подготовляли почву тогда, когда и в «правовых» демократиях проповедывали, что «против государства» у человека «приобретенных прав» не существует и что отнятие земли у одних для передачи другим не противоречит правовому порядку? Приемы государства всегда воспитывают людей по своему образцу. Недаром в эпохи острого беззакония «революций» и «войн» наряду с примерами героизма и самоотвержения наблюдалось всегда катастрофическое падение нравов. То же самое более

медленно, но неуклонно происходило в режимах «деспотизма» и «рабства», где всё опиралось на силу и страх, где человек руководился только этими чувствами. Истинная «демократия» и «народоправство» должны бы от этих привычек излечивать. Но и они перешли на те же самые рельсы. Признавая обязательность «воли» большинства над другими, они исключали необходимость соглашения всех, как основу народоправства. И они одних приучали к подчинению «силе», а в других развивала привычки «господства». Добрые начала в человеке и они подавляли. «Тоталитарный режим» оказался только «пьяным илотом», который показал, куда мы идем. Поскольку демократии принимали безусловный примат «большинства», они сами подготовляли, как результат, «тоталитарный режим». Не даром только там, где этот «примат» не вполне победил, где «большинство» признавалось только одним из факторов для «соглашения», демократии этой тенденции показать не успели. Таков был строй Англии, «отсталых монархий» и непарламентарных республик. Но где суверенитет большинства представительства был «доведен» до «конца», — демократии пошли по дороге, с которой раньше «боролись». Это извращение не ограничилось «представительством». Большинство в «партии» стало предписывать членам, как им голосовать. Большинство в «синдикатах» сочло себя вправе приказывать всем «забастовки» и против несогласных ставить «пикеты». Демократии такое насилие над «человеком» терпели, так как стояли сами на той же позиции. Тоталитарный строй это только довел до конца. Фашизм и коммунизм, хотя и проклинали друг друга, были на одной стороне баррикады.

Но «народовластие», оставшись на позиции «авторитарных» режимов, внесло в жизнь нечто новое. Пусть «большинство» могло «повелевать» меньшинством: в отличие от «природных» владык, большинство могло изменяться; его надо было создавать и постоянно поддерживать. Вечная борьба за «большинство» стала атмосферой, которой при народовластии люди дышали. Эта борьба казалась «свободой», была завлекательна, но имела свою оборотную сторону. В «борьбе за большинство» люди пошли тоже дорогой «войны». Приемы войны и средства к победе с течением времени и развитием «техники» в моральном отношении понижались. Война перестала напоминать поединок, когда полагалось сражаться равным оружием, не нарушая установленных для этого норм, когда в победе видели решение Бога, который

вступился за «правое дело». Современная война не такова. Вопреки международных конвенций, которые старались войну регулировать, в ней теперь стало дозволено всё. Обман и хитрости, нарушение данного слова, употребление запрещенных оружий, от газов до атомной бомбы, истребление невоюющих, использование пленных против их же страны — всё стало терпимо. Успех оправдывал всё, ибо «победителей не судят», а «побежденным» по формуле Бренна и полагается «горе». В Нюренбергском процессе судили тоже только одних «побежденных». Таковы нравы современной войны и таково же влияние ее на человека. В таком же направлении развивались приемы и мирной «борьбы за большинство». Против противника, будь то класс или партия, и в ней всё стало дозволено. Число голосов, чьи бы они ни были и какими средствами их бы ни добыли, будто бы определяло «кто прав». Эта борьба отождествлялась с режимом «свободы». В этом отождествлении было его обаяние. «Свобода» и «борьба» всегда увлекают. Но они соответствовали «волчьей» природе людей и понижали качество государственной деятельности. «Большинство голосов» само по себе не доказательство ни пользы, ни добра, ни правоты. А зато соблазн победы в борьбе был скользкой дорогой. Успех на парламентском поприще сделался самодовлеющей целью. По мере этого золотой век «парламентаризма» стал проходить. Парламенты, которые были когда-то вдохновителями здоровых начал государственной жизни, с тех пор, как «большинство» становилось в них «самодержцем», теряли «свое превосходство» над уровнем улицы. Они стали сомнительным, но соблазнительным спектаклем, как когда-то бой гладиаторов. «Представительство интересов» в его поисках соглашения потеряет этот характер, но вместе с тем и свою «популярность». От этого государству хуже не будет. Лицемерие этой игры развращало самих актеров и стало отталкивать зрителей. В этом черпал часть своих доводов и тоталитарный режим.

Так с разных концов шли к одному и тому же. Идеологи «фашизма» радостно вещали конец демократии и наступление эры неограниченной власти «государства» над «человеком». Та схватка «коммунизма» с «нацизмом», которая решила исход последствий войны, была только спором за «гегемонию» в новом порядке. Но она и дала победу« свободным режимам».

Нельзя помириться, чтобы эта их победа была только «временной» и поддерживалась одной атомной бомбой. Потому стала проблема о таком «оздоровлении» демократий, при

котором «тоталитаризм» им не будет опасен. Это не осуждение демократии. От ее основ отрекаться не нужно. Мы не должны и выдумывать законченные формы идеального государства; к оздоровлению «демократий» нужно так же постепенно итти, как постепенно шли к их извращению. Не так важно достижение идеала, сколько верное к нему направление. Но начинать нужно с исходных позиций. Нельзя изменять идеалу «общего блага» и «соглашения всех» и заменять их «суррогатами». Возвращение к идеалу отразится на человеке и его отношении к другим. Всякая война заканчивается конференцией мира, где вместо победы начинают искать соглашения. Чтобы итти к этой цели, не нужно отказываться от существующих форм демократии. Но вместо того, чтобы голос «меньшинства» заглушать и провозглашать «большинство» выразителем «общей воли народа», государство должно меньшинство и его интересы, поскольку оно их вообще допускает, против заглушения большинством охранять; должно давать меньшинствам возможность объединять всех тех, кто находится в одном положении с ними, и довести это постепенное объединение до второй равноправной Палаты. Окончательное же соглашение между противоположными интересами, отыскание приемлемых для всех компромиссных решений, будет уже делом Палат. Они для этого созданы. И их соглашение будет достигаться не погоней за «большинством голосов». Искание соглашения свойственно обычаям мира, а не разгару «волчьих» страстей. Перемена приемов управления со стороны государства отразится на людях и взаимных их отношениях. Здесь будет шаг к оздоровлению «демократий» и «народоправства».

Мир не обеспечивается тем, что воюющие садятся за стол и могут сопоставлять свои интересы. Для мира нужно согласие всех на принятие компромиссных решений. Этого может не быть и тогда война продолжается. То же может случиться с Палатами. Но мирный выход из этого практикой жизни найден давно. Когда происходят столкновения интересов отдельных людей, они уже не решают их «полем», а передают на обсуждение «судей». Судья объявляет, на чьей стороне справедливость. Стороны стараются его убедить в своей «правоте», а не считают число своих голосов и не меряют сил. Это другой прием, чем «Божий суд» или «поле». Таким же приемом должно выходить из несогласия обеих Палат. Оно может быть разрешено «главой государства». Палаты должны

ему показать, которая из них ближе к «справедливости» и к «общему благу». Для принятия решения главой государства, у него есть преимущества. Ему вручен аппарат «принуждения» и он будет иметь возможность свое решение отстоять против самоуправных действий тех, кто им недоволен. По своему положению хранителя общего порядка и мира, он заинтересован более всех в том, чтобы его решение могло быть принято всеми. Такой исход несогласия между Палатами лучше, чем состязание сил на баррикадах или даже у избирательных урн; он будет мотивироваться «пользой» и «справедливостью», а не простой «волей» или «числом голосов». Конечно, этот порядок усилит значение «главы государства», с чем демократии долго боролись. Но некоторое ограниченное законами усиление государственной власти необходимо, чтобы демократии не опустились до переворотов, а потом и до упрощенных «тоталитарных режимов».

Подобный исход конфликтов между Палатами не только сближает их с установившимся в жизни разрешением столкновений между отдельными лицами, но предваряет улажение несогласий самих государств в будущей организации всего человечества. В ней тоже мечтают упразднить состязание сил, т. е. войну, как разрешение споров, ибо победа при теперешней технике ничьей «правды» не обнаружит. Войну предполагают заменить решением «незаинтересованных» государств. В международном конфликте пока нет еще необходимых условий для этого. Нет «общей власти», нет «аппарата принуждения», от отдельных государств независимого; государства по традиции дорожат «суверенитетом» собственной воли. В отношениях между собою они находятся в том первоначальном периоде, когда всё решается «силой». Сделаны только первые шаги к «народоправству», пока еще с различными рангами для отдельных держав, с правом «вето», которое дается не всем и т. д. И всё же, если суждено существовать человечеству, будущее у этой организации, а не у атомной бомбы. Для разрешения же своих внутренних споров у современных демократий существуют все нужные элементы. Когда государства привыкнут их так разрешать у себя, им будет легче построить на этих началах и международную организацию. Для своего же оздоровления демократиям не нужно ни революций, ни насильственных переломов. Нужно только, чтобы они неуклонно держали курс на свой собственный идеал, которым является не мощь государства, а благо людей, притом без исключения всех. В

какие конкретные формы выльется тогда государство, так же невозможно представить, как в новорожденном ребенке предвидеть черты взрослого человека. Это определится развитием жизни и ее скрытыми силами, но итти нужно к этому и от этой цели не отклоняться.

Мой доклад так и ставил вопрос. Он имел в виду загадку упадка демократий по мере того, как они побеждали. На такой общий вопрос можно было и давать только общий ответ. Он в том, что сами демократии от основ своих отступали. Если они хотели осуществлять настоящее «народовластие», ограждать признаваемые ими самими права «человека» против всяких насилий, чтобы против этого были все обеспечены, они должны были итти другой дорогой, а не путем поклонения большинству. Ни «народоправство», ни защита «личности» против государства не мыслимы, пока демократии признают волю большинства «суверенной». На этом пункте демократии сбились с пути. Если в этом направлении они будут следовать дальше, они будут кружиться на месте и готовить «тоталитарный режим»: он справа и слева их уже поджидает. «Еретические мысли» хотели напомнить об этой опасности, выход из которой можно искать в существующих государственных формах. Если я иногда вопрос заострял, то делал это сознательно. Толстой любил говорить, что, когда хотят переплыть быструю реку к определенному пункту, то его намечают выше течения, которое всё равно лодку снесет. Но переплыть реку демократиям нужно; на этом берегу им оставаться стало опасно, так как они тоталитарному режиму сюда сами открыли дорогу.

В. А. Маклаков

АТОМНАЯ ПОЛИТИКА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ

1.

Это случилось 6-го августа 1945-го года. В этот день во всех американских газетах появилось сообщение, как будто вырванное из страниц фантастического романа. Но подпись под этим сообщением была не Жюль Верна и не Уэллса, а президента Северо-Американских Соединенных Штатов.

В сообщении этом мир оповещался, что «16 часов тому назад американский аэроплан сбросил одну бомбу на город Хирошима, важную японскую военную базу. По силе взрыва бомба эта превосходит 20,000 тон T.N.T. Она в 2,000 раз сильнее самой крупной из всех до сих пор примененных бомб. Это атомная бомба. Сила, в ней выраженная, та же самая, которая лежит в основе мироздания».

Через три дня, 9-го августа, вторая атомная бомба была сброшена на Нагасаки. Сила разрушения этих двух бомб была потрясающа. Так же велика была и паника, охватившая правящие японские круги. 28-го июля, всего лишь за девять дней до атомной бомбардировки Хирошимы, Япония отклонила ультиматум о сдаче, признав его «незаслуживающим внимания». 14-го августа последовала полная и безусловная сдача Японии, несмотря на наличность в то время пятимиллионной боеспособной японской армии и воздушного флота в 5,000 аэропланов.

В вышеупомянутом сообщении президент Труман нарисовал, в общих чертах, историю научного открытия, которое представляет собою начало новой эры в жизни человечества. Открытие это явилось результатом величайшей в истории мира мобилизации и координации научных, промышленных и инженерных сил. Обошлось это открытие Америке в два миллиарда долларов.

В течение нескольких лет, во время войны, шла «битва

лабораторий» между Германией, с одной стороны, и Америкой и Англией, с другой. Эта битва, которая, после нескольких лет напряженных усилий, привела к открытию освобождения и к военному использованию атомной энергии, началась в 1940-ом году, когда научные силы Америки и Англии впервые объединились против работавших в том же направлении научных сил Германии. Вступление Америки в войну привело к предельной интенсификации этой работы. Количество инженеров и рабочих, занятых в атомном проекте в Соединенных Штатах, достигло цифры в 125,000 человек. Несмотря на это, тайна этой работы была сохранена. Значительную роль в этом сыграло то обстоятельство, что весь этот совершенно исключительный, по технологической сложности, проект был так тщательно подразделен, что лишь немногие, работавшие в самом центре, знали о проекте и методах его выполнения в целом.

Начиная с 1-го мая 1943-го года, весь атомный проект выполнялся под руководством Генри Стимсона, бывшего в то время военным министром в кабинете Рузвельта. На нем лежала вся ответственность за проект перед президентом. В недавно вышедших мемуарах Стимсона есть несколько глав, посвященных этой фазе его работы во время войны, и они представляют громадный интерес и для современников и для будущего историка.

Сам Стимсон — замечательная фигура среди американских государственных деятелей. Карьера его была разностороння. Выдающийся юрист, талантливый лидер республиканской партии и близкий друг Теодора Рузвельта, Стимсон занимал пост военного министра в кабинете Тафта (1911-13 г.г.); пост Государственного Секретаря в администрации Хувера (1929-33 г.г.), и вновь пост военного министра в кабинете Франклина Рузвельта.

Предвидя надвигающуюся на Америку войну, Рузвельт, в июне 1940-го года, ввел в состав своего кабинета двух выдающихся республиканских деятелей, создав, таким образом, в значительной степени, правительство национального объединения. Для того, чтобы подчеркнуть всю важность надвигающейся военной угрозы, Рузвельт предложил этим республиканским лидерам руководство морским и военным министерствами. На пост морского министра он пригласил Франка Нокса, который во время избирательной кампании 1936 года, будучи кандидатом республиканской партии в вице-президенты, активно боролся против переизбрания Рузвельта. На пост

военного министра Рузвельт пригласил маститого Генри Стимсона, которому тогда было уже около 73-х лет. Изумительная работоспособность и мастерство в управлении колоссальным и сложным военным аппаратом Америки в течение последующих критических пяти лет составляют замечательную страницу в жизни этого выдающегося американского государственного деятеля.

2.

В своих мемуарах Стимсон отмечает, что уже в 1938-м г. опыты по освобождению атомной энергии достигли некоторых начальных результатов в Германии. «По нашим сведениям», пишет Стимсон, «в 1941-м и 1942-м годах немецкие ученые были впереди наших в этом отношении»[1]). Об этом же Рузвельта предупредил проф. Эйнштейн, гениальная математическая формула которого, опубликованная в 1905-м году, легла в основу всей последующей сорокалетней работы по освобождению атомной энергии.

Под влиянием этих сведений, Рузвельт решил начать ныне знаменитую битву лабораторий. В условиях военного времени, Конгресс не протестовал против затраты неограниченных средств на таинственный проект. В результате, была создана и 16-го июля 1945-го года, в штате Новая Мексика, испробована первая атомная бомба. До этой замечательной демонстрации, открывшей новую эру в жизни человечества, Рузвельт не дожил . . . Он скончался в апреле 1945-го года.

Генри Стимсон берет на себя, почти целиком, моральную ответственность за атомную бомбардировку двух в военном отношении важных городов Японии. Его рекомендация президенту Труману была в этом отношении вполне определенна и была полностью поддержана генералом Маршаллом, занимавшим в то время пост начальника американского генерального штаба. В объяснение своей позиции, Стимсон указывает, что высадка американских сил на японские острова, при наличности в то время боеспособной пятимиллионной японской армии, обошлась бы, приблизительно, в один миллион убитыми и ранеными. Потери на японской стороне также были бы колоссальны. Решительны атомный удар привел к немедленной сдаче Японии и, тем самым, несмотря на большие жертвы в

---

1) "On Active Service in Peace and War," by Henry L. Stimson, стр. 613.

Хиросиме и Нагасаки, предотвратил гораздо бо́льшие жертвы с той и с другой стороны.

Последнее свидание Стимсона с Рузвельтом состоялось 15-го марта 1945-го года. В предвидении событий, на этом свидании было решено создать, под председательством Стимсона, временный комитет для подготовки трех документов: заявления Америке и всему миру в связи с предстоящей первой атомной бомбардировкой Японии, проекта контроля атомной энергии в пределах Соединенных Штатов и проекта действенного международного контроля атомной энергии[2]). Эта последняя беседа между двумя представителями американской демократической государственности отразила то чувство ответственности перед всем миром за овладение новым секретом природы, которое позднее нашло выражение в знаменитом плане Барука. Сам Стимсон выразил эти настроения в заявлении, опубликованном 9-го августа 1945-го года, в день бомбардировки Нагасаки: «Произошло великое событие. Изменен весь облик нашего мира».

В меморандуме, адресованном президенту Труману 25-го апреля, за три месяца до удачного опыта с первой атомной бомбой, Стимсон писал, что «вполне возможно, что гораздо более легкий и дешевый способ изготовления атомных бомб будет открыт в будущем, и из материалов более доступных» и что, поэтому, «изготовление этих бомб будет возможно для всех наций и даже для отдельных частных групп». Рекомендуя установление национального и международного контроля в этой области, Стимсон писал: «Установление действенного контроля атомной энергии, несомненно, представит громадные трудности и должно быть построено на праве такой тщательной и всесторонней инспекции, о которой нам до сих пор и думать не приходилось».

Сообщение об опыте в Новой Мексике пришло к президенту Труману во время потсдамской конференции. Стимсон был в составе американской делегации и, как он об этом вспоминает, в Потсдаме он впервые, непосредственно и путем докладов американских офицеров, наблюдавших советскую оккупацию в течение нескольких месяцев, встретился «с массивной жестокостью» («massive brutality») советской системы и с полным подавлением ею всякой свободы в русском народе и в народах занятых советскими войсками стран».

Поведение Сталина на потсдамской конференции произ-

---

[2]) Там же,, стр. 616.

вело на Стимсона резко отрицательное впечатление. Как Стимсон пишет, «Сталин был определенно заинтересован в базах на Средиземном море, вне сферы нормальных русских национальных интересов, и в установлении для себя фактического контроля в Центральной Европе, в полном противоречии с принципами Атлантической Хартии, которую его правительство с такой готовностью подписало в начале 1942-го года».

Под влиянием этих впечатлений, Стимсон представил президенту меморандум, в котором он определенно поставил вопрос: «Возможен ли международный контроль атомной энергии, когда одним из главных участников в этом контроле является полицейское государство?» «Обдумав вопрос», писал он, «я пришел к убеждению, что действенный контроль в этой области невозможен, если одним из главных контролирующих факторов является государство, в котором нет политической свободы, а есть диктатура, опирающаяся на полицейскую силу».

В заключение, Стимсон рекомендовал предъявление Сталину требования восстановления политической свободы в России, — свободы, номинально признанной советской конституцией 1936-го года, — как условия, без которого раскрытие атомных секретов и установление подлинного международного контроля атомной энергии невозможно.

В политической и психологической обстановке того времени, — в июне 1945-го года, — эта мысль Стимсона, повидимому, встретила сопротивление. Доводы, приведенные против такого, для того времени очень радикального шага, очевидно, повлияли на самого Стимсона. В письме к президенту от 11-го сентября 1945-го года, Стимсон писал: «Я пришел к убеждению, что всякое требование с нашей стороны изменения внутренних условий в России, как базы для атомного соглашения, будет встречено сопротивлением и сделает возможность успеха в этом отношении еще менее вероятным»[3]).

После опыта длительной кремлевской обструкции в Объединенных Нациях, Стимсон окончательно разочаровался в возможности соглашения с московской диктатурой по атомному вопросу. В замечательной статье, «The Challenge to Americans», опубликованной осенью 1947-го года, Стимсон, называющий себя «прогрессивным консерватором», не только видит единственный выход для спасения цивилизации в создании

---

[3]) Все вышеприведенные цитаты взяты из книги Стимсона, стр. 634-42.

мирового правительства, — для которого осуществление плана Барука, как будет показано ниже, заложило бы основную экономическую и технологическую базу, — но и заявляет, что если Кремль и впредь будет настаивать на неизменно-отрицательном ответе («everlasting 'no'»), тогда «нам придется обратиться к другим методам изменения этого отношения. Игнорировать его мы не можем»[4]). В устах государственного деятеля, пользующегося громадным политическим и моральным престижем во всей стране, эти слова очень значительны.

3.

Первая атомная бомба разорвалась 6-го августа 1945-го года. Меньше чем через год, — 14-го июня 1946 года, — Бернард Барук, от имени правительства Соединенных Штатов, представил Объединенным Нациям проект международного контроля атомной энергии. В течение этого же первого года Атомной Эры, американский Конгресс принял закон Мак-Мэхона, установивший строгий государственный контроль над атомной энергией в пределах Соединенных Штатов. Американская государственная мысль быстро усвоила необычайное, революционное значение нового явления и действовала в новой области с большой энергией и решительностью.

Как и Стимсон, Бернард Барук мог бы назвать себя «прогрессивным консерватором». Обоих их, помимо подлинного, просвещенного патриотизма, объединяет способность мужественного принятия новых фактов, даже таких, которые неприятны. Для представления Объединенным Нациям американского проекта международного контроля атомной энергии нужен был большой, зрелый, уравновешенный и мужественный ум. Выбор пал на Барука, «советника президентов» в течение последних трех десятилетий.

Поставленный лицом к лицу с самым революционным фактом нашего необычного времени, умеренный либерал Барук сделал из него, при полной поддержке правительства Соединенных Штатов, логичный и, поэтому, неизбежно революционный вывод. Характерно, что в начале своей речи в Атомной Комиссии Объединенных Наций Барук обратился не только к членам Комиссии, но и к «моим друзьям — гражданам всего мира». Говоря об отношении демократии к установ-

---

[4]) "Foreign Affairs," October, 1947.

лению международного контроля атомной энергии, Барук заметил, что демократии «не боятся интернационализма, который создает защиту от войны. У них нет тенденции прятаться за ширму узкого понимания «суверенных прав», являющегося новым названием для того явления, которое вчера называлось политической изоляцией».

Слова Барука оказались пророческими. План его был принят 4-го ноября 1948-го г. всеми нациями, представленными в Общем Собрании Объединенных Наций, за исключением Советского Союза и его невольных подголосков. За план Барука голосовало 40 стран, против — 6. На протяжении всего спора, тянувшегося около двух с половиной лет, возражения Громыко, Молотова и Вышинского, — интернационалистов только на коммунистический лад, — были прятанием за ширму узкого и, по условиям нашего времени, для всех опасного национализма. По словам проф. Эйнштейна, до недавнего времени очень осторожного в критике советской власти, их возражения были «ничем иным как тенденцией к почти безграничной изоляции». Великий ученый пришел к признанию, что план Барука представляет собою стремление найти «подлинное разрешение проблемы международной безопасности» и что «негативная» в этом отношении советская политика ведет к новой войне[5]).

В своем первоначальном заявлении на заседании Атомной Комиссии Объединенных Наций, 14-го июня 1946-го года, Барук заметил, что «мы должны сделать выбор между быстрым разрешением этого вопроса и смертью . . . Выбор перед нами — прочный международный мир или мировое разрушение». Развивая свою мысль, Барук продолжал: «Правительство Соединенных Штатов предлагает создание Международного Органа Атомного Контроля, в руках которого должны быть сосредоточены все стадии создания и использования атомной энергии, начиная с разработки сырых материалов и кончая контролем всех тех видов освобожденной атомной энергии, которые могли бы представить опасность для международного мира». Пользуясь опять словами Эйнштейна, план Барука представляет собою «попытку создания сверх-национальной организации безопасности».

Этот план вызвал против себя решительную оппозицию со стороны представителей Кремля в Атомной Комиссии, в

---

5) "A Reply to Soviet Scientists;" "Bulletin of the Atomic Scientists," February, 1948.

Совете Безопасности и, наконец, в Общем Собрании Объединенных Наций. Оппозиция эта проявилась в очень резкой форме, несмотря на то, что на московском совещании, в декабре 1945-го года, было достигнуто соглашение об образовании Атомной Комиссии при Объединенных Нациях, и директивы для этой комиссии, подписанные Бэрнсом, Бевиным и Молотовым, предписывали разработку условий «контроля атомной энергии в такой степени, чтобы было обеспечено применение ее только для мирных целей». Директивы предписывали также разработку условий для «полного исключения атомного оружия и других способов массового истребления из национальных вооружений».

Приняв как будто бы принцип международного контроля атомной энергии, представители Кремля настаивали в Объединенных Нациях, прежде всего, на разрушении уже имеющихся атомных бомб и способов их изготовления. Только за этим, по их программе, должно было последовать обсуждение техники и установление международного контроля. Игра эта, по существу очень грубая, была сразу раскрыта. При теперешней военной беспомощности Западной Европы, только атомная сила в распоряжении Америки стоит между очагами европейской свободы, где они еще уцелели, и волнами кремлевского империализма, уже затопившими Восточную Европу с ее стомиллионным населением.

Проиграв на этом пункте, представители кремлевской диктатуры сделали много попыток скомпрометировать самую сущность плана Барука. На протяжении двух с половиной лет, с бесконечными повторениями произносились одни и те же речи о покушении Америки на «суверенные права» других государств и о ее стремлении, при посредстве плана Барука, установить «господство над миром». Риторика эта, в значительной степени, собрана в статье советского публициста Н. Рубинштейна, характерно озаглавленной «Атомная политика американских монополий»[6]).

4.

Дело идет, конечно, не об атомной политике «американских монополий», а о политике правительства Соединенных Штатов, стоящего над этими монополиями. У власти в Америке, начиная с 1933-го года, стоит партия, не пользующаяся

---

[6]) «Новое Время», № 35, 25-го августа 1948-го года.

особой благосклонностью руководителей финансовых и промышленных кругов. Республиканская партия, — партия оппозиции, — стоит ближе к этим кругам, но и она ими не контролируется. Государственная власть в Америке контролируется десятками миллионов свободных избирателей, и среди них рабочие союзы, насчитывающие теперь около 16-ти миллионов членов, и фермерские организации играют большую, почти решающую роль. Марксистская утрировка Н. Рубинштейна нелепа в проекции на американскую политическую действительность наших дней.

Атомная политика Соединенных Штатов естественно подразделяется на политику внутреннюю и внешнюю. Внутренняя политика была установлена законом Мак-Мэхона, который был утвержден президентом 1-го августа 1946-го года. Внешняя политика, в предварительной форме, была намечена в докладе специальной комиссии, известном под именем «The Acheson-Lilienthal Report» и, в окончательной форме, в плане Барука. Позиция, занятая Америкой в проблеме контроля атомной энергии внутри страны бросает яркий свет на ее позицию в этом вопросе в области международных отношений.

Закон Мак-Мэхона так же необычен, как и план Барука: оба документа отражают глубоко революционное значение того нового явления, с которым они оперируют. В основе закона Мак-Мэхона лежат положения, установленные президентом Труманом в письме к автору этого закона, сенатору Мак-Мэхону, датированном 1-го февраля 1946-го года.

По закону Мак-Мэхона, правительство Соединенных Штатов является единственным собственником всех сырых материалов, нужных для утилизации атомной энергии, и сохраняет за собою полный контроль по их использованию частными интересами. «Недостатки государственной монополии в этом отношении», писал президент, «малы по сравнению с угрозой, которая висела бы над нами, при разрешении кому бы то ни было, помимо правительства, владеть этими материалами и бесконтрольно ими распоряжаться. Помимо того, блага атомной энергии принадлежат народу; они должны быть распределены в самом широком масштабе»[7]).

Проведение закона Мак-Мэхона в Конгрессе, — в Сенате он прошел единогласно; в Палате Представителей большин-

---

[7]) Цитирую по книге, изданной Государственным Департаментом в Вашингтоне: "International Control of Atomic Energy—Growth of a Policy," стр. 137.

ством 265-ти голосов против 79-ти, — представляет собою одно из самых знаменательных проявлений политической и экономической революции нашего времени. Закон этот, устанавливающий государственную монополию на все источники и, поэтому, на все возможные способы утилизации атомной энергии, по существу своему социалистичен.

Как будет показано ниже, достижения, уже сделанные в области применения атомной энергии к мирным целям, показывают, что применение этой энергии в качестве движущей силы в промышленности и транспорте неизбежно в недалеком будущем. Государственная монополия атомной энергии приведет, поэтому, к установлению такой степени социального контроля над экономической жизнью страны, по сравнению с которым все элементы ныне существующего контроля будут незначительны. Характерно, что г-жа Клэр Бут Люс, видная представительница консервативного крыла республиканской партии, бывшая членом Конгресса во время проведения закона Мак-Мэхона, сказала: «Этот закон — чистый социализм, но я буду голосовать за него, так как другого разрешения вопроса нет».

Согласно закону Мак-Мэхона, была создана Атомная Комиссия Соединенных Штатов, состоящая из пяти членов. Задача этой Комиссии — руководство всей атомной работой страны: военной, а также и по приложению нового источника энергии к мирным целям. Во главе Комиссии был поставлен Давид Лилиэнтол, создавший себе большую репутацию в качестве администратора Tennessee Valley Authority, второго по значению центра производства электрической энергии в Соединенных Штатах.

В очень интересной беседе с известным американским писателем Арчиболд Мак-Лиш, Лилиэнтол указал, что, при отсутствии международного контроля атомной энергии, главное затруднение в работе Атомной Комиссии Соединенных Штатов, — это, конечно, приложимо к атомной работе и во всех других странах, — заключается в ее секретности. «Необходимость этой крайней секретности», сказал Лилиэнтол, «в значительной степени парализует наше мышление». Для Лилиэнтола, наука и секретность, по существу своему, несовместимы; точно также, по его убеждению, несовместимы секретность и демократия. Вместе с тем, в теперешней обстановке, крайняя секретность в атомной работе, даже в разработке способов применения новой энергии к мирным целям, абсолютно необходима.

Как указал Лилиэнтол, «нам приходится оперировать с

процессом, который является одновременно ключем к новому познанию мира, новым подходом к проблемам медицины, новым источником промышленной энергии, и новым, потрясающим по силе, орудием разрушения». Поэтому, создание строгого контроля, путем установления государственной монополии в этой области, было неизбежно.

«Наша конечная цель», — говорит Лилиэнтол, — установление интернационального контроля атомной энергии. Промежуточная цель, пока такого контроля нет, — установление американского первенства во всех областях атомной работы, не только в военной сфере, но и в применении этой новой силы к медицине, индустрии, сельскому хозяйству, — к науке и практике жизни в самом широком смысле». Задача этой промежуточной стадии, по словам Лилиэнтола, не только достигнуть всех, даже и в теперешней обстановке возможных результатов, но и показать народам всего мира, какие подлинно грандиозные результаты могли бы быть достигнуты в условиях международного контроля атомной энергии, при отсутствии висящей в настоящее время над атомной наукой абсолютно необходимой секретности.

«Мы хотим и должны добиться подлинного международного контроля атомной энергии» — продолжал Лилиэнтол. «Русский (надо читать: кремлевский — А. З.) план есть только бумажная видимость такого контроля». К этому он прибавил, как Мак-Лиш передает, со значительным волнением: «Ведь в нашем распоряжении теперь новая, безграничная, космическая сила... Результаты правильной и полной эксплоатации этой силы обогатят весь человеческий мир. Рак мучает и убивает людей повсюду, включая Россию. Увеличение в производстве пищевых продуктов нужно повсюду, включая Россию. Новые источники индустриальной энергии нужны повсюду, опять-таки включая Россию. Народы всего мира должны понять, что только при совместной и открытой работе можно достигнуть максимума для всех благодетельных результатов в применении этой новой силы»[8]).

Несмотря на необходимость большой секретности в атомной работе, Лилиэнтол считает необходимым приобщение к этой работе, в смысле ее понимания, самых широких кругов американского общества. В одной из своих статей, Лилиэнтол предсказывает, что «в течение ближайшего времени, — возможно, в течение ближайшего десятилетия, — мы будем в

---

[8]) "A Progress Report On Atomic Energy." "Life," September 27, 1948.

состоянии открыть новое понимание процессов материи и жизни, настолько превосходящее то, что мы знаем теперь, что перед нами возникнет совершенно новая концепция человеческого существования». Он призывает весь американский народ к изучению и пониманию основных фактов в атомной науке, считая, что в демократии такое понимание абсолютно необходимо для правильного приспособления жизни к новым условиям и факторам, в рамках личной и политической свободы[9]).

В другой из своих статей, талантливый и неутомимый руководитель Атомной Комиссии Соединенных Штатов обсуждает очень важный вопрос об отношении государственной монополии, которую он возглавляет, к свободе научного исследования. Интересует и волнует его также вопрос о пределах, которые следует поставить необходимой централизации этой работы, чтобы не умертвить ее дух и прогресс.

По первому вопросу, Лилиэнтол заявляет, что ученым и техническим силам, занятым в Атомной Комиссии, предоставлена полная свобода исследования и экспериментации и что «в Комиссии нет места для ученых и инженеров, которые предпочли бы воздержаться от того или иного шага, из страха сделать ошибку». К работе по атомным вопросам, под руководством Комиссии, привлечены американские университеты и многие промышленные компании, и им также предоставлена максимальная свобода инициативы в разработке этих вопросов[10]).

5.

В стремлении скомпрометировать план Барука, советский публицист Н. Рубинштейн, в статье упомянутой выше, заявляет, что «господство американских монополий над производством и использованием атомной энергии Соединенных Штатов они («американские представители и стоящие за ними монополии») пытались распространить на весь мир».

Стремление Н. Рубинштейна связать внутреннюю американскую атомную политику с политикой внешней вполне логично. Вместе с тем, из самого существа закона Мак-Мэхона, установившего государственную монополию на все

---

9) "Atomic Energy Is *Your* Business," "The New York Times," January, 11, 1948.

10) "The Atomic Adventure," "Collier's," May 3, 1947.

области атомной работы в Соединенных Штатах, видно как нелепа та база, на которой этот сотрудник казенной советской печати, вслед за Громыко, Молотовым и Вышинским, строит свое обвинение. Крупные американские промышленные предприятия, включая и те весьма немногие среди них, которые, до некоторой степени, можно назвать монополиями, так же подчинены руководству правительственной Атомной Комиссии, как и отдельные работающие в этой области ученые и инженеры. Не частные интересы, а интересы демократической государственности, доминируют и направляют внутреннюю и внешнюю атомную политику Соединенных Штатов.

Раскритиковав к руководству этой политикой совсем непричастные «монополии», советский публицист направляет острие своего оружия на комиссию Лилиэнтола. «Работа комиссии по внутреннему управлению атомной энергией», пишет он, «целиком сосредоточена на военном использовании атомной энергии и направлена к торможению ее мирного использования». В этом обвинении есть небольшая доля правды. Обструкционная политика Кремля по отношению ко всем попыткам установления международного контроля атомной энергии делает необходимой, как это заявляет сам Лилиэнтол, большую долю секретности в применении этой энергии даже к мирным целям и, поэтому, в этой области действительно есть «торможение».

В этом отношении, очень интересно сообщение, появившееся в The New York Times от 18-го сентября, 1946-го г., и напечатанное, как указала газета, с разрешения Военного Министерства. Согласно этому сообщению, в необычайно сложном технологическом процессе создания первой атомной бомбы были открыты новые процессы и продукты, для которых в индустрии могут быть «тысячи применений». На эту работу было затрачено два миллиарда долларов народных денег. Никаких частных патентов на эти процессы и продукты быть не может. И всё-таки, по соображениям безопасности, они не переданы индустрии, как не переданы и многие другие технологические достижения, несомненно сделанные в интенсивной атомной работе последних двух лет. Прав советский публицист: в этом есть торможение мирного использования атомной энергии. Но вина за это торможение лежит не на комиссии Лилиэнтола, а на той темной, реакционной, диктаторской силе, которой перо г-на Рубинштейна служит.

И всё-таки, несмотря на всю необходимость большой секретности, достижения на мирном атомном фронте, в течение

всего лишь трех лет работы, воистину велики. В качестве иллюстрации, можно привести два сообщения, появившиеся недавно в американской печати в течение одной недели. В одном из них, от 23-го октября 1948-го года, сообщается, что хотя первые радиоактивные изотопы, дающие возможность прослеживать до сих пор науке неведомые процессы в материальном и органическом мире, были Америкой предложены всему научному миру всего лишь около двух лет тому назад, этим предложением уже воспользовались двадцать две страны, и свыше тысячи важных научных проектов уже разрабатываются при помощи этого нового агента[11]).

От второго сообщения, от 1-го ноября 1948-го года, веет почти сказкой. Из этого сообщения мы узнаем, что вес всех радиоактивных изотопов, которыми Америка теперь снабжает свой и заграничный научный мир, в совокупности, в течение года, равен приблизительно одной унции. «Эта одна унция снабжает и внешний мир и свыше трехсот американских лабораторий в области медицины, биологии, химии, сельского хозяйства и промышленности». Изотопы эти посылаются в специальном порошке, и общий вес смеси в течение года равен, приблизительно, десяти фунтам. Однако, сила радиоакции этой одной унции изотопов такова, что упаковочные материалы, необходимые для пересылки и хранения, весят около 50-ти тонн[12]).

Применение атомной радиоактивности к медицине — вопрос, к которому, конечно, следует относиться с осторожностью. Всё же очень важен факт, что Люис Штраус, один из пяти членов Атомной Комиссии Соединенных Штатов, в своем выступлении перед комиссией Сената, в июне 1948-го года, заявил, что результаты, уже достигнутые в применении атомной энергии к борьбе против рака, «поразительны», и что они «пробивают брешь» в борьбе человечества против этой страшной болезни[13]).

---

11) "Isotops Now Used in 1,000 Projects"; "The New York Times," October 24, 1948. См. также: "Isotops And Their Application In Peacetime Use of Atomic Energy," "Bulletin of Atomic Scientists," May, 1948.

12) "Atom Plant Ships One Ounce a Year"; "The New York Times," November 1, 1948.

13) Сообщение United Press из Вашингтона, 15-го июня, 1948-го г. См. также: "Lifesaving Role of the Atom"; "U. S. News & World Report," May 7, 1948, и главу, "New Methods in Medicine," в книге: "The Boon of the Atom," by George Bankoff.

Достижения, сделанные на промышленном фронте, повидимому, очень значительны. Специальный комитет по атомной энергии, созданный в Бостоне, во главе которого стоит президент Массачусетского Технологического Института, д-р Карл Комптон, выразил мнение, что экономное применение атомной энергии к индустрии будет возможно, приблизительно, через пять лет[14]).

Другие авторитетные предсказания более осторожны, но и они намечают короткие сроки для новой индустриальной революции, по сравнению с которой применение пара и электричества к индустрии покажется бледным событием. Евгений Холман, вице-президент гигантской Standard Oil Company of New Jersey, в показании перед сенатской комиссией в Вашингтоне, в июне 1947-го года, высказал мнение, что через 15 лет большие заводы и суда будут приводиться в движение атомной энергией[15]). Мнение это совпадает с результатами специального исследования прогресса, сделанного в приложении атомной энергии к мирным целям, произведенного авторитетным вашингтонским журналом[16]).

Большая работа в том же направлении ведется и в Европе. Поскольку дело касается Англии, согласно докладу, сделанному комиссией выдающихся ученых на съезде английских тред-юнионов в Лондоне, в 1947-м году, «возможно, что к 1970-му году значительная часть промышленности в Англии будет работать на атомной энергии»[17]). На съезде американского Общества Инженеров-Механиков, весною 1948-го года, д-р Л. Борст, глава Атомного Проекта в Брукхэвене, одного из самых важных центров атомной работы в Соединенных Штатах, заявил, что европейские страны, вследствие недостатка угля, усиленно работают над способами применения новой энергии к индустрии и, быть может, в этом отношении, опередят Америку[18]).

---

14) "Use of Atomic Energy Seen Within 5 Years"; "The New York Times," December 20, 1946.

15) "Atomic Power in 15 Years"; "P. M.," June 8, 1947.

16) "ABC's of Progress in Atomic Energy"; "U. S. News & World Report," May 14, 1948.

17) "Britons Predict That Atomic Plants May Fill Large Proportion of Power Need by 1970." "The New York Times," August 27, 1947.

18) "Atom Power In Europe First?"; "New York World-Telegram," March 30, 1948. См. также: "Atomic Energy Development in France," by L. Kowarski, "Bulletin of Atomic Scientists," May, 1948.

В таких условиях, по самым осторожным вычислениям, новая индустриальная революция должна произойти в течение ближайших двух десятилетий. При полном использовании атомной энергии, производительность индустрии, транспорта и сельского хозяйства должна повыситься до такой степени, что впервые в человеческой истории представится возможность уничтожить повсюду голод и нищету и начать превращение даже пустынь в цветущие сады[19]). В свете этой перспективы, план Барука, ставящий эту новую силу в распоряжение всего человечества, при условии международного контроля, основы которого уже приняты сорока государствами, по существу своему закладывает политический и экономический фундамент для мирового правительства, для будущих Соединенных Штатов Мира.

Многоречивые возражения г-д Громыко, Молотова и Вышинского, затянувшие важную и срочную атомную работу Объединенных Наций больше чем на два года, и полная, мировая изоляция кремлевской диктатуры в этом вопросе, ярко подчеркнули трагедию России нашего времени. Великий народ, всей своей культурой выразивший стремление к всечеловечности, этот народ оказался не во главе, где ему надлежало бы быть, а в стороне от движения всех стран мира к первому практичному объединению народов, на почве превращения страшной разрушительной силы в орудие мирового прогресса.

Г-да Громыко, Молотов и Вышинский и их подголоски в советской печати, выступая в качестве защитников «суверенных государственных прав», возражали против плана Барука, усматривая в нем стремление установить «американское господство» во всем мире. Принятие этого плана сорока государствами в общем собрании Объединенных Наций, — среди них Англией, Бельгией, Францией, Канадой, Австралией, Бразилией, Китаем и Индией, которые, как и все другие страны, глубоко заинтересованы в развитии своих собственных производительных сил и никакому американскому контролю в этом отношении не подчинились бы, — лучший ответ на кремлевские выдумки.

Оппозиция плану Барука со стороны кремлевских правителей объясняется только тем, что установление подлинного международного контроля атомной энергии, по самому своему

---

19) Перспективы эти прекрасно намечены и научно обоснованы в содержательной статье нашего соотечественника, Б. Ю. Прегеля: "Peacetime Uses of Atomic Energy"; "Social Research", March, 1947.

существу, ударяет по всем границам, разделяющим государства мира и, следовательно, и по той китайской стене, которой кремлевские насильники отделили Россию и за которой уже больше 30-ти лет они прячут свои преступления против русского народа и всего человечества. Уничтожение этой стены привело бы к быстрому разложению в России режима коммунистической диктатуры.

6.

Вследствие кремлевской обструкции, трагический выбор между «прочным миром и мировым разрушением», поставленный Баруком перед Объединенными Нациями два с половиной года тому назад, висит над человечеством дамокловым мечем. По мнению американских экспертов, атомные бомбы могут оказаться в распоряжении Кремля к 1952-му году.

Весь мир может спать спокойно, пока эта страшная разрушительная сила остается только в американских руках. Вместе с тем, никто не сомневается, что появление этих бомб в кремлевских руках может вызвать опасную панику, если не в Америке, то в Западной Европе; что кремлевские правители не постесняются, без всякого предупреждения, пустить атомные бомбы в ход, как только они будут в их распоряжении, и что, в случае сопротивления, они не остановятся перед разрушением половины мира с тем, чтобы установить свою диктатуру над тем, что останется от современной цивилизации.

Тревога, созданная упорным кремлевским сопротивлением установлению международного контроля над атомной энергией и продолжением со стороны Кремля агрессивной политики в Западной Европе и Азии, такова, что во внешней политике Соединенных Штатов намечен и с большой энергией и быстротой проводится новый шаг, дополнительно к плану Маршала: шаг этот — создание военного союза с Англией и Западной Европой. Одновременно, отражая эту растущую тревогу, американская печать, в течение последнего года, усиленно дебатирует вопрос о возможности новой войны, подвергая внимательному анализу вероятные фазы такого конфликта.

Сводится этот анализ к тому, что в военном отношении Америка готова к конфликту даже и в настоящий момент, хотя дополнительные год или два передышки сильно усилили бы ее быстро возобновляемую военную мощь, а также помогли бы укрепить политическую, экономическую и военную силу

Западной Европы. Вместе с тем, победа Америки была бы обеспечена даже в том случае, если бы конфликт был спровоцирован Кремлем в самом ближайшем будущем.

По вычислениям Вилльяма Лорэнса, авторитетного писателя по атомным вопросам, в распоряжении Америки в настоящий момент находятся около двухсот атомных бомб. Одной бомбы достаточно для разрушения и деморализации целого города. На этом основании Лорэнс заключает: «На руках у нас достаточно атомных бомб для нанесения России сокрушающего удара. Мы в состоянии парализовать ее способность вести войну»[20]).

В статье, произведшей почти сенсацию, генерал Карл Спаац, который во время недавней войны командовал всеми американскими воздушными силами, заявил, что хотя в Англии и Западной Европе сейчас находятся всего лишь 90 американских бомбовозов, тип их настолько усовершенствован, что, при снабжении их атомными бомбами, ударная их сила была бы равна флоту в 79.200 бомбовозов прежнего типа, — того самого, который в количестве не превышающем 5.000, в сотрудничестве с английским воздушным флотом, превратил в развалины все главные города Германии»[21]).

В атомной войне, однако, громадное, если не решающее, значение сыграл бы первый удар. Многие эксперты полагают, что страна, нанесшая первый удар, могла бы парализовать противника. Как указывает Лорэнс, в случае наличности атомных бомб и достаточной авиации у Кремля, Америка, вследствие скученности ее населения и большой централизации ее промышленной жизни, была бы очень уязвима. «Россия, с 50-ю бомбами в ее распоряжении», писал Лорэнс, «была бы в состоянии нанести нам гораздо больший вред, чем мы ей, даже с сотнями бомб в нашем распоряжении».

Уже в первом своем выступлении перед Объединенными Нациями, два с половиной года тому назад, спокойный и обычно сдержанный в выражениях Барук подчеркнул, что сроки, данные человечеству для разрешения атомного вопроса, коротки. Вышеупомянутые заявления Лорэнса и ген. Спааца, характерные для настроений американской печати в течение последних месяцев, являются показателем очень важного для всего

---

20) "How Soon Will Russia Have the A-Bomb," "The Saturday Evening Post," November 6, 1948.

21) "The Era of Air-Power Diplomacy," "Newsweek," September 20, 1948.

мира факта: терпение широких кругов американского общества, точно так же как и терпение правительства Соединенных Штатов, быстро истощается. Причиной этого явления является не только грубое, вызывающее поведение таких представителей Кремля как, например, Вышинский, но и гораздо более важный факт: необходимость разрешения русского вопроса, — без разрешения которого ни один другой важный мировой вопрос в настоящее время разрешен быть не может, — до того момента, когда и Кремль будет вооружен атомной бомбой.

Это обстоятельство намечает новую возможную фазу в атомной политике Соединенных Штатов. То обстоятельство, что из чисто американской политики она превратилась теперь в объединенную политику всего мира, за исключением только той его части, которая контролируется Кремлем, делает возможным некоторые новые шаги, ныне обсуждаемые в Америке.

Одним из таких шагов было бы принятие плана Барука теми сорока странами, которые голосовали за него в общем собрании Объединенных Наций 4-го ноября 1948-го года, в качестве самостоятельного атомного договора. За объединение в этом отношении всего мира, хотя бы и без Кремля, высказался проф. Эйнштейн, а также и еще один ученый с мировым именем, один из создателей атомной бомбы, проф. Юри. На вопрос, не приведет ли такое объединение к войне против Кремля, проф. Юри ответил: «Я не знаю; возможно, что приведет. Но я знаю, что альтернатива, — бездействие с нашей стороны, — приведет наверное»[22]).

План этот, в более конкретной форме, был недавно развит в книге Е. М. Фридволда. «Пять-шестых всего земного шара и девять-десятых всего населения», пишет Фридволд, «очевидно готовы организовать мировое правительство в форме действенного международного контроля атомной энергии. Почему не начать создание этой мировой организации, без сопротивляющейся одной-шестой? Конечно, международный контроль без участия этой одной-шестой, в смысле повсеместного прекращения производства атомных бомб, невозможен. При таких обстоятельствах, задача новой организации была бы координировать производство этих бомб в максимальном количестве, с полным опубликованием данных об ее растущем атомном арсенале, как предостережение этой одной-шестой. Принимая во внимание, что, в дополнение ко всем прочим факторам, на стороне этих сорганизованных и сплоченных

---

22) "The New York Times," January 27, 1948.

пяти-шестых земного шара будет также и громадное преимущество в научной, промышленной и технической силе, агрессивность со стороны оставшейся одной-шестой вряд ли будет возможна. В такой обстановке, трудно представить себе, что эта одна-шестая долго оставалась бы за пределами новой мировой организации»[23]).

План Фридволда интересен тем, что осуществление его окончательно поставило бы политическую и моральную силу всего мира, за исключением Кремля, за планом Барука и, тем самым, логически закрепило бы результат недавнего голосования в общем собрании Объединенных Наций. К сожалению, в области непосредственной реальности это почти ничего бы не изменило.

Основная и неотложная задача нашего времени заключается в том, чтобы русский вопрос был разрешен до появления атомных бомб в распоряжении Кремля. Поэтому, уже высказывается мысль о том, что, во избежание страшной катастрофы, необходимо форсировать участие России в международном контроле атомной энергии, на равных со всеми основаниях. Сенатор Мак-Мэхон, который будет стоять во главе атомной комиссии Сената в новом Конгрессе, в речи, произнесенной по радио 14-го ноября 1948-го года, заявил, что он считает Кремль агрессором, так как последний, отказываясь принять участие в международном контроле атомной энергии, на основах приемлемых для всего мира, тем самым угрожает существованию современной цивилизации[24]).

В связи с этим, важно отметить, что сенатор Мак-Мэхон проводит резкую грань между кремлевской диктатурой и ее первой и главной жертвой, русским народом[25]). То же самое сделал Барук, в речи, произнесенной в Нью Иорке 18-го октября, 1948-го года, в которой он подчеркнул, что «не русский народ, которому не дано знать о существе нашего атомного плана, а советские правители наложили вето на американскую мечту о мире свободном от угрозы атомного разрушения»[26]).

Мысль, выраженная сенатором Мак-Мэхоном о Кремле, как об опасном агрессоре против всего человечества, приведе-

---

23) "Man's Last Chance: A Survey of Political Creeds and Scientific Realities," by E. M. Friedwald, стр. 119-120.

24) Сообщение United Press из Вашингтона.

25) См. его статью: "Key to the A-Bomb Issue—The Russian People"; "The New York Times," September 26, 1948.

26) "New York Herald Tribune," October 24, 1948.

на к логическому заключению Вилльямом Лорэнс, в вышеупомянутой статье: «Мы должны убедить Кремль», писал Лорэнс, «что неизбежно наступит момент, — до 1952-го года, — когда, движимые чувством самосохранения, мы должны будем уничтожить все их атомные предприятия». Лорэнс полагает, что такой шаг может привести Кремль к сдаче, к согласию подчиниться установлению международного контроля атомной энергии на равных для всех стран условиях. Такая сдача, конечно, была бы концом кремлевской диктатуры. В этом отношении, Лорэнс, несомненно, слишком оптимистичен: на самоубийство московские правители вряд ли пойдут.

Вышеприведенные мнения — только образец тех настроений и мыслей, которые высказываются теперь в некоторых ответственных американских кругах. Настроения эти предвещают грозу. Только падение кремлевской диктатуры может ее предотвратить. Только быстрое разложение этой диктатуры, в случае войны, может свести до минимума тяжелые удары по России.

А. И. Зак

МОСКОВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР

(К 50-летию его основания)

Не только в культурной жизни русского народа, но и в истории театра всего мира, М. Х. Т. занимает исключительное положение. В этой истории он создал новую эпоху и потому имеет право на такое же место, как то, которое принадлежит театру классической Греции, средневековым мистериям и пасторалям, театру Корнеля, Расина и Мольера, или театру Шекспира. М. Х. Т. замечателен и в другом отношении. Созданный энергией и творческим порывом двух талантливейших людей своей эпохи — К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, М. Х. Т. доказал, что даже при полицейском режиме до-революционной России свободное искусство имело возможность развиваться и процветать лучше и вдохновеннее, чем театр «жрецов искусства в мундирах», в условиях тоталитарного государства.

Знаменательно и то, что М. Х. Т. был театром Актера, Режиссера и Учителя, но не театром Актрисы. М. Х. Т. начал развиваться и завоевывать руководящее положение в те дни, когда в Европе существовали театры Сары Бернар, Режан и Элеоноры Дузе. В России в то время Александринский Театр справедливо назывался театром Савиной, дом Щепкина превратился в дом Ермоловой, а большая провинция да и столицы покорены были театром Комиссаржевской и Яворской. И только М. Х. Т. был театром двух режиссеров — Немировича и Станиславского и трех актеров — Качалова, Москвина и Леонидова. Драма Чехова и литературный вкус Немировича, автора «Цены жизни», где выведен Вл. Соловьев — отходили от любовного конфликта, в котором героиня — актриса доминирует на сцене. Этим, возможно, объясняется то, что Бернард Шоу, несмотря на свое иконоборчество, всё же писавший в традициях Сарду и Скриба, не нашел места в репертуаре М. Х. Т. То же случилось и с Уайльдом. Оба они процветали в Императорских театрах и в провинции.

«Мужская диктатура» в М. Х. Т. чувствовалась сразу же, как только молодежь появлялась в его стенах для экзамена. Молодые силы, окружавшие основную труппу, состояли из сотрудников и из учеников школы. Сотрудники составляли то, что тогда называлось «толпой» — были статистами. Учениками же становились те, кого экзаменаторы признавали будущими Сальвини или Дузе. Во главе стоял Вл. И. Немирович, принесший с собой опыт большой театральной школы Московского Филармонического Общества, схожей со школами Императорских театров Москвы и Петербурга. Ученики школы М. Х. Т. учились в ней бесплатно и получали 30 рублей в месяц на жизнь; сотрудники в школе не учились, получали 30 рублей в месяц за работу в «толпе». Впоследствии из сотрудников начали создаваться Студии театра, пополнявшиеся также из школы А. И. Адашева, где между прочим преподавал Качалов. Из актеров М. Х. Т., вышедших из школы М. Х. Т. до моего окончания, отмечу Кореневу, Коонен, Барановскую, А. Горева, Н. Подгорного. Со мною одновременно окончили школу Соловьева, Шевченко, Жданова и Болеславский. На нашем выпуске школа М. Х. Т. прекратилась и возобновлена была только при советском режиме. В мое время в школе преподавали: драму — Москвин, Лужский, Сулержицкий и Германова, дикцию и чтение стихов — Савицкая, пение и голос — Татаринова, танцы — Манухин (балетмейстер Большого Театра) и Книппер-Раденек (ученица Айседоры Дункан).

Работа школы ежемесячно показывалась Немировичу и Станиславскому и два раза в год всей труппе. Экзамен в школу М. Х. Т., а также в сотрудники, состоял в чтении басни, монолога и лирики. Этим чтением отсеивались молодые аспиранты; когда я экзаменовалась, их было около тысячи: за славой торопились они в столицу со всех концов России. После отсеивания два-три десятка допускали к «импровизациям», т. е. к созданию на сцене какого-нибудь задания Станиславского и Немировича. Большинство молодых людей читали громовые номера, обычно читаемые на вечерах русскими трагиками — мыли усиленно «белое покрывало», решали вопрос «Быть или не быть». Девушки читали лэди Макбет или Марию Стюарт. Помню, как сейчас, красавца Болеславского, читавшего «Орленка» Ростана: чувствовалось, что, действительно, «под небом твоим, о, Ваграм неизменный», стоит сын Наполеона. Я читала «Ворону и лисицу» и монолог Саломеи. После читки Немирович отозвал меня в сторону и сказал: «В массовой сцене не поддавайтесь стадному чувству и не падайте на землю». Нам

задают: крах банка. Толпа узнала, что все потеряли свое состояние. Сцена покрылась Ниобеями, потерявшими детей, телами поверженных Гекторов, Андромахами, рыдающими над трупом Гектора, Офелиями в пруду, многочисленными Отелло с перерезанным горлом. Все корчатся в судорогах, рыдают так, что вероятно слышно на Арбате. По совету Немировича я не падаю и не кричу, а стою на сцене, улыбаясь, так как я не особенно хорошо знаю, что такое потеря текущего счета. Яркие лучи Юпитера заливают меня... Станиславский сказал мне: «Знаете, вы не играли, а переиграли всех». Я принята в школу, и вместо изучения медицины — золотая медаль в гимназии обеспечивала доступ на медицинский факультет, — начинается театральная жизнь с ее утехами и страданиями, волнующая жизнь воображаемого мира и созидаемой действительности... Четыре года школы М. Х. Т. незабываемы — мы делаемся частью театра, проводим день и вечера в театре, питаемся в столовой театра вместе с кумирами Москвы. Создаются жизненные нити, связующие нас с новой семьей — с товарищами, с друзьями из М. Х. Т. Возможно, что ни одна школа России не объединяла, не сливала так своих учеников, как школа М. Х. Т...

Писать о Станиславском и Немировиче трудно. Оба оставили свои прекрасные воспоминания и об обоих написаны томы ученых книг. Хочется запечатлеть здесь то, что сохранилось в память о большой русской актрисе М. Н. Германовой, умершей в эмиграции и потому мало отмеченной в советской литературе, а также о трех основных актерах М. Х. Т. — Москвине, Леонидове и Качалове.

М. Н. ГЕРМАНОВА

С особенной нежностью и почтительностью хочется мне написать о Марии Николаевне. Была я, пожалуй, самой ее любимой ученицей, а потом сделалась близким ее другом.

С самого начала, когда молодая обаятельная Германова появилась на сцене М. Х. Т., ее имя было соединено с грядущим успехом. Впервые любители и ценители театрального искусства отметили Германову в бессловесной роли, в фигуре совершенно случайной и эпизодической — какой-то уличной танцовщицы на форуме Вечного Города, в бессмертном достижении тогда, в 1903 году, еще молодого М. Х. Т. — в «Юлии Цезаре» Шекспира: всё в ней было красиво, оригинально и выразительно. Когда смотришь на портреты молодой

Германовой, сейчас же поражаешься ее глазам... И сердце сжимается болью, когда подумаешь, что эти прекрасные глаза перестали видеть мир задолго до того, как дух покинул ее тело: Мария Николаевна умерла в Париже, в изгнании, в муках неизлечимой болезни и перед смертью ослепла.

Германова заняла выдающееся место среди основных актрис театра очень рано. Их было вначале четыре актрисы, которые несли на себе главную тяжесть репертуара — М. П. Лилина, О. Л. Книппер, М. Г. Савицкая и М. Н. Германова. М. Ф. Андреева, бросившая театр, сначала для С. И. Морозова, а затем для Максима Горького, была женщина большой красоты и очарования, но мало оставила следов в жизни и творчестве М. Х. Т.

Первым большим театральным успехом Германовой было исполнение роли Агнес — жены Бранда-Качалова. В ибсеновской Агнес Германова потрясла всех, и сейчас еще вспоминаешь ее горе над одеждой умершего ребенка, как бы принесенного в жертву неукротимому и несламываемому духу максималиста Бранда.

Но лучшей ролью Германовой была, конечно, роль Грушеньки в «Братьях Карамазовых». Только Достоевский позволил Германовой показать на сцене то, что составляло суть ее многострунной души: дьявол боролся в ее Грушеньке с Богом из-за красоты, из-за полного обладания жизнью во всех ее духовных и чувственных проявлениях — а она, умная, властная и утонченная драматическая актриса первого в России театра, обладала этими качествами в избытке. В образе «инфернальницы» Германова развернула всю силу своего драматического таланта, показала, как она умеет — ярко и глубоко — переживать на сцене чувства сложные, переливчатые, устремленные к трагической катастрофе. А без этих чувств нет женщины Достоевского.

Мария Николаевна несомненно принадлежала к типу «психологической» актрисы, актрисы больших, сложных душевных движений и яркой сценической правды. На мировой сцене нашей эпохи к этому типу принадлежали Элеонора Дузе, В. Ф. Комиссаржевская и слишком рано ушедшая в могилу другая замечательная актриса М. Х. Т. — М. Г. Савицкая. Германова переиграла на сцене М. Х. Т. основных героинь русской сцены: пушкинская Марина Мнишек, грибоедовская Софья Павловна, чеховская Ольга из «Трех Сестер», толстовская Лиза в «Живом Трупе», андреевская Екатерина Ивановна. Характерны для ее дарования и те роли, к которым она стре-

милась и готовилась. Возможно по примеру Дузе, а может быть и под влиянием Немировича, хотелось ей сыграть Мирандолину — трактирщицу Гольдони. Ее Мирандолина — я проходила эту роль под ее руководством для выпускного спектакля школы М. Х. Т. — была далеко не элегантная, утонченная Мирандолина Гзовской. Это была итальянская девушка, вышедшая из народа, уже пробуждавшегося накануне французской революции. Позднее такая Мирандолина могла бы быть возведена якобинцами на престол, как богиня разума . . . Другая роль, к которой готовилась Германова, была роль Медеи — полуженщины, полубогини, полуколдуньи, страстной, властной и мстительной, с элементами надрыва и жестокости Сусловой, бурной подруги Достоевского и Розанова.

Мария Николаевна была единственной актрисой, которая принимала участие в школе М. Х. Т. С нею мы проходили и разрабатывали роли и, возможно, во многом в их разработке и интерпретации сказывалось влияние Вл. И. Немировича-Данченко, большого ее друга и поклонника. Был у нее большой, может быть не «женский» ум. Но интеллектуальный, скорее чем эмоциональный подход к проблемам личной жизни каким-то образом сочетался в ней с религиозными исканиями. Еще в Москве, а затем особенно за-границей, была она под обаянием индусской мудрости, индусского мистицизма. Этим была она во многом обязана индусскому философу Суравардн, под влиянием которого была одно время и ищущая душа К. С. Станиславского.

Позднее в Америке Германова попала в круг теософических идей, обуревавших бывшего художника М. Х. Т., поставившего в нем Пер Гинта, Н. Рериха. Здесь же в Нью Иорке Германова, после переезда Ричарда Болеславского в Холливуд стояла во главе созданной им школы лабораторного театра. Увы, в чуждой ей американской обстановке ее педагогическая деятельность скоро прекратилась.

Покинула Германова Россию в самом начале революции и ее изгнанничество лишило М. Х. Т. одной из крупнейших и даровитейших русских актрис начала 20-го столетия.

И. М. МОСКВИН

Иван Михайлович Москвин начал и кончил свою театральную жизнь на подмостках Московского Художественного Театра.

Москвин был в полном смысле этого слова самородком

Дед его, московский крестьянин, занимался извозом; отец его, сколько помню, был мелким ремесленником. Семья была бедная и видимо все формальное образование Москвин получил в городском училище. Это так характерно для творческого гения русского народа, да и для самодержавного режима, который не так уж угнетал и уничтожал «безымянную Русь», как принято описывать в литературе современной «новой демократии»: три величайших творца дореволюционной России — Шаляпин, Горький и Москвин поднялись с самых низов нашего сословного общества и заняли почти недосягаемые вершины в искусстве. Да и «духовного звания» Качалов, и еврей Леонидов не могли гордиться дворянским родословным деревом . . .

Театральный, сценический гений жил в невзрачном, нетеатральном теле Москвина. Когда он пришел на экзамен в Филармонию (вероятно, в 1892-93 году), Владимир Иванович Немирович-Данченко, прослушав его чтение басен Крылова, сразу же понял, что перед ним стоит будущий корифей русской сцены. С этого момента Москвин фактически не расставался с Немировичем. Одновременно с Москвиным в Филармонии учились: Ольга Леонардовна Книппер (будущая жена А. П. Чехова), Нина Николаевна Литовцева (будущая жена В. И. Качалова) и Елена Павловна Муратова. Все они вошли в основную группу М. Х. Т. В живых сейчас только и остались Книппер и Литовцева.

Первый и быть может самый большой успех Москвин имел в первом спектакле М. Х. Т. в «Царе Феодоре». Когда московская публика (а это была самая утонченная театральная публика не только в России, но и во всем мире) увидела в торжественной, в «величавой одежде» царя небольшого роста, с курносым лицом, — она поняла, что это и есть тот «недоумочный» царь, последыш старой дорамановской династии, который, как и последний царь из дома Романовых, своим обликом олицетворяет государство перед Смутным временем. Москвичи 1898 года понимали, что современная Россия, находясь в таких же слабых, как и у царя Феодора, руках, стоит накануне «великих потрясений». Таким образом, успех «Царя Феодора» был как бы троякого рода: театрально-постановочный, личный Москвина и царицы Ирины, с бесподобной Маргаритой Георгиевной Савицкой в этой роли, и, наконец, политический.

В репертуаре Ивана Михайловича не было слабых ролей. За что бы он ни брался, — Епиходов в «Вишневом Саде», Лука в «На Дне», Опискин в «Селе Степанчикове», Протасов

в «Живом Трупе», Репетилов в «Горе от ума», Городничий в «Ревизоре», Снегирев в «Братьях Карамазовых», даже Федотик в «Трех Сестрах», — всё это было пропитано таким пониманием человеческой души, таким вживанием в создаваемый образ, что мы, его ученики, и аудитория считали, что выше этого в области театрального творчества ничего нет.

Когда Москвину доводилось играть то, что эмоционально, то, что вызывает в аудитории волны теплых человеческих чувств, он поднимался на высочайшие вершины в своем изображении униженных и оскорбленных. Мне пришлось играть Ильюшу — больного сына штабс-капитана Снегирева — в первом сезоне постановки «Карамазовых». Я до сих пор помню переживание напряженного горя, обиды за растоптанное чувство человеческого достоинства и то нисхождение в омут падшего духа, которым захватывал и нас, и аудиторию Москвин, игравший «Мочалку» — Снегирева. Спектакль «Карамазовых» был замечателен тем, что в нем одновременно участвовали три крупнейших актера русской сцены: Качалов, Москвин и Леонидов. В нашей среде и, сколько помню, среди всех друзей М. Х. Т. сцена, когда «Мочалка» — Снегирев отказывается от денег, предложенных Алешей, приравнивалась по своей драматической насыщенности к сценам «Кошмар» и «В Мокром» — первая с Качаловым, вторая с Леонидовым, т. е. к высшим достижениям мировой сцены.

А Федя Протасов в «Живом Трупе»! Прославленный в Европе актер из труппы Рейнгардта А. Моисси был в этой роли много ниже Москвина, так ходульно изображал он униженного человека, превратившегося в живой труп.

Как учитель, Москвин был исключителен: его чутье как бы переносило его в другую эпоху, в совершенно чуждые нам переживания других народов. Всегда удивлял он нас, своих учеников, каким образом он, не прошедший формальной школы, не знавший иностранных языков, мог так тонко, так вдохновенно толковать Метерлинка с его христианским мистицизмом, Мопассана, пропитанного буржуазными настроениями Франции конца 19-го столетия, Гольдони с его итальянской толпой, почти клоунадой «комедие дель арте». И какое богатство красок было на москвинской актерской палитре, и как умел он передавать своим ученикам мастерство игры этих красок, оттеняя детали каждой роли и каждого сценического положения! Моя учеба под руководством Москвина перешла потом в личную дружбу — Иван Михайлович любил своих учеников, радовался их успехам, болел их горестями.

В частной жизни Москвин был очарователен: с русской лукавой мягкостью, с круглотой Каратаева, Москвин в кругах театральной Москвы всегда был центром непринужденной шутки, веселого отдыха. Все тянулись к Москвину с его народным обликом, прибаутками, пением, юмором. Прекрасные строки Пушкина как бы написаны для характеристики Москвина:

На нити праздного веселья
Низал он хитрою рукой
Прозрачной лести ожерелье
И четки мудрости златой.

Москвин любил то, что в Америке называется «practical joke», я бы сказала «театр для себя», по терминологии Н. Н. Евреинова. Это, конечно, было не для публики, но как это характеризует театральную натуру Москвина. Разве можно забыть церковную службу в изображении Москвина и Шаляпина, с нами как хором — Москвин до страсти любил русское пение. Сцены «театра для себя», которые придумывал Москвин, были бесчисленны. Я помню, например, «Производство хирургической операции» известным хирургом Москвиным над Грибуниным. Москвин играл хирурга так ретиво, что я и Нина Качалова, испугавшись за целость живота Грибунина — так и казалось, что он умрет во время этой чрезвычайно удачной операции, — со слезами на глазах умолили Москвина бросить это представление.

В личной жизни Москвин был скорее счастливым человеком. Женат он был в первый раз на Любовь Васильевне, сестре первой балерины Большого Театра Гельцер. Это связывало Москвина и М. Х. Т. с Большим Театром, с Шаляпиным и Собиновым. С Малым Театром интимная связь М. Х. Т. поддерживалась тем, что Южин (князь Сумбатов) и Немирович-Данченко были женаты на сестрах баронессах Корф, дочерях попечителя харьковского Учебного Округа. Скончался Москвин в 1946 году. После смерти Немировича был он главным руководителем М. Х. Т.

Л. М. ЛЕОНИДОВ

Леонидов появился на сцене М. Х. Т. позднее Качалова и Москвина. До этого играл он в Киеве у Соловцова (1896—1901 гг.), а в 1901—1903 у Корша в Москве. Он любил рас-

сказывать, что он принес в М. Х. Т. — и с трудом отказался от них — могучие, но начинавшие уже отмирать традиции и шаблоны русской трагической игры Иванова-Козельского и Андреева-Бурлака. Восхищение их игрой зародило в нем стремление сделаться актером и через их игру творчество Леонидова глубоко уходит в традиции Мочалова и Щепкина. Рожденный в сравнительно состоятельной одесской семье (его настоящая фамилия была Вольфсон), он с детства рос в живой, не традиционной, до известной степени космополитической атмосфере богатого, неспокойного города. Семья Вольфсон, по признанию самого Леонида Мироновича, была, повидимому, вырождающейся — два старших брата были глухонемые и сам Леонидов в середине своей карьеры страдал нервной болезнью. Спокойно уравновешенным, впрочем, был младший брат — по сцене Волков, мой основной партнер в «Летучей Мыши» Н. Ф. Балиева. В первых же рецензиях об игре Леонидова театральные критики — особенно М. И. Хейфец, муж Изы Кремер — отметили в его даровании легкую неврастеничность, какое-то подозрительное тяготение к року, к приводящей к катастрофе судьбе. Одной из самых удачных ролей молодого Леонидова была роль Треплева в «Чайке» Чехова. Тут появилось, по рассказам Л. М., уменье взволновать зрителя, заставить его слиться с внутренним страданием Треплева, приведшим его к самоубийству. Играя Раскольникова в Киеве, Леонидов главным образом выдвигал самоутверждающую, имеющую право на недозволенное, бунтующую личность героя Достоевского. И этот наполеонизм Раскольникова заранее обрекает его на катастрофу. Тут Леонидов отошел от трактовки роли Раскольникова Орленевым, считавшейся тогда классической.

Первой ролью, сыгранной Леонидовым в М. Х. Т., был Васька Пепел, разухабистый вор и бунтарь-преступник Горького. И здесь человек, обреченный судьбой на погибель от роковой любви. Но вершины своего творчества Леонидов достиг, конечно, в исполнении роли Мити Карамазова. Тут и только тут мог Леонидов выявить всё, чем одарила его природа, как актера. Начиная с дикой сцены, когда Митя врывается в столовую Феодора Павловича в поисках Грушеньки, наростает в образе, созданном Леонидовым, трагедия. Сцена в Мокром — почти единственная сцена в театральной истории, шедшая час двадцать минут — дала Леонидову возможность показать бесконечное разнообразие красок на его творческой палитре: вспышка бурных чувств к «инфернальнице»; стрем-

ление к самоуничтожению, когда он думает, что Грушенька ушла от него навсегда; жажда затопить надрыв в разгуле бесшабашного кутежа; нисшедшая тишина покорной и покоряющей любви; ужас предстоящей расплаты за предполагаемое им убийство старика слуги — теперь, когда пришло к нему настоящее счастье; восторженность религиозного порыва от радости, что старик-слуга не убит, а только ранен; раздавленность тяжестью улик, что он отцеубийца, и сознание, что пролитая кем-то неизвестным кровь отца угрожает ему карой за желание убить — всё это бурлило, клокотало и заливало сцену М. Х. Т. и поглощало до самозабвения затаившего дыхание зрителя. Никогда, вероятно, «карамазовщина» не заполняла так русскую сцену, как в трагедии Мити — Леонидова.

За Карамазовым последовали сотворенные Леонидовым Пер Гинт Ибсена, этот скандинавский Фауст по определению Брандеса, «Человек», мистически раздавленный тем, кто есть «Некто в Сером» (Качалов) и, наконец, театрально страшная и труднейшая (ибо почти медицинская) история болезни доктора Керженцева в «Мысли» Андреева. За исполнение роли Керженцева Леонидов заплатил нервным расстройством — боязнь толпы, боязнь зияющего пространства открытой сцены, когда на тебя смотрят из темного пространства тысячи глаз зрителей... Леонидов не появлялся на сцене в течение почти четырех лет с 1915 до 1919 года.

Был Леонидов прекрасным чтецом, темпераментным, тонким, умевшим в размере стиха найти музыкальные замыслы поэта. Когда Леонидов в пушкинском спектакле читал председателя в «Пире во время чумы», было ясно, что это он сам, Леонидов, «девы-розы пьет дыханье, быть может полное чумы».

Мне не пришлось видеть его в «Каине» Байрона, снятом с репертуара М. Х. Т. советской властью за несозвучность эпохе. Но общие друзья, слыхавшие его и на репетициях и на спектаклях, а также видевшие его в 1930-м году в «Отелло», говорили мне, что Леонидов опять поднялся на вершины своего трагического дарования.

Кроме этого при советском режиме, т. е. почти в течение 30-ти лет, Леонидов не создал ничего большого — профессор Бородин в «Страхе» Афиногенова, Булычев — в слабой пьесе Горького, Пугачев — вот всё, что выпало на долю творца Мити и Пер Гинта.

В личной жизни Леонидова трудно было признать за легкого человека — он был сравнительно далек от труппы

М. Х. Т., но зато дружил с рано и трагически ушедшим из жизни Н. Тарасовым, финансовым и личным другом создания Станиславского и Немировича, с Н. Ф. Балиевым, со скульптором Андреевым, давшим Москве лучшую статую Гоголя. Я с радостью вспоминаю, как в 1911-м году встретила в Париже Германову и Леонидова. Ходили мы вместе по музеям Парижа, слушали прекрасную музыку и восторгались тонкой, филигранной игрой наследников Мольера . . . С нами был Леонидов прост и очарователен. Боюсь утверждать, но может быть жила в Леонидове неудовлетворенность тем, что театр не использовал больше его исключительное дарование. Репертуарному театру это трудно сделать: М. Х. Т. ставил в год четыре новых пьесы и в них не часто были роли, в которых можно было показать «единственного русского трагического актера», как определял сам Станиславский сценическую сущность Леонида Мироновича.

В. И. КАЧАЛОВ

Судьба дала мне счастье быть своим человеком в жизни Нины Николаевны и Василия Ивановича Качаловых. Я поступила в М. Х. Т., когда Качалов был уже на вершине славы, в ореоле всероссийского поклонения, влюбленности и обожания. Вот краткие данные о его карьере, взятые из рассказов самих Качаловых. Василий Иванович был младшим сыном православного протоиерея Виленского Собора отца Иоанна Шверыбовича. Мать его, матушка Мелитина Матвеевна, была дочерью униатского священника. Родился Василий Иванович 30 января 1875 года, в 1893 году он окончил Виленскую гимназию и поступил на юридический факультет С.-Петербургского Университета. В 1895 году, играя в любительском студенческом кружке, работавшем под руководством В. Давыдова, Качалов обратил на себя внимание публики и критиков в роли Несчастливцева в «Лесе» Островского. В 1896 году, продолжая занятия в университете, Качалов был принят в труппу театра Суворина. По настоянию Суворина он переменил фамилию Шверыбовича на Качалова.

— Вы не еврей, — сказал Суворин. — Возьмите русское простое имя.

Качалов увидел в «Новом Времени» объявление о смерти моряка Василия Ивановича Качалова.

— Можно назваться Качаловым?

— Очень хорошо, — ответил Суворин.

После одного сезона у Суворина Качалов играл три зимних сезона в Казани и Саратове у М. И. Бородая. В 1900 году он был приглашен Немировичем-Данченко в М. Х. Т.

Дальнейшая биография Качалова есть театральная история М. Х. Т. В течение первых лет существования М. Х. Т. Качалов сыграл 55 ролей — при советском режиме он выступал только в 6-7 ролях. Таким образом Качалов, как и Леонидов и Москвин, своим творчеством принадлежат к М. Х. Т. до-революционного периода.

В 1919 году во время гастролей в Харькове часть труппы М. Х. Т. во главе с Качаловым и Книппер оказалась в зоне деникинских армий. Здесь труппа М. Х. Т. играла в Одессе и Новороссийске, а затем в 1920-21 на Балканах и в Праге, где к ним присоединилась Германова, находившаяся за-границей. В 1922 году московская и пражская половины труппы соединились за-границей и во главе со Станиславским играли в Нью Иорке и других городах Соединенных Штатов.

Личная жизнь Качалова сложилась просто. В Казани он встретил Нину Николаевну Литовцеву, двоюродную сестру Юрьева из Александринского театра. Женившись на ней, он перешел вместе с нею в М. Х. Т. Литовцева была ученица Немировича по Филармонии. Тяжелая болезнь Н. Н. прервала ее прекрасную актерскую карьеру, но она и сейчас состоит в режиссуре М. Х. Т. Скончался Василий Иванович в сентябре 1948 года на 73-м году жизни.

Качалов обладал одним из самых замечательных «инструментов» на русской сцене: самый красивый, задушевный, чарующий голос, когда-либо звучавший в театре, прекрасно развитое гибкое тело, благородные линии рук, гармонические жесты, хороший для сцены рост, кипа белорусых волос над умным лбом, большое выразительное лицо — таков был внешний облик Качалова. И всё это сопровождалось теми внутренними свойствами, которые по магии сцены непонятно как передаются зрителю. Сценическое очарование, сценический такт — вот что захватывало властно с первого момента появления Качалова на сцене. Натура мягкая и ласковая, дух терпимости, всепрощаемости и снисходительности и к своим и к чужим слабостям, тяготение к созерцательности — всё это передавалось зрителю, всё это делало зрителя другом того, кого изображал Качалов, и другом самого Василия Ивановича. Возможно, что эти черты, этот особенный душевный мир и составляет в основе то, что мы называем актерским гением. Нет сомнения, что Элеонора Дузе и В. Ф. Комиссаржевская

излучали эти же качаловские лучи. Мы знаем два типа актерского дарования — актеров сердца и актеров разума. В русском театре — Мочалов и Каратыгин, в европейском — Дузе и Сара Бернар являются их примерами. Белинский склонялся к актеру сердца пламенному Мочалову; Бернард Шоу, признавая технику Сары Бернар, преклонялся перед страдающей трагической лирикой Дузе. Качалов как бы занимает среднее место между двумя крайностями актерского дарования — он следовал заветам великого Тальма — «отдавая сердце, сохранял голову».

Сердце... В подаренной мне книге «Сокровище смиренных» Метерлинка Василий Иванович между прочим написал: «Я смиренный» — и эта смиренность Качалова и делала в жизни то, что ни у кого из актеров не было столько поклонников, превратившихся в великих друзей. Рожденный и воспитанный в атмосфере православного храма, в том храме, о котором Некрасов писал —

Храм воздыханья, храм печали,
Убогий храм страны твоей...
Тяжеле стонов не слыхали
Ни римский Петр, ни Колизей —

— Качалов несомненно пронес всю свою жизнь в своем сердце печаль русского народа, всепрощение, жалостливость к несчастным, изображенную Пушкиным, Толстым, Тургеневым, Достоевским и Чеховым. И эта душевная религиозность Качалова (хотя внук и сын священника, Василий Иванович не был церковным человеком) сказалась в первом же его успехе на сцен М. Х. Т. В царе Берендее прозвучали ноты радостного, доброго, ласкового отношения к ниже его стоящим, к простым людям. И звучали эти ноты всю его жизнь.

Почти в конце своей артистической карьеры Качалов создал и показал другого царя Феодора, чем Феодор Москвина. Для Качалова это если и дурак, то дурак святой — Парсифаль Вагнера. Феодор внутренне смиренен и чутьем, как князь Мышкин Достоевского, понимает и схватывает то, что закрыто от других. Качалов думал о Франциске Ассизском и о Сергее Радонежском, когда создавал своего Феодора.

Духовно Качалов развивался и рос, когда толстовское непротивленчество было на ущербе — звучали тогда зарницы Верхарна, бунтарство Ибсена, велись словесные бои между народниками и марксистами. Будучи аполитичен, Качалов склонился к народничеству. Подсознательно он был непротив-

ленцем. Вот почему, когда в М. Х. Т. появился ученик Льва Николаевича — Сулержицкий — сделался он большим другом качаловской семьи и их круга.

Кроме Сулержицкого были Качаловы очень близки и дружны с А. А. Саниным и его женой Лидией Стахиевной. Санин, почти единственный, оставшийся в живых член основной труппы М. Х. Т., начал играть со Станиславским еще до основания театра. Затем он ушел из театра и сделался одним из самых крупных режиссеров оперы. Ставил он спектакли для Дягилева и в парижской Опере и в Метрополитен в Нью Иорке и в Рио де Жанейро. Сейчас он еще работает в Италии. Покойная жена его, Лидия Стахиевна, была прототипом Нины в «Чайке» Чехова. Свою неудачную влюбленность в Лидию Мезинову («Лика» в переписке Чехова) Чехов обессмертил в «Чайке». Таким образом, Треплев имеет автобиографические черты самого Антона Павловича. Лидия Стахиевна была человеком необычайной доброты и душевности и очень подходила к душевным настроениям Качаловых. Был Качалов дружен с Н. Ф. Балиевым и помог ему получить разрешение на открытие «Летучей Мыши» от московского градоначальника. Был большим другом Качаловых известный критик А. А. Койранский.

Доброе и любовное отношение к окружающим людям создавало то, что Качалов, не будучи за панибрата с младшей братией труппы, был любим и почитаем всеми. Любила его и прислуга на их дореволюционной квартире, любили техники и рабочие театра, любили его мы, молодежь . . .

Перечислить всё то, что создал Качалов на сцене — это значит перечислить репертуар М. Х. Т. за первые 18 лет. Но многие образы вероятно войдут в традиции русской сцены и будут долго жить в истории. Они разнообразны — и охватывают драматическую литературу от Шекспира с его Цезарем до Ивана Карамазова Достоевского и Бранда Ибсена. От романтически, юношески влюбленного Чацкого до властно дерзающего Дон Жуана Пушкина, от гамсуновского Пер Баста до нигилиста «Ивана Царевича» Ставрогина — какой огромный размах! И как дрожали мы, когда на нас лилась «электрическая теплота души» Качалова (выражение Белинского о Щепкине) . . . Я была поставлена во главе толпы девушек рыбачьего поселка, где жил Бранд. Когда Качалов, схватив меня за руку, звал —

Юные добрые души, за мной!
Вас поведу я к победе —

— я помню, за ним, этим вдохновенным вождем, мы готовы были пойти куда бы он нас ни повел . . . Подобно сумасшедшей Герд в «Бранде» видела я Качалова распятым на кресте. И не только мы, молодежь — но верила ему вся Россия, захваченная его магической силой, приказом его голоса.

Не только велика была слава Качалова, как актера — был он несомненно и самым крупным чтецом на эстраде. Читать любил он особенно дома, в интимном кругу после ужина. Чего только не переслушали мы у Качалова на даче, на Влахернской платформе вблизи Москвы. Для него не было позой, подлаживанием к требованию момента, когда он читал Есенина или позднего Блока. Качалов, в то время по крайней мере, так же как сам Блок, был убежден, что

И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз,
Впереди Исус Христос.

Был он большим русским патриотом и была огромная сила в его голосе, во всем его теле, когда в аудитории катились его чеканенные слова —

Мильоны вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами.

И так казалось, что Качалов, действительно, «ломал коням тяжелые крестцы и усмирял рабынь строптивых».

Всё написанное мною выше, конечно, есть только набросок того, что следовало бы написать о М. Х. Т. Нет места, чтобы написать, например, о М. П. Лилиной и о О. Л. Книппер, входивших в основную труппу и переигравших все главные роли в почти ста пьесах, поставленных в Театре. Одно общее следует сказать обо всей труппе: все они как бы слились с жизнью Москвы и были в ней гораздо глубже и неотделимее, чем актеры Большого и Малого театра, чем актеры Корша и Незлобина. И если то, что здесь набросано, послужит материалом будущему историку Москвы Художественного Театра, он должен будет отметить, что именно в жизни, настроениях, обиходе и творчестве театра Станиславского и Немировича, как в микрокосме, отразилась московская жизнь за 20-ти летний период, предшествовавший падению империи.

Тамара Дейкарханова

АМЕРИКАНСКИЕ НЕО-ПРИМИТИВЫ

Лет двенадцать тому назад Луис Калдор, нью-иоркский коллекционер и любитель изящных искусств, случайно зашел в небольшую аптеку провинциального городка Нью-Иоркского штата Хусик Фоллс. Его внимание привлекли несколько небольших пейзажей, написанных обыкновенными малярными красками неизвестным художником, повидимому, самоучкой. Обычные недостатки подобного рода картин были все на лицо; но в то же время столько было в них радостной непосредственности и здорового юмора, что Калдор решил приобрести их. Картины эти оказались первыми трудами скромной 76-летней старушки-крестьянки. А через год в Нью-Иоркской галлерее Сэнт-Этьенн открылась выставка ее картин, положившая начало известности нового художника. Это была «бабушка Мозес», которую теперь знает вся художественная Америка.

Бабушка Мозес родилась в штате Нью-Иорк в 1860 году. Отец ее торговал льном. В школе она училась всего несколько лет. С ранних лет и до своего замужества она работала прислугой по чужим домам. Муж ее был сельским рабочим. С 1908 года она живет безвыездно на ферме, на севере Нью-Иоркского штата, в местечке Игл-Бридж. В семидесятилетнем возрасте, когда ревматизм стал основательно подкашивать ее силы, она должна была оставить работы по хозяйству. Но «незанятые руки только проказят», — говорила она, и по совету сестры взялась за кисть, так как раньше она любила вышивать надуманные пейзажи на подушках, которые всем очень нравились.

За первой выставкой в Нью-Иорке вскоре последовала вторая в магазине Гимбеля. По этому случаю бабушка Мозес приехала в Нью-Иорк, чуть ли не в первый раз, и с тех пор заняла прочное место в художественном мире. Спрос на ее картины был так велик, что за десять лет она написала около 1300 полотен. Некоторые из них продавались по две и три тысячи долларов. В сентябре текущего года ей исполнилось 88 лет, и американская пресса торжественно приветствовала

«бабушку Анну Робертсон Мозес, которая стала знаменитостью 76-и лет от роду».

Что же так привлекает в творчестве этой полуграмотной крестьянки-самоучки? Пожалуй, больше всего — удивительная простота и бесхитростность ее произведений. Мозес не мудрствует лукаво. Подобно всем «самодеятельным» художникам, как их называют теперь в России, она пишет только то, что знает. «Я закрываю глаза и, когда вижу картину, тогда пишу ее», — говорит она. То, что она пишет, — понятно всем, знакомо каждому. Первые картины Мозес можно было бы назвать почти ребяческими, и лишь в последнее время она стала больше подчиняться законам перспективы и внимательнее относиться к взаимоотношениям тонов и цветов. Несомненно, однако, что примитивность больше всего привлекала к ней интерес и критики и публики.

Подобно всем художникам нео-примитивам, она прежде всего реалист; ее увлекают мелкие детали, придающие правдивость сюжету, — петух в амбаре, флюгер на крыше, цветы в окне... «Прежде, чем я успеваю оглянуться, мои пейзажи полны людей и предметов», — говорит Анна Мозес. Это незамысловатое объяснение творческого процесса приложимо к творчеству всех «самодеятельных» художников. Недостаток технического умения, желание быть понятым и неспособность точно выразить желаемое, стремление к реализму, находящее себе выражение в выбрасывании огромного количества предметов и деталей, характерны для большинства современных примитивов.

Бабушка Мозес пишет исключительно пейзажи (известны только один-два ее интерьера и одна символическая картина — «Ангел Хранитель»). Времена года — одна из ее излюбленных тем. Ее пейзаж — это холмы родных мест на границе между штатами Вермонт и Нью-Иорк. Она часто рисует снег, для бо́льшей реальности покрывая краску блестящим лаком; любит сани, лошадей, красные амбары американской фермы. В ней Америка узнает самое себя. Как сказал один американский художественный критик: «Уставшая от различных импортных художественных 'измов', Америка ищет самое себя», — отсюда успех Анны Мозес и других художников этого толка, которых принято теперь называть нео-примитивами. Творчество их, если уж приписать его к какому-нибудь из «измов», ближе всего к экспрессионизму: подобно представителям последнего, они передают то, что чувствуют, и как они это чувствуют. В то же время они близки к столь дорогому

сердцу американцев «регионализму», ибо регионалисты за одним-двумя исключениями, точно также реально описывают лишь ту жизнь, быт и пейзажи, с которыми они сроднились и которые им хорошо знакомы.

Интерес к нео-примитивам зародился здесь лет пятнадцать тому назад, когда в Америке впервые «открыли» француза «дуанье» Руссо. Увлекшись Руссо и его французскими последователями, стали искать вокруг себя своих собственных примитивных художников. Сперва были открыты американские анонимные примитивы начала 19 века, которых продолжают «открывать» и по сию пору (так, например, в сентябре 1948 года в галлерее Даунтаун в Нью-Иорке им была посвящена обширная и довольно интересная выставка). Потом заинтересовались и сегодняшним днем. И тогда вспомнили о Кейне, Пикетте, открыли бабушку Мозес, Гиршфельда, Дориани. В 1938 году в Нью-Иоркском Музее Современного Искусства на выставке «Мастеров народной живописи», организованной под руководством знатока современных примитивов, Сиднея Джаниса, были представлены художники от Руссо до Кейна. Успех этой выставки был настолько значителен, что год спустя тот же музей организовал другую, под названием: «Неизвестные художники Америки». Эта выставка утвердила славу нео-примитивов Гиршфельда, Дориани и многих других. В 1942 году галлерея Гарриман в Нью-Иорке устроила обширную выставку: «Они сами себя научили», и на ней лучшими примитивами были признаны Пикетт, Кейн, Салливан, Пиппин.

Стоит ближе присмотреться к каждому из них в отдельности. Но прежде всего — несколько слов о том, что такое современный примитивный или «самодеятельный» художник. Это прежде всего самоучка, или, как их метко называли во Франции, — «художник, рисующий по воскресениям». За редкими исключениями, они выходцы из простых социальных кругов, куда искусство и живопись заглядывают редко, но у всех у них врожденный талант. Приглушенный заботами и тяжестями повседневного быта, талант их в конце концов прорывается, — обычно в зрелом возрасте. К этому времени привычка к определенным ремесленным приемам превращается во вторую натуру. Бывшие маляры рисуют большими мазками, мебельщики тщательно отделывают каждую деталь. Все они воспринимают жизнь непосредственно, часто с большою наивностью. В них много своеобразного «ребячества». Они все, поневоле, неграмотны в области техники живописи. Мастерства у них очень мало, чаще всего никакого. Законы перспективы им почти всегда незнакомы и их не волнуют. Они

часто теряют громадные усилия на то, что художнику, побывавшему хотя бы на нескольких уроках рисования, дается легко. И лишь инстинктивное чувство красок и композиции заменяет отсутствие школы. Про самих себя нео-примитивы говорят, что они «честно передают реальность»; некоторые утверждают, что даже «фотографически». На самом же деле их темперамент и недостаток учения часто совершенно видоизменяют реальность.

Их не следует смешивать с теми художниками, которых историки искусства называют примитивами, то есть с итальянскими мастерами XIII века, — прекрасными художниками, но ограничившими свое творчество исключительно религиозными темами и писавшими, главным образом, для местных церквей. Если их техника носила примитивный характер, то это потому, что живопись в ту эпоху еще не постигла всех теперь уже известных приемов, и потому что, ограниченная религиозными темами, она следовала определенному трафарету. Современные же примитивы совершенно свободны. Их творчество ограничено только их незнанием техники живописи.

Своего рода «американским дуанье Руссо» всеми признается в Америке нео-примитив Джон Кейн, маляр по профессии. Он родился в 1860 году в Шотландии; когда-то в ранней молодости взял несколько уроков рисования. Отсутствие средств помешало ему учиться дальше. Он стал углекопом, а потом, по переезде в Америку, — маляром. Эта профессия и вернула его к живописи. Тайком от семьи он не переставал рисовать, и, наконец, в 1924 году решился показать некоторые из своих произведений директору Карнеги Института; тот одобрил его работы. В 1931 году в Нью-Иорке состоялась первая выставка картин Кейна, обратившая на него всеобщее внимание. Кейн умер в 1934 году, но слава его продолжала рости. В американских музеях имеется около сотни его картин. Нью-Иоркский Музей Современного Искусства гордится автопортретом Кейна. На этом большом полотне, написанном в коричневых тонах, Кейн, нарисовав себя фронтально, по-пояс, тщательно и четко вывел все мускулы тела и все морщины лица. Несмотря на некоторую фотографичность, это прекрасный психологический портрет, приковывающий к себе внимание своей большой напряженностью и выразительностью.

Но Кейн, главным образом, писал питтсбургские пейзажи Пенсильвании, где он долго жил; это картины панорамного характера, хорошо построенные, очень тщательно выполнен-

ные и глубоко прочувствованные. Кейн один из немногих нео-примитивов, обращающих внимание на тени, которые он распределяет вполне правильно.

Лавочник Иосиф Пикетт из Пенсильвании, тоже получивший всеобщее признание, был «открыт» уже после смерти (он умер в 1918 году). Его лучшая вещь, которую знатоки считают исключительным живописным достижением, принадлежит теперь Нью-Иоркскому Музею Современного Искусства. Этот почти игрушечный пейзаж «Манчестерской долины» в Пенсильвании, в котором доминируют красные тона, построен по такому сложному плану, что просто диву даешься, как этот самоучка, рисовавший кисточками, сделанными из волос его собственных усов, мог справиться с такой задачей.

Маляр Патрик Салливан, из Пенсильвании, родившийся в 1894 году, пишет столь замысловатые символические полотна, что им мог бы позавидовать любой сюрреалист. Единственная в своем роде картина Салливана — «Четвертое пространство» — построена по полукруглой линии и представляет человека, в немом удивлении стоящего на поверхности земного шара перед звездным пространством. И хотя рисунок у Салливана несколько слаб и форма не всегда уверенная, но символизм его столь увлекателен, а подбор красок столь неожиданный, что технические дефекты проходят незамеченными.

Морис Гиршфельд родился в 1872 году в маленьком русско-польском местечке. Восемнадцати лет от роду он уехал в Америку «искать счастья». Сначала был дамским портным, потом открыл фабрику туфель. 65-ти лет, после серьезной болезни, он ушел от дел и начал рисовать. Семья была против его увлечения, и он писал тайком . . . поверх каких-то случайно оказавшихся у него полотен. Свои две первые картины, — «Девушка на пляже» и «Ангорский кот», он писал два года: начинал, бросал, снова начинал. Прежняя профессия наложила отпечаток на все творчество Гиршфельда: он обращается с человеческими фигурами словно с выкройками. Очень часто, прежде чем рисовать, он вырезывает фигуры из бумаги, накладывает на полотно, обводит карандашом и только затем разрисовывает. Он кладет свои краски очень густо, жирно, почти рельефно, мазками — расположенными круглыми линиями, что придает его картинам сильно выраженный динамический характер.

Израиль Литвак родился в Одессе в 1868 году. В России он подростком научился столярному делу. В Америку приехал в 1903 году с женой и двумя детьми и здесь продолжал

заниматься столярным мастерством, а по воскресеньям ходил по музеям. «Я долго работал», — рассказывает Литвак — «а меня выкинули со службы, и я вдруг сделался художником». В 1936 году у него уже было 36 рисунков. Он показал их Бруклинскому музею. Единоличная выставка его карандашных набросков была устроена этим музеем в 1936 году.

Литвак пишет, главным образом, городские пейзажи. Его собственно привлекают здания, которые он передает очень по-детски, словно складывая из отдельных досок, как плотник, — медленно и старательно. Он сначала делает карандашный набросок, потом разрисовывает его масляными красками и покрывает несколькими слоями лака, словно мебель. К карандашным наброскам его часто заставляет прибегать квартирная хозяйка: она не позволяет ему писать зимой красками, и только летом, когда можно открывать окна, он расписывает масляными красками свои эскизы, сделанные зимой. Одна из лучших картин Литвака — «Пятое Авеню», написанная в ярко-желтых тонах, с домами, напоминающими детские постройки. На этой же картине хорошо виден его главный недостаток — неумение справляться с задачами перспективы: чем дальше расположены его здания, тем меньше в них этажей! Но, несмотря на все технические недостатки, Литвак прекрасно передает атмосферу большого города. Последняя его выставка была в Нью-Иорке в январе 1948 года. Она имела большой успех: все картины были проданы.

Барух Фрухтбен тоже столяр. Он родился в 1872 году в России, в небольшом провинциальном городе. Художественно он больше подготовлен, чем другие нео-примитивы. В 1890 г. он уехал в Париж, ходил в школу «Arts et Mètier», изучал мебельное и декоративное мастерство и остался жить во Франции, работая в мастерской дорогой мебели. В свободное время посещал музеи и рисовал для «самого себя». В 1908 году, когда мебельные дела во Франции пошли плохо, Фрухтбен переселился в Америку и открыл здесь фабрику репродукций старинной мебели. В 1930 году, во время депрессии, он разорился. Жена от него ушла, он остался один, без работы; однако, продолжал рисовать. Случилось, что еврейская газета «Форвертс» напечатала репродукцию одной из его картин. Ее заметил Сидней Джанис, специалист по живописи нео-примитивов, разыскал автора, и с тех пор картины Фрухтбена стали появляться на выставках. Его лучшая картина — «Одинокий человек на пустынной дороге». Грусть и одиночество отлично переданы в фигуре человека, бредущего по уходящей вдаль

дороге, среди домов с закрытыми ставнями. У Фрухтбена очень неплохие рисунок и композиция и довольно умелое пользование перспективой.

Гораций Пиппин, негр из Пенсильвании, умер в 1946 году шестидесяти лет от роду. Его картины можно встретить во многих музеях. Известно, что он в раннем детстве увлекался рисованием. Но в семье было четырнадцать человек детей и нищета долго мешала ему заняться любимым делом. В первую войну он был ранен, лишился возможности работать и тогда стал регулярно писать картины. Он рисовал больной правой рукой, поддерживая ее левой. Его сюжеты — это яркие цветы, деревенские сцены из родного штата и военные воспоминания. Полотна Пиппина были замечены историком искусства Бринтоном, который устроил в Пенсильвании первую выставку его картин, а самого Пиппина назвал лучшим художником-негром в Америке. В 1939 году картины Пиппина были приняты на выставку в Музее Современного искусства. Пиппин вынашивали свои сюжеты очень долго: «Я рисую только, когда вижу картину целиком в своем воображении», — говорил он. Этим объясняется продуманность его композиции и тщательность обработки, но рисунок и фигуры выполнены у него довольно неуклюже, по-детски.

Вильгельм (Владимир) Дориани, которого многие художественные критики считают одним из наиболее оригинальных нео-примитивов Америки, родился в 1890 году в Златополе, около Киева. Он приехал в Нью Иорк в 1911 году, натурализовался и уехал учиться пению в Европу. Живописью он в то время не занимался, хотя и мечтал стать художником. Первую свою картину он написал однажды рано утром, в день своего рождения, когда ему исполнилось сорок лет. Он находился в это время в России, куда он уехал в 1922 году и где пробыл до 1934 года. Сюжетом был сон, приснившийся ему в эту ночь. Это была его известная «Балерина на носке». Свою «Балерину» он показал одному московскому художнику, который одобрил ее. Дориани попросил давать ему уроки, но получил отказ на том основании, что он-де для этого слишком оригинален и пусть остается таким.

Отличительные черты картин Дориани — совершенно неожиданная композиция и очень неумелая расстановка предметов. Объясняется это, вероятно, полным презрением к законам перспективы; эта манера сближает его отчасти с японскими мастерами гравюр. «Балерина» Дориани построена по диагонали, резко разделяющей картину на две части; его «День

флага» весь во власти небольших параллельных линий; «Футбол» — весь в зигзагах, напоминающих картины Клэ. Излюбленные темы картин Дориани — подмостки и жизнь Америки, которую он обожает. У него много юмора, много жизнерадостности и врожденного вкуса к краскам. Но рисунок у него слабый, и лепить форму краской он не умеет. В тридцатых годах картины Дориани стали появляться сначала на Вашингонском Сквере в Нью-Йорке, где ежегодно бывают выставки картин на открытом воздухе, затем в галлерее Гарриман и, наконец, были приняты Музеем Современного Искусства (1939). Большинство его картин находится у частных коллекционеров. В последнее время он болеет, нуждается и почти совсем перестал заниматься живописью.

Рабочий на шляпочной фабрике Самуил Кох (Кохмейстер) родился в 1887 г. в Варшаве и приехал в Нью-Йорк в 1919 г. Как-то раз его маленький сын попросил нарисовать ему картинку. Кохмейстер что-то скопировал, и с тех пор продолжал копировать всё, что ему попадалось под руку. Несмотря на то, что семье Коха жилось материально нелегко, домашние одобрили увлечение отца и даже в складчину купили ему краски. В первый раз его картины появились на выставке в Нью-Йорке в 1938 году, а потом были приняты на выставку «Неизвестных художников» Музеем Современного Искусства. Последняя выставка работ Кохмейстера была в Нью-Йорке летом 1948 года. Выделялась его картина «Суд Соломона», с двумя композиционными центрами. Но, главным образом, Кохмейстер пишет городские виды, по своему своеобразно трактуя перспективу. Таковы его «Юнион Сквер», «Кони Айланд» и др. Он прилагает все усилия, чтобы быть правдивым и понятным. Труднее всего ему даются тени, которые он часто упускает совсем, а иногда и кладет их в обратном направлении.

Среди «самодеятельных» художниц-женщин первое место занимает Анна Мозес, о которой было сказано в начале этой статьи. Вообще же их сравнительно немного; может быть, потому что женщине, помимо заработков на стороне, еще приходится много работать по дому и до значительно более пожилого возраста, чем мужчина остается на работе; может быть потому, что они менее уверены в себе и, по скромности, рассуждают, как некогда бабушка Мозес: «Мне часто кажется», — говорила она, — «что полезнее было бы пойти прибирать погреб, чем малевать мои картины».

Художница Раиса Роббинс (Робинсон), уроженка Чернигова, появилась на художественной сцене Америки лет 10

тому назад. Внимание публики она привлекла своей выставкой 1945 года, главным образом, — сюжетами своих картин. Почти все были заимствованы из русского фольклора. Россия тогда была в большой моде, и посетители выставки искренне любовались «Ярмаркой» на Украине, с рядами ларьков, каруселями и бабами в пестрых нарядах; кавалерией и плачущими девушками из всюду распевавшейся песни «Полюшко-поле» и т. п. После этого признания в Нью-Иорке, Раиса Роббинс успешно устраивала свои выставки в других городах Америки. Из всех русско-американских примитивов она самая русская, пожалуй, даже несколько сусально-русская. Ее кисть устремлена на внешние характеристики: цветущие подсолнечники, вышитые ткани, сарафаны, резные ставни, и т. п.

В том же 1945 году мелькнуло имя другой русской художницы — Сидней-Сычевской. Работница иглы Сычевская, эмигрировавшая в Америку более 40 лет тому назад, занялась живописью уже не в молодые годы. Ее небольшие картины написаны масляными красками с кропотливостью, отражающей ее профессию. Нью-Иорк и интерьеры являются ее излюбленными темами.

На выставке «Неизвестных американских художников» в 1939 году, о которой мы уже упоминали выше, обращали на себя внимание вещи Эллы Саусворс, уроженки штата Коннетикут, семидесятилетней женщины, начавшей рисовать в возрасте 55 лет. Она пишет, главным образом, пестрые цветы, умело размещая их на красочном фоне. На той же выставке были картины негритянки Флоры Луис из штата Канзас. Она сравнительно молода, ей 45 лет, талантлива; несомненно, из нее выработалась бы неплохая художница, если бы не ее расовое происхождение, которое помешало ей поступить в школу живописи. Она пишет, главным образом, на религиозные темы. Ее картины задуманы серьезно и выполнены старательно и вдумчиво.

Перечисленными именами отнюдь не исчерпывается вся масса «самодеятельных» художников Соединенных Штатов. Здесь собраны более интересные из них, более известные. Этим своеобразным художникам, сегодня еще только пробивающим себе дорогу, будущий историк искусства Америки отведет заметную главу: «Об американских нео-примитивах».

Вера Коварская

16 ОКТЯБРЯ

После смоленских боев немцы остановились на линии Ярцева, в 450 километрах от Москвы. В сентябре усилился натиск на ленинградском направлении и в районе Демянска, где 16-я армия фельдмаршала фон Буша пошла клином на перерез Октябрьской железной дороги, но Центральный фронт, нацеленный на Москву, не двигался.

Центральная группировка фельдмаршала фон Бока состояла из 4-ой и 9-ой армий фон Клюге и Штрауса, 2-ой и 3-ей танковых армий Гудериана и Гоота; позже подошла 4-ая танковая армия Хепнера, переброшенная из-под Ленинграда. Войска находились в исправности. То были армии, которые присоединили к Германии Польшу, прошли Францию, Норвегию, Сербию, Грецию и теперь захватили почти пол-России. У офицеров и солдат, насладившихся фантастическими победами и отъевшихся на оккупационных харчах, был вид довольства, веселья, лихого сознания непобедимости.

Немецкие генералы, как известно, всё обдумывают очень основательно и аккуратно. Так же аккуратно был составлен и план взятия Москвы. Правый фланг — 2-я танковая армия ген. Гудериана в составе четырех танковых дивизий (3-я, 4-ая, 17-ая и 18-ая), двух мотопехотных (10-ая и 29-ая) и 167-ой пехотной дивизии — подходит к Москве с юга через Тулу, Каширу, Рязань, Коломну. Левый фланг — 3-я и 4-ая танковые армии Гоота и Хепнера в составе шести танковых дивизий (1-ая, 2-ая, 5-ая, 10-ая и 11-ая), двух мотопехотных (36-ая и 14-ая) и трех пехотных (23-я, 10-ая, 35-ая) — подходит к Москве с севера через Тверь, Клин, Подсолнечную, Яхрому, Димитров. Ударная группа, сосредоточенная в центре, — 17 пехотных дивизий (9-ый, 7-ой, 20-ый, 12-ый, 13-ый, 43-ий армейские корпуса), две мотопехотных дивизии, более 1000 танков и 900 самолетов первой линии, — овладевает Вязьмой и двигается к Москве через Волоколамск, Можайск.

План устанавливал календарные сроки:

2 октября 1941 года — начало операции;

16 октября 1941 года — падение Москвы.

***

Наступление армий фельдмаршала фон Бока развивалось по календарному плану. Ударная группа прорвала фронт от Ельни до Белого. Вязьма пала через три дня. В полдень 5-го октября московский гарнизон был поднят по боевой тревоге. Курсантские части — пехотная школа имени Верховного Совета СССР, расположенная в Подольске, два артиллерийских училища, а также наше военно-инженерное, стоявшее в Болшеве, — вливались в 16-ую армию генерал-лейтенанта К. К. Рокоссовского. Шестнадцатая армия прикрывала наиболее угрожаемое волоколамское направление — кратчайший путь к столице. Она — отступала.

Перед Москвой оставался один водный рубеж — река Лама. Вдоль реки, по восточному берегу, тянулись полевые укрепления: противотанковые рвы, проволочные заграждения, бетонные колпаки. Оборону на Ламе занимали спешно перебрасываемые из Москвы курсанты — «сталинские юнкера». В солдатском море, разлившемся по полям Подмосковья, они выделялись нарядными голубыми шинелями, петличками с золотой обшивкой и золочеными буковками — ВПУ, МАУ-I, МАУ-II, МВИУ.

Наша 11-я рота МВИУ, приданная непосредственно штабу Рокоссовского, получила задание — минировать мосты на ламском рубеже. Октябрьской ночью мы прибыли в село Ярополец. Полтораста лет назад это большое и богатое село на восточном берегу Ламы, в 14-ти километрах от Волоколамска, принадлежало генерал-фельдмаршалу Чернышеву, вошедшему с русскими войсками в Берлин в 1760-ом году. Теперь к Ярополецу лавиной катились немцы.

Через Ярополец день и ночь отступали войска Рокоссовского. Беспрерывной лентой ползли обозы, двигались автоколонны, грохотала полевая артиллерия, тарахтели телеги с убогим крестьянским скарбом, пылили гурты скота. Отступая, войска угоняли на восток и мирных жителей. Поджигали деревни, пускали палы на несжатых полосах, чтобы ничего не доставалось немцу — только черная, выжженная земля.

Непонятное и страшное происходило, однако, не на шоссе (то была обычная картина отступления), а на проселочных дорогах. Там брели тысячи, сотни тысяч бойцов, отбившихся от частей, побросавших оружие. Они шли в одиночку и мелкими группами, выбирая пустынные полевые дороги, лесные тропки. Непокрытыми несли они обожженные солнцем, выдуб-

ленные ветрами головы; лишь изредка мелькала остроконечная, как луковица, красноармейская шапка-будёновка, тогда еще не вышедшая из обихода. Шинели у большинства нараспашку, помятые, в комочках прилипшей грязи и золотых блестках мякины, оставшихся после ночевки в скирдах, на гумнах. Мне случалось видеть босых бойцов: как странники, они несли сапоги подмышкой или за спиной на палочке. Ни у кого не было винтовок. Из брезентовых противогазных сумок выпирали шмоты сала, краюхи хлеба, бутылки со спиртом или молоком, заткнутые бумажными пробками. Противогазы валялись по всем дорогам. Командиры срывали с себя знаки отличия: металлические квадратики с петличек, красные суконные треугольнички с рукавов, уничтожали командирские удостоверения личности и, беспаспортные, сливались с потоком отступавших, обродяживших и никем неуправляемых бойцов.

На дорогах стояли заградительные отряды, которыми командовали генералы. У прохожих бойцов и командиров, ничем не отличавшихся от рядовых, не спрашивали документов — ни «красноармейских книжек», ни удостоверений личности, ни командировочных предписаний. Бесполезно было обвинять их в дезертирстве. Пойманным просто говорили:

— В строй!

Первая попытка сформировать дивизию из беглых бойцов была сделана генерал-майором В. Ф. Зотовым еще летом, на Двинском шоссе, возле Режицы. Там удалось собрать несколько тысяч штыков, а точнее палок, потому что оружие побросали, наличных винтовок на всех не хватало, в строй становились с палками. Дивизия просуществовала два дня и... разбежалась*).

Более удачно действовал кавалерийский полковник К. К. Рокоссовский на Смоленской дороге. Задержав чужую, разбредшуюся дивизию, он принял на себя командование, занял оборону, и только немцы остановились, наткнувшись на неожиднное препятствие, перешел в контр-атаку. Но когда полковник Рокоссовский стал генерал-лейтенантом и командующим 16-ой армией, крупнейшей на Западном фронте, он оказался не в силах удержать собственные войска.

...Каких-нибудь четыре месяца тому назад Красная армия стояла на Немане, Буге, Пруте. Прибалтика, Полесье,

---

*) Передаю со слов самого ген. В. Ф. Зотова, под началом которого я служил в 1942 году в штабе СЗФ (Северо-Западного фронта).

Волынь, Галиция, Буковина, Бессарабия — оккупированы, присоединены к СССР, «освобождены», по советской терминологии. Наслаждаясь легкими, молниеносными победами, отъедаясь на даровых и обильных оккупационных харчах, бойцы и командиры Красной армии были настроены залихватски: «Пусть только прикажет товарищ Сталин — мы в любую минуту готовы выступить для освобождения трудящихся любого государства». То была «сталинская молодежь», выращенная в искусственном, оранжерейном климате, полная веры в гений «великого, мудрого и любимого Сталина», в «освободительную миссию Красной армии», в «непобедимость советского оружия». Бойцы и командиры были уверены, что им предстоит «война на чужой территории».

Политическая устремленность к мировой революции определяла военную доктрину Красной армии — доктрину наступательной войны. Красная армия, как известно, была зачинщицей в деле формирования «голубой пехоты» — парашютно-десантных войск, приспособленных исключительно для наступательных операций. Обыкновенная пехота, между тем, была в загоне. Пехотинцев не обучали полевой фортификации: окапываться, строить дерево-земляные огневые точки — ничему, что требуется при обороне. Даже саперные специальные части не умели возводить оборонных сооружений: огневые точки строились с непомерно широкими амбразурами и как курганы, заметные издалека, доступные огневому воздействию противника. Противотанковые рвы, построенные в начале войны, впоследствии удивляли самих строителей: их трассировали напрямую, не думая о применении фланкирующего огня, — в таком виде они были бесполезны. Войсковая инженерия времен 1941 года поражала кустарщиной, крайней отсталостью. Воздушный флот также приспособлялся исключительно для наступательной войны. На аэродромах вплотную, крыло к крылу, стояли тысячи бомбардировщиков; истребителей же насчитывались единицы. На авиационных заводах, работавших полным ходом, производились великолепные машины «пешки», П-2, конструктора Петлякова, цельнометаллические двухмоторные пикирующие бомбардировщики; истребительные эскадрильи тем временем сидели на вертлявых и неустойчивых «чайках». Красная армия не была ни вооружена, ни обучена для обороны.

Началась война. Красные дивизии, расположенные на новых границах, геройски приняли немецкие удары. Двухдневный бой у Иелгавы (Литва), оборона Брест-Литовской крепости... — бойцы истекали кровью, но не сдавали позиций.

Истребительная авиация была так слаба и ничтожна, что не обеспечивала прикрытия. Немцы захватили русское небо без помехи, давили Красную армию с воздуха. Большевистская военная доктрина, сталинская стратегия свели к нулю подвиги бойцов, прикрывавших границы. Нестойки были росточки веры в Сталина, выращенные в оранжерейном, тепличном климате. Они тотчас завяли, едва на них повеяло жарким, опаляющим дыханием тяжелых и неудачных боев. На протяжении десятилетий большевизм вытравлял в молодом поколении органическую, национальную веру в Россию, теперь напористый ураган войны выдул и веру в Сталина, — в душе советского солдата стало пусто, хоть шаром покати. Так начался разброд Красной армии.

В июле и августе — первые два месяца войны — в действующую армию влились новые контингенты: миллионы крестьян Украины, Северного Кавказа, Поволжья, средне-русской полосы. Не комсомольцы, а тридцатилетние-сорокалетние люди, новый — более глубинный — народный слой, слабо затронутый большевистской пропагандой, идеями «освобождения» Европы, наступательной войны. На памяти этих бойцов лежало другое: как в 1930-ом году большевики разоряли единоличные — отцами и дедами построенные — хозяйства, отбирали лошадей, коров и насильно загоняли в колхозы; как в 1932-ом году целые деревни, села и станицы вымирали от голода, зарастали бурьянами, высылались на поселение в полярную тундру, пески Туркестана, концентрационные лагери Колымы. Новое пополнение принесло на фронт антисоветские настроения, которые сразу нашли отклик у «сталинской молодежи», разгромленной на границах в первые дни войны. Не только отклик, но и четкое оформление — прямая установка на пораженчество. Потеряв веру в Сталина, опустошенные душевно, молодые люди «сталинской эпохи» потянулись к немцам. Появились «нырики». Немцы наступали волнами. В тот момент, когда наши войска оставляли населенный пункт, нырики уходили, прятались в подвалах, погребах; это называлось «нырнуть под волну». Волна прокатывалась — нырики вылезали. Бывшие коммунисты и комсомольцы как правило, поступали на немецкую службу. Пожилые бойцы переодевались в крестьянскую одежду, подавались ближе к родной деревне, чтобы делить колхозы и заново строить единоличные дворы. Кто не имел поблизости родной деревни, оседал в хате какой-нибудь деревенской вдовушки, солдатской женки.

На полях России разыгрывалась большая военная, соци-

альная, политическая, но главное — глубочайшая психологическая народная драма. Неправильно думать, что миллионы русских людей пошли к немцам. Ни к немцам, ни к большевикам, а просто — куда глаза глядят. Бойцы потеряли уважение к войне и ко всему, что с войной было связано — к приказам командиров, к декретам власти. Они самовольно бросали полки и даже о близких товарищах-фронтовиках, с кем еще вчера сражались бок-о-бок, думали отстраненно:

— Нешто удержат немца!

В отступлении потеряли силу и значимость все вещи. Бойцы отрешились ото всего: только бы баклажку спирту, шмот сала, стегно баранины. Жили бездумной, какой-то воробьиной жизнью. Жив нынче — ладно, а завтра видать будет. Так думал русский солдат без оружия, без шапки, в помятой шинели нараспашку шагая по луговым проселочным дорогам и лесным тропам, в обход заградительных отрядов. Немецкие войска тем временем безостановочно шли на восток, захватывая, точно неводом, эту обродяжившуюся людскую массу.

Никто не знал, чем всё это кончится. Меньше всего знали в Верховной ставке, в Кремле. Было очевидно, что и позиция на Ламе — последний водный рубеж перед Москвой — не сегодня-завтра будет сдана неприятелю. Не потому, что позиция была дурна, что перелески, увалы, лощины были более удобны для скрытого накапливания наступающих войск противника, нежели для нашей обороны. Будь она много лучше, отвечай она всем требованиям тактики, теперь это не имело никакого значения. Беда была не в том, что войска отступали, а в том, что войска разбрелись. На протяжении тысячелетней своей истории Россия посылала солдат на всевозможные войны, бывали моменты, когда русским армиям приходилось и отступать, откатываться под натиском неприятеля, но такого разброда войск, бродяжничества, бездомности, неприкаянности целого народа история еще не видывала. То, что происходило в армии, сообщалось тылу, в особенности Москве: корчилась в страшных конвульсиях вся Россия, косматая, огромная, раненая, раздираемая душевными муками.

К середине октября драма, разыгравшаяся на полях России, достигла наивысшего напряжения. 4.000.000 советских солдат находились уже в плену. Немецкие танки уже бороздили поля Подмосковья. Россия подошла к краю пропасти. Теперь неминуемо — вот-вот, сию минуту — должно было что-то

произойти. Подходила минута кризиса. Как сказал мне один старик, встреченный на Волоколамском шоссе:

— Теперь надвое удача — помереть России или просиять.

На поверхности народного океана было мутно, несло во все стороны хлопья пены, но в глубинах всё ярче и светлее разгоралось то таинственное свечение, которое не угасало и не угасает никогда, какой бы мрак ни распространялся поверху. В те страшные дни октября подводные светлые струи народного русского океана собирались, накапливались и должны были выметнуться на поверхность с неожиданной силой и в неожиданную минуту — минуту кризиса...

...На Ламе немцев не удержали. Большой оборонительный рубеж, на котором почти всё лето работали сотни тысяч мужиков и баб, московских студентов, волоколамских, истринских домохозяек, — рубеж с эскарпами и контр-эскарпами, противотанковыми рвами, проволочными заграждениями, преградами из бетона и железа, — этот рубеж войска Рокоссовского оставили 14-го октября. Немецкая ударная группа, двигавшаяся по двум первоклассным шоссе, вышла на линию Волоколамска-Можайска. Требовалось подтянуть фланги, в особенности левый, застрявший в болотах Калининской (Тверской) области. Приостановив движение по Волоколамскому шоссе, противник усилил нажим на правый фланг нашей 16-й армии. 14-го октября неприятельские силы обложили Тверь. Бои разгорелись в районе Тургинова, на стыке двух фронтов — Западного и Калининского (бить в стык — излюбленный прием немецкой тактики). К югу от Москвы армия Гудериана шла в обход Тулы. Падение древней столицы, которая для каждого русского человека есть символ самой России, казалось, является вопросом дней: быть может, 16-го октября, как и намечалось по первоначальному плану немецкой ставки.

Всё вышло по-другому, однако. 16-го октября 1941-го г. — выдающаяся дата второй мировой войны. Но не потому, что Москва пала. Напротив, в тот день Москва поднялась. Поднялась против большевизма, приведшего Россию на край пропасти, и против немцев, замысливших погубить Россию. 16-ое октября и был день кризиса, великий и исторический день войны, народной драмы.

***

В «Истории Великой Отечественной Войны», которую теперь пишут в Москве, дата эта не будет отмечена, можно

предугадать заранее. Намек на события того дня, тем не менее, можно найти даже в советской литературе. В дневнике Владимира Ставского «Фронтовые записки» имеется любопытная запись, помеченная 18-ым октября 1941-го года, — в тот день он приехал в Москву с фронта: «. . . Москва суровая и грозная. В Союзе писателей группа литераторов собирается уезжать, ждут вагонов. Большая часть писателей уехала. Здесь же одно лицо из окололитературной братии с таинственным видом пытается завести разговор: «Вас тут не было. А 15-го октября что тут было! Что тут было!». Автор «Фронтовых записок», разумеется, не рассказывает, что же такое было и даже намеренно сдвигает дату.

Намек находим и в книге советской писательницы Маргариты Ветлин. Американка по происхождению, она приехала в 1932-ом году, в качестве туристки, в Москву и вышла там замуж за театрального режиссера Андрея Ефремова. Вместе с мужем и двумя детьми она провела два года в эвакуации. Книга «По русским дорогам» — дневник эвакуантки. Ветлин разговаривает с приятельницей Светланой, женой писателя Бориса Черного, и та бросает такую фразу: «После нашего отъезда из Москвы, 16-го октября, я потеряла вкус к отъездам в последнюю минуту». На этот раз дата не передернута, но и Ветлин не расшифровывает намек: почему-же именно «в последнюю минуту».

Генри Кассиди в книге «Moscow Dateline» пишет: «В течение трех дней после 15-го октября было немало волнений». Это правильно: 16-го волнения начались, 17-го пошли наубыль, 18-го сошли на-нет, Москва обновилась, переродилась, действительно стала суровая, грозная и — спокойная. Правильно намечая хронологическую линию, Кассиди, однако, скользит по поверхности. Книга его потрясающе-легкомысленна. Так, он рассказывает, что московский комитет ВКП, «начиная с 13-го октября», приступил к мобилизации коммунистов и сформировал четыре коммунистических дивизии. В те дни, когда коммунисты и комсомольцы рвали свои членские билеты, наспех очищали свои квартиры от марксистской литературы, какая могла быть мобилизация? Если бы московский комитет и объявил такую мобилизацию, он вряд ли смог бы набрать коммунистов хотя бы для одного полка. Коммунистические дивизии формировались в июле. Под Ярцевом, у Смоленска, они частью разбежались, частью попали в плен. Никакого влияния на исход битвы под Москвой они не оказали. Происхождение волнений в Москве Кассиди видит просто-

напросто в том, что у населения сдали нервы: «Русские — люди, как все другие. Вполне естественно, что такое напряжение сил должно было вызвать у них подавленность, вроде той, какую вызвали первые бомбардировки». «Но великий народ и крепкий режим, — продолжает Кассиди, — умеют справляться с подобными испытаниями и стоять выше опасностей ситуации. При виде абсолютного спокойствия и уверенности, проявленных правительством, население быстро успокоилось». Таким образом, по Кассиди, народ Москвы пал духом и только благодаря спокойствию правительства был водворен порядок. На деле всё произошло как раз наоборот: перспектива совершенно искажена. Надо отметить, что 16-18-го октября Кассиди в Москве уже не было: накануне, вечером 15-го октября, он вместе с американским посольством выехал в Куйбышев. К тому же, только близко живя с народом, можно было понять, что тогда происходило — что погибало и что рождалось. Иностранному корреспонденту, ограниченному комнатой в гостинице и питающемуся информацией отдела печати Наркоминдела, такая близость к народу, конечно, недоступна.

Наконец, в книге В. Кравченко «Я выбрал свободу» дана хроника — от 12-го до 19-го октября. Книгу эту я оцениваю высоко, она правдива и объективна. К сожалению, военные главы в ней мало интересны, мало содержательны и, порою, неточны. На фронте Кравченко не был: в военном училище занимался партийной работой, в октябре 1941-го года эвакуировался в тыл, потом слег в госпиталь, пошел на работу в промышленность, а весной 1943-го года попал в Америку. Он не обладает опытом войны: не только профессионально-военным, но и тем духовным — обостряющим внутреннее зрение — опытом, который приобретается лишь на фронте. День 16-го октября в книге Кравченко не развернут в большую и впечатляющую картину, не осмыслен, как этапный, поворотный пункт войны.

Пишущий эти строки благодарит судьбу, позволившую ему видеть Москву 16-го октября. Оставив Ярополец, мы отходили к северу, на правый фланг, в район Тургинова. На марше командир роты вызвал меня и спросил:

— Москву хорошо знаете?

Еще бы! Правда, я родился не в России, а в Сибири, в таежной деревне в предгорьях Саян, от Москвы пять тысяч километров. Но много лет уже, как Москва стала мне родным городом: там я учился, там был влюблен. Мое счастье и мое

несчастье... всё там! Конечно же, знаю Москву, ее кривые переулки, ее горбатые мосты, ее центры и ее заводские окраины.

— Ведь я, товарищ капитан, можно сказать москвич...

— Так вот, поедете в Москву, — сказал он, вручая мне командировочное предписание за подписью начальника инженерной службы 16-ой армии. — Возьмете с собою трех человек... пожалуй, хватит и двух... возьмете Юхнова и Приказчикова. Первым делом явитесь в Болшево и попросите помощь людьми. Может быть, даже дадут машину. А дело вот какое: в Москве где-то... а где, мы не знаем, это вы сами должны найти... есть картонная фабрика, которая получила задание вырабатывать противотанковые мины специально для нашей армии. Отыщете фабрику, — запомните, картонная, — получите партию мин, три тысячи. От наркомата обороны, главного военно-инженерного управления, должны дать средства переброски. Послезавтра к вечеру, — к вечеру 17-го октября, — всё это хозяйство должно быть вот здесь, в селе Степанчикове.

Капитан раскинул карту и показал село на берегу Ламы, севернее Яропольца, по направлению к Твери. Оно лежало как раз на стыке двух фронтов, где нажимали немцы. Командарм 16-ой приказал срочно заложить там мощные минные поля. На это дело бросали нашу роту.

Так 16-го октября я попал с фронта в Москву.

***

В Болшеве, в тридцати километрах от Москвы по Северной дороге, стоят красные кирпичные казармы военно-инженерного училища. По плану обороны столицы, на северо-западном секторе за боевые действия должен был отвечать начальник училища полковник Варваркин. Обладая крупными техническими силами, он решил построить Болшевский узел обороны. В сосновых лесах, окружавших училищный городок, в соседней деревне Максимковой, на ближней ткацкой фабрике, на усадьбе овощного совхоза в конце лета появились тьмы-тьмущие деревенских баб, девок, ребятишек, мобилизованных на оборонительные работы. 5-го октября, когда мы по боевой тревоге уезжали на фронт, бабья дивизия всё еще что-то такое копала на берегу Клязьмы, ходила с лопатами на плечах по дорогам, соединявшим Болшево, Подлипки, Тарасовку, притопывала по холодной земле босыми красными

ногами, набрасывалась, проходя огородами, на бураки и капусту, пела высокими и резкими голосами припевочки:

. . . Московские дамочки,
Не копайте ямочки!
Ой-да эти ваши ямочки
Не удержат таночки . . .

Полторы недели спустя, на рассвете 16-го октября, когда мы, трое курсантов, добрались попутными машинами до училища, окрестности Болшева являли безрадостную горькую картину. Вырубленные леса, изрытвленные поляны . . . В лесах — противотанковые завалы: величаво-громадные сосны повалены вдоль и поперек, одна на другую, белые срезы оплыли смолой. В полях — окопы, размытые осенними дождями, слегка припушенные снегом, выпавшим накануне. Желтели бурой глиной брустверы, на дне траншей накапливалась ржавая вода. Туманная сырость стелилась над морщинистой, больной землей.

Баб и девок с лопатами уже не было: не то перегнали куда, не то разбежались сами. Не слышно было и курсантских батальонов. Пустые, мрачные, стояли казармы. Ворота — деревянная рама, оплетенная колючей проволокой — были откинуты напрочь, на песке, смешанном со снегом, виднелись широкие рубчатые следы грузовиков. На учебном плацу одиноко торчал столб и валялась кобыла с обломанными ножками. Часть училища была на фронте, другая отправлялась в эвакуацию в Мензелинск, татарский городишко близ Казани.

Комнаты штаба . . . Пустые стены. На полу пыльные, замусоренные квадраты: напоминание о вынесенных столах, под тумбочками которых не подметали. Второй этаж . . . Голые, сквозные стены библиотеки. Лохмотья плакатов в залах агитационного пункта. Некоторые из этих плакатов были написаны по заданию комиссара Юхновым, художником по профессии. Высокий и грузный, в пилотке, топорщившейся на голой и круглой, как глобус, голове, он подошел к стене и, ухватившись за край, с треском сорвал кумачевую ленту, на которой меловыми буквами было написано: «Да здравствует Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) — партия Ленина-Сталина!». Топча кумач порыжелыми, обожженными у костра солдатскими сапогами, Юхнов насмешливо крикнул:

— Я тебя породил, я тебя и убью!

По корридору пролетел окрик:

— Э-гей! Кто там ходыт?

Мы различили голос лейтенанта Бериташвили, коменданта училища. Он нас узнал, обрадовался.

— Какой люди? Какой машина? — блеснул он косыми миндалинами глаз, когда я передал записку командира роты с просьбой о помощи. — Никого нет, пустой училище. Полковник Варваркин? Нет, он еще не уехал, он — в Москве. А-а! Войди ты в мое положение... бросают мне взвод ишаков и говорят — охраняй училище!..

— Поедем в Москву, в инженерное управление, — сказал я товарищам. — Электричка ходит по старому расписанию?

— Ва! Какой может быть электричка? Провода давно сняли. Ходит паровичек... может, сегодня и тот не ходит. В Тарасовку иди, на Ярославское шоссе, там попутных машин в Москву много...

К Тарасовке — три километра от училища — вела глинистая проселочная дорога. На душе было сладостно и тоскливо: Москва! Недавно щеголеватые столичные курсанты, мы возвращались солдатами-фронтовиками. На фронт мы поехали в нарядных голубых шинельках, которые прежде разрешалось надевать только в отпуск в Москву. Не прошло двух недель, как шинели покрылись желто-зелеными пятнами, — от мелинита, этой чортовой ядовитой взрывчатки. Юхнов спал у костра и спалил полу шинели, а Боря Приказчиков, отогревая ноги, прожег сапоги так, что вылезали портянки. Ночуя в жарких и вонючих избах, вповалку, среди онуч и мокрой одежи, мы быстро набрались прогорклого запаха солдатчины.

Широко, торопливо шагая, я оглядывался на товарищей. Улыбка теплилась на мясистом, тяжелом лице Юхнова. Он был мой давний знакомый. Лет десять назад нас свел случай в Пудоже, на Олонецком озере. Меня туда заманили старушечьи сказки, а его — художника — остатки церквей, деревянное русское зодчество. Он и родом был той же олонецкой стороны, сын кержака-старовера. Мшистая тишина леса располагала к откровенным разговорам: мы сблизились, подружились. Юхнов задыхался в казарменной атмосфере, давно сгустившейся в стране. В построенном по ранжиру советском обществе художникам отводилось определенное место: писать портреты вождей и маршалов, оформлять демонстрации 1-го мая и 7-го ноября. Юхнов не хотел равняться по ранжиру: он тосковал по свободе. Казарму советскую он проклинал, и тогда, в приозерном ельнике, сказал: «Хоть бы она в войне

сгорела!». Теперь, по дороге в Тарасовку, он напомнил мне эти слова:

— Ты помнишь, Михалыч, я говорил про казарму... кажись, горит!

Подбородок Юхнова, широкий и мясистый, раздвоился от улыбки.

— Похоже... — ответил я. — Только как бы и мы с тобой тут не сгорели.

Юхнов хотел что-то сказать, но перебил Боря Приказчиков:

— Вы — как хотите, а я должен в Москве домой зайти.

Боря Приказчиков был гигантского роста, белокурый и белолицый детина. Имел от роду 18 лет. Учился он в другом, нормального призыва подразделении, но для пользы службы, которая бывает ведома лишь одному начальству, его перед отъездом на фронт перебросили в нашу роту. «Детку», как мы его прозвали, любили в роте: простой, бесхитростный, он мыслями был уже в Москве, в маленькой квартирке где-то на Электрозаводской улице, у Преображенской заставы. Поглядывая на прожженный сапог, он улыбнулся и по-детски мечтательно сказал:

— Приду, скажу мамашке — давай портянки новые! Байковые! Вот ногам будет мягко ходить...

— Какие там крики? — прервал я Детку. — Похоже, драка.

Взбежав на пригорок, мы увидели темносерую выпуклую ленту асфальта. Невдалеке зеленели крашеные железные крыши Тарасовки. На околице шумела, пенилась толпа. Вздымался разноголосый гул, прорезаемый короткими пронзительными выкриками.

Посередине шоссе стояла грузовая машина с откинутыми бортами. Тяжелый брезент коробился, откинутый на передок, на верх кабины. Платформа была завалена мешками, боченками, ящиками. В богатстве этом копался, широко расставив ноги, богатырского вида парень, ростом не меньше нашего Детки, но здоровее, плотнее и шире в плечах.

Мы спустились с пригорка, подошли ближе.

Богатырь-парень подхватил, как ребенка, боченок, из днища которого, повидимому, от удара каблуком вылетела доска.

— Масло! — громовым голосом объявил он, и толпа, глядя на желтую выбоину в боченке, отозвалась:

— Ма-а-асло!

Передав кому-то на руки боченок, парень поднял джутовый, туго набитый куль. Он был доволен своей работой: улыбался, поводил широкими плечами. Ветер шевелил и зачесывал назад спадавшую на лоб прядку волос.

— Сахар! — шрапнелью лопнул над толпой крик парня.

— Са-а-ахар! — хлестал волнами у его ног стон многолюдного сборища.

Народ плотным массивом сбивался вокруг машины. Каждый норовил протиснуться поближе к маслу, сахару. Тарасовские бабы, как все подмосковные огородницы и молочницы, привыкшие к толкучке дачных поездов, сутолоке базара, были шустры, остры на язык.

— Все они, толстомордые, так-то... кусочек хлебца да вагон масла! Ишь чего он в машину наворотил...

— Кралю-то свою, небось, кормить надо.

— У него, поди, их не одна, а три-четыре. Они ить, дьяволы, со старыми-то женами поразводилися. А новых... у каждого по полдюжине!

Юркий, как вьюн, мелкорослый человечек, по виду железнодорожник, поддержал бабий разговор:

— Кондуктора наши из Уфы приехали. Рассказывают, набежало туда населения — два миллиона! И всё жены этих... ответственных! Деньги, страшно поверить, гражданка, пачками в чемоданах везут. Цены в Уфе не-во-о-обра-зи-мые! Местному жителю стало не подступиться, ложись и с голоду помирай. Вот чего они в этой эвакуации понаделали.

Бабы заверещали:

— Давно бы надо распотрошить чемоданчики ихние.

— Взяться бы всем народом... везде бы поустраивать им вот такие остановки.

Железнодорожник — петушиным кукареком:

— Станция Березайка... вылезай-ка!

Шныркие, узко посаженные белые глазки его остановились на пожилом и тучном человеке в брезентовом дождевике и каракулевом картузе, стоявшем около машины.

— Вам, гражданин, до Уфы?

— Вы же знаете отлично, нет, не до Уфы. Еду в район Буя-Данилова. И продукты предназначаются не какой-то там «крале», как вы изволили выразиться, а бригаде рабочих, отправленных от нашего треста на оборонительную стройку. Вот же, вот они, документы. Я уже показывал. И товарищ милиционер смотрел.

Над жестким воротником брезентового дождевика торча-

ли круглые оттопыренные уши. Дергалась пухлая щека, меченная белым рубчиком давнего, жиром заплывшего шрама. Глаза кослись на тарасовского сельского милиционера, который безучастно, с ухмылкой, посматривал, как грабили машину, остановленную на большой дороге.

— Документы! — ненавидящим белым взглядом посмотрел железнодорожник. — Видали мы твои документы! Ты сам их отпечатал. Тебе что... своя рука владыка! Директор треста! Печать-то до се у тебя в кармане?

Перекатились смешки, одобряющие возгласы. Дождевик устало махнул рукой и, шевеля толстыми губами, отошел в сторону, сел на обочину шоссе. Внимание толпы целиком сосредоточилось на богатыре-парне, который очищал платформу грузовика.

— Консервы! — весело, широко осклабился парень и потянул по платформе ящик, доверху насыпанный плоскими баночками. Машину нагружали второпях, кидали товар внавал, не упаковывали.

Несколько банок упало на асфальт. Поднялась свалка, крики. Бабам не терпелось разживиться. Но устроители заставы, мытищенские железнодорожники и рабочие подлипкинского артиллерийского завода, сгружали продукты,намереваясь делить их в организованном порядке.

— Хоть одной баночкой попользоваться! — смеялась бабенка, пряча под фартук консервную банку. — Дележка начнется, нам ни фигá не достанется. Деповские всё заберут себе. Нам, бабы, надо свою заставу устанавливать. Поймали бы леща не хуже этого...

Юхнов, улыбавшийся всю дорогу, тут совсем развеселился. Мы стояли на травянистом холмике. Пилотка у Юхнова съехала на затылок, глянцем светился выпуклый лоб. Круглые медвежьи глазки маслянились, обтягивались веселыми лучистыми морщинками.

— Будет что-то в Москве сегодня! Мы в аккурат попали! — толкнул он меня под бок и зло-весело заговорил: — Остервился народ, Михалыч! Война эта кое-кому боком выйдет. Мы не сгорим, не думай... народ, он и горит да не сгорает! А вот о н и сгорят! Понимаешь, теперь, почему они по всем Женевам кричали: — Мы против войны! Мы за мир длительный и прочный! Чуяли, что в войне они не сумеют с народом справиться. Наутек пустились, с-с-сукины сыны!

Внезапно Юхнов предложил:

— Давай, Михалыч, заберем машину! Действуем...

Не дожидаясь согласия, он — крупный ростом, тяжелый на ходу — раздвинул тараторок-баб и врезался в массив толпы. Народ разглядывал его прожженную испятнанную шинель, которая была неоспоримым доказательством, что он не наркоматский военный, а фронтовой. Военными наркоматчиками Москва кишела, их возненавидели заодно со всеми наркоматчиками. Как обрезанные, смолкли разговоры. В наступившей тишине Юхнов сказал:

— Мы приехали с фронта, из армии Рокоссовского. Из Москвы ,с фабрики, мы должны везти противотанковые мины. Машину нам должны были дать вот здесь, в Болшеве, в инженерном училище. Но мы приехали, не нашли никого... пустые казармы. Машина нам необходима. Мы забираем эту.

Крики одобрения:

— Правильна-а!

— Пущай берет!

— А ну, посунься от машины... закрывай борта!

Юхнов хозяйски, с полным сознанием правоты дела, отворил дверцу кабинки.

Дождевик кинулся к нему:

— Товарищ, вы не имеет права. Продукты... ну, понимаю, толпа, стихия. При таком остром недостатке продовольствия возможны эксцессы. Однако, машина... она никак не относится к продовольствию. Машина трестовская, вот у шофера и путевка на нее.

Шофер, сидя на закрылке грузовика, курил огромную из газетной бумаги цыгарку. По его лихим улыбающимся глазам видно было, что сочувствует он толпе, а не хозяину.

— Не сепетите, гражданин, — холодно отрезал Юхнов. — Не хуже вашего понимаю, что машина трестовская. Да и продукты... тоже трестовские, разумеется. Вы примазались к трестовскому богатству, а теперь вас вежливо просят... отлепитесь!

Дождевик тряс студенистыми щеками:

— Это безобразие, товарищ! Кто примазался? К какому богатству? Вы думаете, что вы — военный, так вас помилуют за такие бесчинства? Когда-то и я был военным... видите, на моем лице память от белой шашки... ордена имею...

— Начхать мне на твои ордена, вошь пузатая! — гаркнул Юхнов и подошел в упор к дождевику. — Отъелся на народной шее, паразит проклятый! Придавить тебя, что ли...

Не вступись я, он хватанул бы директора кулаком-свинчаткой.

— Брось, Никола, — потянул я Юхнова, и он, увидев, что Детка с шофером заводят машину, отступился от дождевика.

— Бывай здоров, товарищ орденоносец! — засмеялся в лицо ограбленному директору богатырь-парень, защелкивая борта теперь уже нашей машины.

Юхнов усаживался в кабинку, тяжело вминая пружины клеенчатого сидения. «В войне они не сумеют с народом справиться...» — крутолобый кержак вырывался на свободу, Ненависть Юхнова к приспешникам сталинского режима медвежьей силой вырывалась из нутра. Ненавидел он не головой, но всем телом, чревом, кишками. «Какая в нем твердость!» — подумал я, невольно любуясь решительностью повадки Юхнова. — «Добрячий командир из него на войне получится... если только он воевать захочет».

Детка оказался заправским шофером. В училище он проходил нормальный курс, не ускоренный: курсантов обучали и управлению автомобилем. Прав он не имел, но в те дни их в Москве и не спрашивали. Машина и шоферские способности Детки нам крепко пригодились не только в памятный день 16-го октября, но и впоследствии на фронте.

Дождевик тяжело и хрипло вздохнул, когда мы все трое разместились в просторной кабине грузовика. Детка тронул рычаги. В серых — цвета усталой стали — глазах директора треста затеплилась простая и человеческая мольба:

— Товарищи, не оставаться же мне посреди дороги. Электричка не ходит. Доставьте хотя бы в Москву, до дому. Позвольте, я наверху в кузов сяду.

Не успел я ответить согласием, Юхнов хмыкнул:

— Нет, не позволим.

Детка тронул рычаги. К машине вдруг подбежала женщина. На руках у нее был сынишка лет трех-четырех в пушистой заячьей шапке. Девочка постарше, закутанная в белый полушалок, бежала и остановилась рядом с матерью.

— Товарищи бойцы! Не оставьте меня с детишками!..

Низенькая, но складная, веселая бабенка, не вынимая рук из-под фартука, где она прятала не одну банку консервов, нагнулась к испуганной бледной девочке:

— Светланка, ты тоже едешь? Папашка-то где?

— Не знаю — ответила девочка.

— Муж мой — писатель, — сказала женщина. — Поэт Борис Соснин... может, слышали? Писательские семьи срочно эвакуируются в Татарию — в Чистополь, под Казань. Ночью

мужа вызвали срочно в Москву. «Ну, если сегодня ехать, то я быстренько вернусь за вами ...». А тут — видите — такое началось ... Теперь звонит: — Бросай всё, как есть, бери ребятишек, лови попутную машину и приезжай на Курский ... Накидала я в чемодан, что под руки попало. Побежала в поселковый совет — сказать, что уезжаем, чтобы за домом присматривали ... мебель, всё-таки, какая ни на есть, остается, библиотека. В поселковом совете пусто. Кинулась в милицию — ни души! Все наши начальники ночью сбежали, один милиционер — вот этот, что здесь стоит — на всю Тарасовку остался. Двери настеж, шкафы открыты, бумаги на столах разбросаны. Все как с ума посходили сегодня! .. Не оставьте меня, товарищи! Подбросьте до Курского.

На тонкое красивое лицо жены поэта легла желтая с прозеленью усталость. Только крылатились, как у украинской дивчины, полудужья густых бровей.

— Это наши, тарасовские, — сказала бабенка, подходя к кабинке. Хорошие люди, вся деревня подтвердит.

Богатырь-парень разостлал по кузову брезент, устроил сидение. Принял из рук женщины детишек и помог ей самой взобраться. Потом, спрыгнув на землю, кинул ей несколько банок консервов:

— На дорогу!

Дождевик — плачуще:

— А я-то как же? Позвоните, по крайней мере, в Москве, что я нахожусь в беспомощном состоянии. Пожалуйста, вот телефон. Буква «Д», Миусы. Номер ...

— Позвоним, — сказал я.

— Прошу вас, — угодливо, через силу, улыбнулся дождевик. — Я директор московского треста «Союзплодоовощь». Когда-нибудь, при случае, и я окажу вам услугу.

— Директор «Союзплодоовощи»? — Медные глазки Юхнова позолотели, замигали в них желтые искорки смеха.

— Ну да ... конечно же ... я — директор «Союзплодоовощи»! Вы обо мне слыхали! Вот видите ... мы, вероятно, знакомы даже.

Надавленные каракулевым картузом, оттопыренные уши директора порозовели от радостного волнения. Неровной усмешкой сморщились губы Юхнова. Из глаз, иных, полезла мохнатая свирепость. В последнем — сдерживаемом — негодовании он прошипел шерстяным голосом:

— Слыхал ... слыхал ... проваливай отсюда!

Под ногой Детки хрустнула педаль. Пулеметно загрохотала тронувшаяся машина.

— Он тебе, что, знакомый? — спросил я.

—Жу-улик! — разразился Юхнов. — Директор «Союзплодоовощи»... кто из московских художников не слыхал о нем! Видал, шрамами гордится, орденами. А в душе за свою задницу дрожит... привык к насиженному месту! Ты думаешь, они... такие вот... когда революцию делали, о России заботились, о народе. Наплевать им на Россию, только бы до власти дорваться! Только бы володеть и княжить... Директор «Союзплодоовощи»! На нашем брате-художнике наживался! Понимаешь, в его подчинении, кроме всяческих овощных совхозов, консервных фабрик, также зеленные лавки, фруктовые магазины... словом, всё, что относится к плодоовощи. Лет пять назад объявили поход за культурную торговлю. Этот фрукт решил художественно оформить свои магазины. Нанял для начала одного художника, моего приятеля. Тот подсчитал, какая работа, сколько стоит, написал проект договора. На пять тысяч рублей. Директор прочитал и спрашивает: «А если семь поставить, не много будет?» Приятель смекнул: — Наше дело, отвечает, такое, что точной оценке не поддается. Комиссия будет принимать работу, согласится и на семь. — Подписали на семь тысяч. Полторы — в карман директора. Приятель мой раздул кадило: в «Союзплодоовощи» магазинов много, работы хоть завались. Приятель ведет дело с этим мошенником, а работу дает нам. Прошло время, все магазины оформлены. Директор «Союзплодоовощи» вызывает приятеля: «Ты — художник, так придумай же еще что-нибудь в смысле оформления. У моей жены скоро день рождения — подарки, гости, большой расход... деньги нужны!». — Ка-акой жулик! Никуда он не в Буй-Данилов ехал, — нагрузил машину да двинул в тыл, от войны подальше. А то ведь фронт... вот он, к Москве подходит!

Детка лихо вел машину по раскатанному глянцевитому асфальту. Задерганный мотор рычал. На шоссе — у Мытищ, у Северянина — кипели толпы. Как крысы с тонущего корабля, бежали из Москвы директора заводов, крупные советские чиновники, работники центрального аппарата, захватывая поезда и автомобили. Народ, не имеющий ни автомобилей, ни привилегий на проезд по железной дороге, перехватывал беглецов, избивал, устраивал им неожиданные остановки, станции «Березайка — вылезай-ка».

***

Ветер пел в ушах. Дома, раскиданные по обочинам шоссе, катились вспять. Мелькнули павильоны сельско-хозяйственной выставки, деревянные бараки студенческого городка. Вот и Москва. Машина выкатила на площадь Ржевского вокзала. Тут я невольно зажмурился: в глазах пестрило от плакатов. Бумажная мятель кружила на Мещанской улице.

На перекрестках, в ожидании зеленого сигнала, мы с любопытством разглядывали плакаты. Бросалось в глаза, что почти все художники изощрялись на исторические темы. На одном плакате танкист, поднявшийся из башенного люка, смотрел вдаль, приставив козырьком ладонь, а за ним подымалась величавая тень древне-русского богатыря, который точно так же осматривал степные просторы. Другой художник изобразил скачущего красноармейца-кавалериста, на которого любовно смотрит старый донской казак. Третий нарисовал картинками эволюцию русского оружия: от оглобельки Васьки Буслаева до современного автомата. Под рисунками — стишки:

Били мы врага копьем,
Били мы врага ружьем,
И теперь стальным оружием
Бьем врага, где обнаружим.

Теперь, когда немцы подошли к стенам Москвы, эти стишки звучали, как тонкая и ядовитая насмешка.

— А-а! . . вот это хорошо! — показал Юхнов на большой и острый, выразительный плакат, на котором стояла, вскинув руку, простоволосая седая женщина; надпись: «РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ!». — Не глядя на подпись, узнаю: Ираклий Тоидзе, его работа. Помнишь, какие он дал иллюстрации к «Витязю в тигровой шкуре»?

По тротуару, близ нашей машины, прошли двое молодых военных. На ходу они тоже разглядывали плакаты. Послышалось, как один усмехнулся:

— Не знаешь, не то она тебе мать, не то — мачеха!

И пошли дальше, смеясь . . .

Бенгальские огни, пускаемые пропагандой, не отогревали сердец, замороженных от рождения. Прошлое не приходило на помощь настоящему. Мосты между ними были взорваны, сожжены. Долгие десятилетия большевики подрывали русскую историю, основы народной жизни. Если считать от «Ве-

ликого Октября», и то между 1917-м и 1941-м гг. стоял 24-летний молодой человек, давно достигший совершеннолетия. Это был Иванушка, не помнящий родства. Родина ему была не мать, не мачеха — пустое место. Машина пропаганды работала без остановки, выпуская плакаты, воззвания, листовки, лозунги, афишки, обращения, призывы. Бумажным мусором, как помойку заваливали пустоту души.

Нам не составляло труда подвезти жену Соснина: от Первой Мещанской рукой подать до Курского вокзала.

Клубы пара вырывались из широко распахнутых дверей Курской станции метрополитена. В молочно-белом пару толпа пассажиров выкатывалась эскалаторами прямо на асфальт и растекалась по привокзальной площади. «Букашки» — трамваи и троллейбусы ходившие под буквой «Б» по Садовому кольцу — подвозили к приземистому зеленому вокзалу беженцев. Широкие ступени вокзала были завалены чемоданами, плетеными корзинами, узлами. Женщины, старухи, дети сидели кучками вдоль деревянного забора, тянувшегося от вокзала к станции метро. На щелеватом похилившемся заборе, прикрывавшем железнодорожные службы, шуршали пестрые лоскуты бумаги с присохшим на них клейстером, — обрывки всё тех же плакатов, афишек, «Окон ТАСС».

Шагая через чемоданы, обходя нагромождения домашней рухляди, отправился я с Людмилой Сосниной на поиски ее мужа. В этот день среди беженцев было много московских писателей. В купоросно-синем крылатом плаще сидела, распустив черные волосы, усталая от страстей и любовей, худенькая и слабенькая поэтесса; муж ее, композитор, недавно погиб на фронте. Пробежал с чемоданчиком толстый критик. На рукаве у него была красная повязка: «Начальник эшелона».

— Кирпотин! Кирпотин! — крикнула Соснина. Он не отозвался. Кинув мне на руки девочку — в придачу к чемодану — она бросилась вслед за ним внутрь вокзала.

В толпе, пенившейся шляпами, кепками, зимними мохнатыми ушанками, беретами, шляпками женщин, ныряла фуражка военного коменданта, пробиравшегося к выходу на перрон. На него наседала молодая женщина в меховой шубке, перехваченной красной повязкой по рукаву:

— Товарищ, я буду вынуждена жаловаться председателю Моссовета! Вы же знаете, имеются указания — детей отправлять в первую очередь.

Начальница детского эшелона хваталась за комендантскую шинель, будто опасаясь, что его оторвет, закрутит и

поглотит кипень вокзальной толкучки. Между тем, с другого бока на него напирал Кирпотин, прижимавший крохотный чемоданчик к груди, как ребенка.

— Товарищ, вы получили записку от замнаркома? Писателей приказано погрузить немедленно! Или приказ замнаркома вам не приказ?

Упоминание «замнаркома» не подействовало на коменданта. Кирпотин переменил тон. Конфиденциально — так, как один плут поверяет другому — он проворковал с улыбкой:

— Товарищ, вы думаете, что я не знаю? Я всё знаю... у вас с ночи был заготовлен состав для писателей. Куда он делся?

Кирпотин был мастер на всякие плутни. Когда-то он заворачивал делами в РАПП-е (Российской ассоциации пролетарских писателей) в компании с Л. Авербахом, В. Киршоном, расстрелянными за «вредительство в области идеологии и культуры». Но, ловкий и скользкий, он вывернулся, стал заворачивать делами и в новом Союзе писателей. Когда-то он был главарем того направления в критике, которое ныне отвергалось как вульгарно-материалистическое. Он быстро перестроился: написал книгу «Наследие Пушкина и коммунизм», заостренную против вульгарного материализма. На вокзале 16-го октября он пускал в ход все плутовские подходы и выверты. Но и это не действовало на коменданта. Выведенный из терпения, комендант побагровел, остановился и, точно раскалывая полено, махнул руками:

— Нет и нет! Ни паровозов, ни вагонов... жалуйтесь хоть самому наркому!

Станционный сторож открыл широкую дверь на перрон. В раствор было видно, как из правительственного салона, окна которого были затянуты кремовыми шторами, выходили известные всей Москве сановники — цекисты в зеленых шубах с каракулевыми воротниками, дипломаты в голубых шинелях с широкими серебряными погонами.

— Вот видите... — пробормотал комендант и быстро пошел навстречу.

Кирпотин тоже нырнул на перрон и, пожимая руку одному из дипломатов, присоединился к шествию.

Под сводами большой многооконной залы ожидания вдруг воцарилась тишина. Из черной разззявленной глотки радиорупора посыпались стеклянно-звонкие удары клавишей — позывные московского радиовещания. Начальными тактами песни «Широка страна моя родная» предварялись важные правитель-

ственные сообщения.

— Товарищ Пронин будут выступать, — сказал старик — станционный сторож. — Два раза уже объявляли. — Забрав бородку, он заглядывал в пасть высоко подвешенного громкоговорителя.

В рупоре механическим грамофонным голосом заговорило:

— . . . граждане, через четверть часа, в девять часов пятьдесят минут, перед микрофоном выступит председатель Московского совета товарищ Пронин.

Диктор смолк. Короткое мгновение держалась тишина. Люди стояли, подняв лица к высоким сводам, будто там шел по канату, балансировал над пропастью, бледный отчаявшийся циркач, и толпа чувствовала, что он вот-вот сорвется.

Тишина лопнула:

— Опять через четверть часа!

— Другой раз отлаживают . . . до кех же пор?

— Тебе-то што? Не до тебя он будет говорить, а до народу. Ты за мальченкой бы лучше смотрела. Обмочился, не видишь!

— А я-то не народ, что ли? Старый ты чорт! Ты сам, поди, под себя мочишься, а тоже . . . попе-ерся! в икувацию!

— Вот выступит Пронин и скажет: — Товарищи, мы оставляем Москву . . . — Но знаешь, мне кажется есть большая правда . . . помнишь, у Максимилиана Волошина: «Умирать, так умирать с тобой, и с тобой, как Лазарь, встать из гроба».

— Интеллигентщина . . . Мистицизм . . . Э! Генька Фиш провожает свою черноглазую. Недурна она! Как ее . . . Таня Смолянская? И волосы — смоль! Э-э, как он пыжится рядом с ней . . . Фиш — афишируется!

— Нужда меня заставила, судобушка, экуироваться. Кабы не погнали, стал бы я по вокзалам хлюстаться? На своей печке подох бы, с места не тронулся. А пришли красные армейцы . . . всю деревню, хошь — не хошь, иди! Дошли до Москвы, сидим третью неделю. Харч, какой был, кончился, а без харчу — погибать!

— Так и так одна дорога! Слышишь, что говорят . . . сдают Москву.

Тут мы столкнулись с Сосниным. Кудрявый, взлохмаченный, он подбежал к жене, беспокойно расширяя круглые, воспаленные глаза под толстыми стеклами.

— Милочка, слышала . . . немцы в Можайске!

— Боря, вот ты . . . пропал и пропал, бросил одну с ребя-

тишками, — потерянно заголосила Людмила. — Да... — спохватилась она. — Вы не знакомы?

Не будучи знаком лично, я давно любил Соснина, как поэта. В особенности, его поэму, в которой он воссоздал Москву времен царя Грозного, изобразил, точно маслом по холсту, фигуры народных зодчих — строителей собора Василия Блаженного.

— Господи, у меня сердце зашлось, — продолжала Людмила. — Вот объявили по радио — через двадцать минут выступит Пронин. Ну, как объявит — начинается бой в Москве? Москву ведь ни за что не пожалеют! Баррикады, Боренька, ты видел... баррикады на улицах строят! Тут всех нас перебьют, на вокзале-то... На вокзале всегда — главный бой! Уж сидели бы мы лучше в Тарасовке...

Соснин нагнулся к девочке, поправил полушалок, затянул концы потуже. И весело оскалился, тряхнул кудрями:

— Кирпотин смылся! Прибежал, ухватил жену и на перрон, к какому-то эшелону. Второпях, пока хватал вещи, выпустил из рук маленький чемоданчик... с драгоценностями. Поминай, как звали! Под ноги, туда-сюда, нет чемоданчика, смылили!

— Кто же теперь нашим начальником? При писательском эшелоне?

— А никто! У военного коменданта не протолкаться. Обещает поедем! Давай, подымайся, пойдем искать попутную машину... да домой, в Тарасовку!

— Где вам теперь найти попутную машину! — сказал я. — Мы сегодня по случаю обзавелись грузовичком... объездим по своим делам, управимся и наш парнишка-шофер отомчит вас опять в Тарасовку. Пошли к нашей машине.

На вокзальной площади кучился народ. Все ждали, что сейчас скажет председатель Моссовета. Нетерпеливые кидали взгляды на башенные часы. Большие, заостренные, как мечи, стрелки подходили к десяти. В назначенную минуту в рупоре захрипело, забулькало. Из шума, треска выделился равнодушный голос диктора:

— Внимание, внимание.

Ветровым шелестом пронеслось:

— Пронин! Пронин!

Но то был не Пронин. Диктор объявил:

— Передаем постановление Московского совета о подготовке к отопительному сезону.

Растерянность отразилась на лицах слушателей. Вместо

трижды объявленного и дважды отложенного выступления председателя Моссовета начали читать какое-то давнее постановление, наугад выхваченное из первой подвернувшейся под руку папки. Некоторое время народ слушал глухое монотонное чтение. В тяжелой тишине выметнулись злые крики:

— Ищи ветра в поле!

— Куда там! Его в Ташкенте искать надо.

— Ихнему брату самолеты готовые держат в Тушине.

— Вот-те правители... Бросили народ — делай, как знаешь.

— Народ, гражданка, свое знает... Вы не слыхали, что на заводах деется? Я только что с Изолита, от Преображенской заставы. Ого-го!

На заводах высоко взметнулись волны народного возмущения. Поутру 16-го октября по заводам было объявлено, чтобы рабочие шли получать заработную плату вперед за два месяца. Никто еще не знал, что немцы в Можайске, но по объявлению почувствовали: плохи дела с Москвой. Каждому стало понятно: правительство не уверено, что удержат столицу. В создавшейся обстановке нечего было и думать об организованной эвакуации населения. Между тем, потеря квалифицированных заводских кадров была недопустима. Двухмесячный аванс решено было выдать затем, чтобы рабочие не оставались в Москве, под немца, а, имея на руках хоть какие-то деньги, могли выбираться своими средствами, кто как может. В расчет принималось, конечно, и то, что такая мера подогреет симпатии рабочего люда к правительству: аванс бросали как подкуп, взятку.

Когда рабочие пришли в конторы получать зарплату, они нашли там только плачущих машинисток, картотетчиц, делопроизводителей. Директора, бухгалтеры, кассиры бежали. В партийных и профсоюзных комитетах — никого: брошены столы, шкафы, бумаги. При каждом заводе имелся ОРС — отдел рабочего снабжения. Верхушка, захватывая грузовики, опустошала орсовские продовольственные склады. Автомашины катили по Ярославскому шоссе, шоссе Энтузиастов (бывшей Владимирке), пробирались слободскими уличками на восточные окраины города. На заставах, установленных рабочими, потрошили чемоданы, находили пачки денег, перевязанные шпагатом, в банковской упаковке. Повсюду происходили сцены, подобные той, какую мы видели на Ярославском шоссе, у Тарасовки.

Волнение перекинулось от заводов на всю столицу. В

громадном и сложном аппарате обломились зубья ведущей шестерни: машина застопорила. На тротуарах было черно — шевелились люди. Погрузив Сосниных, мы тронулись от вокзала по Садовой. Неподалеку, в сереньком свете дня возвышались стеклянные стены наркоматских зданий — земледелия и путей сообщения. Наркоматы по утрам всасывали тьмутьмущую служащих, теперь там не работали, лепились в окнах, кишели в вестибюлях, выбегали на улицу. Наэлектризованная толпа жадно ловила слухи. Публику, однако, сдерживало то, что ждали Пронина: выступит и объяснит, в чем дело, чего ждать, к чему приготовиться. В эту минуту народу надо было в кого-то верить, кому-то довериться: верили в Пронина, голову столицы. Но оказалось, что Пронина тоже... ищи ветра в поле! Накопившийся заряд разрядился. Трахнула молния.

На Садовой, рядом с Курской станцией метрополитена, тускло блестели витрины большого «Продмага». За стеклами громоздились деревянные раскрашенные муляжи колбас, окороков, горки пустых конфетных коробок. Внутри шла небойкая торговля мелкой рыбешкой — снетками, яичным порошком, который выдавали по карточкам на «мясные» талоны. Наискось пересекая широкую улицу, к магазину бежали четверо молодых парней. Меловые лица, горящие глаза... — так бегут в штыковую атаку. Не добегая до тротуара, один развернулся и надорванным голосом крикнул:

— Громи!

Булыжник полетел в витрину. Посыпалось стекло. Повалились окорока и колбасы. Красный деревянный шар, изображавший головку сыра, упал на тротуар и, игрушечный, покатился по асфальту. Толпа дрогнула, обожженная внезапной и злой решимостью.

— А-а-а!

Точно сговорившись, сотни людей — бледных, искривленных криком — ворвались в магазин. Продавщицы побежали вдоль прилавков, стиснулись в узкой двери. Широкозадая директорша, сбрасывая на ходу белый халат, нырнула по черному ходу. В безрассудной слепой ненависти народ колотил зеркальные простенки, опрокидывал бочки с протухшими снетками, хлюпал по рассолу, растекавшемуся лужей по плиткам клетчатого пола.

— А-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а!

Возрастающим снежным комом катился крик по широкой улице, огибавшей кольцом Москву. Волны, как в наводнение,

подымались, пенились, разливались перекатами по городу. На Тверской, Мясницкой, Покровке, Маросейке... хряпали удары, взлетали булыжники, кирпичи. Вспыхивали пожары, несло клубы черного дыма.

Для Юхнова всё это было точно праздник. Еще в Тарасовке он развеселился, как подвыпивший. Дурачился всю дорогу. Увидит на шоссе толпу, которая грабит машину, — высунется из кабинки, помашет пилоткой. В толпе заметит скучного ограбленного трестовика — приставит к носу расшеперенную пятерню и вывалит язык, подразнится. Обнимая меня, орал в ухо:

— Михалыч, сколько лет мы с тобой знакомы? Десять, если не больше? Не позабыл еще нашу олонецкую сторонку? Ты, чорт, сибиряк, пень таежный, а мне-то она родная. Э-эх...

...Расплескалось в изумрудном плаче
Озеро олонецкое Лаче...

— Ты, Михалыч, не думай, я тоже знаю из стишков. На эти олонецкие озера я, может, двести сажен холста исписал...

Детка хрустел педалями. Отвалившись к дверце и ворочая круглыми, как картечины, глазами, Юхнов хрипло голосил песню. Ветер рвал слова песни, крутил в душе Юхнова пьяную, радостную мятелицу.

По асфальтовому шоссе перебегали люди. Кое-кто тащил выхваченные пригоршнями из бочки селедки, — рассол сочился меж пальцами. Один, более удачливый, шел с непокрытой головой и оттопыренными карманами: в карманах белелись пачки масла, торчала коробка какао, под мышкой — бутылка вина, а кепка нагружена до верху рисом. Обнажая в улыбке зубы, он ответил на вопрос Юхнова:

— Из Селекта!

Детка повернул от Садовой налево — к Сретенке. Магазин «Селект» все годы, даже при свободной торговле, когда карточки были отменены, оставался на положении закрытого распределителя. По соседству с Лубянкой (НКВД) и Кузнецким мостом (Наркоминделом), магазин обслуживал избранную публику — наркомвнудельцев, дипломатов, коминтерновцев, лауреатов сталинской премии. Теперь народу выпала удача познакомиться с кладовыми «Селекта».

По Лубянской площади третий день не ходили трамваи. Улицы перегораживались баррикадами. Бойцы нестроевого рабочего батальона кололи пешнями асфальт и в открывшиеся

песчаные дыры врывали толстые бревна — сваи. Бревенчатые рамы закладывали туго набитыми песком кулями. Бойцы-строители были одеты пестро — в шинелях, бушлатах, деревенских домотканных армяках. На одном торчала несуразно высокая папаха из рыжей телячьей шкуры. Он показывал на темные фигурки, бежавшие от Охотного ряда на взгорье Лубянской площади:

— Ванька, казаки скачут! Видал?

В сыром воздухе мокро хлопнул выстрел. Плескались крики:

— ы-ы-ы-ы! а-а-а-а!

Возле другой баррикады мужики стояли, сворачивали цыгарки и хохотали. Мальчишка в форме «ремесленника», обминая песок, топтался на желтом сыпучем навале и оделял бойцов табаком из продолговатой фунтовой пачки.

— Одну захватил, ей бо, одну! — божился он. — На Петровке в табачном... разбили подчистую. Там сигары были, этто да-а! Мне не досталось. Одна пачка! Кабы другую имел, отдал бы вам с полным удовольствием.

— Войско, говоришь, на Петровке? — спросил мужик.

— Истребительный батальон, — утвердительно кивнул мальчишка. — И, вытерев рукавом пухлые губы, вымазанные липкой патокой, добавил: — Я пошел, а то не позволяют в кучи собираться. Паникеров стреляют на месте.

Донесся цокот копыт, клокочущий конский храп, раскатистые и гневные окрики:

— Па-ачему толпа? Что здесь происходит?

Отряд автоматчиков. Наискось срезанные петлички показывали, что это бойцы особого — истребительного — батальона. Всадник в фуражке с голубым верхом и красным околышем, скакавший впереди, натянул поводья, приостановился. Привстав на стремена, из-за вскинутой конской морды, он посмотрел вниз по Кузнецкому мосту. Круто повернул и поскакал по Сретенке.

Нехорошее чувство подсказывало, что дикому и слепому разгулу, вызванному, конечно, внутренними причинами, предательством «руководящей» верхушки, помогают так же действовавшие в толпе немецкие агенты. На перекрестке, высунувшись из кабинки, я перекинулся словом с Сосниным — он стоял в кузове, темный лицом, со сдвинутыми бровями. Но после Лубянки, на Никольской улице, он вдруг захохотал и кулаками забарабанил по кабине. Крылатые брови Людмилы — потихоньку плакавшей — переломились и запрыгали от

смеха. На балконе третьего этажа стояла полная растрепанная дама. У ее ног лежали ворохом книги, выметенные из комнаты. Она нагибалась, брала книгу и с силой раздирала. Клочки бумаги летели на прохожих, которые останавливались и, смеясь, задирали головы. Хлопали, падая, пустые переплеты. На лицевой стороне был оттиснут черным крутолобый, с остренькой бородкой силуэт Ленина . . .

Михаил Коряков

(Окончание следует)

"СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ"

(Отчет-Воспоминания)

Так случилось, что из пятичленной редакции «Современных Записок» остался в живых один я.

Раньше других ушел Александр Исаевич Гуковский. Он сам положил конец трудам и дням своим в Париже 17 января 1925 года. От жестокого недуга скончался в По, накануне отъезда в Америку, Вадим Викторович Руднев — 19 ноября 1941 года. Десятью месяцами позже, 19 сентября 1942 года, принял мученическую смерть от нацистских рук в Аушвице Илья Исидорович Фондаминский-Бунаков. И 4 марта 1942 г. умер в Нью Иорке, от болезни, схожей с болезнью Руднева, Николай Дмитриевич Авксентьев.

Дать отчет о том, как создавались и сложились «С. З.» — плод многих трудов и общих усилий, волнений, страстей, размышлений, — мой общественный долг. В свое время покойный Руднев, описывая торжество по поводу выхода 50-ой книги журнала, указывал, что «С. З.» «не наше групповое только дело, они в какой-то мере — достояние общеэмигрантское. Это достояние лишь доверено нам, и мы обязаны отчетом в будущем перед Россией, в настоящем — перед русским зарубежьем за сделанное нами из него употребление» (51-ая книга, стр. 431). В том, чтобы рассказать, как это было, я вижу вместе с тем и свой личный долг — по отношению к ушедшим друзьям и товарищам, с которыми меня связывало политическое единомыслие в течение десятков лет на родине и на чужбине.

Я не собираюсь писать некролога, и, потому, не обязан ни преувеличивать, ни приукрашать — говорить о покойных «одно хорошее». И какой смысл может иметь умолчание о разногласиях — идеологических прежде всего? И ушедшие от нас не всегда и далеко не во всем соглашались друг с другом. Могло ли быть иначе в живом деле на протяжении двух десятилетий?

Я сознательно отказываюсь быть панегиристом журнала

или апологетом тех, кто его создали, и не только потому, что считал и считаю правду выше дружбы даже с Платоном, — но и из чувства живой любви и уважения к памяти ушедших друзей.

Конечно, нет ничего легче, как быть правдивым за чужой счет — за счет своего ближнего. Но в данном случае, говоря о своих интимных друзьях и единомышленниках, автор говорит тем самым ведь и о себе самом! . . На безгрешность своих суждений я не претендую. Умолчу о немногом — главным образом, о заключительном периоде «С. З.». О том же, о чем буду говорить, буду говорить, стараясь не считаться ни с дружбой, ни с духовным или политическим родством.

Двадцатилетие, связанное с изданием «С. З.», 1920—1940 гг., составляет некое целое, — чтобы не сказать: единство, — в моей личной жизни и в истории русской политической эмиграции.

За сравнительно долгую свою жизнь, которая и географически протекала под разными долготами и широтами, и политически — в самых разнообразных условиях, период, связанный с работой в «С. З.», давал мне едва ли не наибольшее внутреннее удовлетворение. В этом ощущении заброшенного в эмиграцию было, вероятно, нечто схожее с описанным А. В. Пешехоновым в «Почему я не эмигрировал?», — перед тем, как его снова потянуло из вынужденной эмиграции в СССР. В первые годы советской жизни, писал Пешехонов, физический труд и хозяйственные заботы «ослабляли гнетущее ощущение ее пустоты и бесплодности. Сходишь, бывало, за водой . . . и чувствуешь удовлетворение: вот она — вода-то! точно так же, наколешь дров — и радуешься: результаты очевидны. Не так, как на советской службе, где работаешь-работаешь, а всё без толку». (Стр. 21).

Вот они — 70 томов «С. З.» — овеществленная энергия, страсти, творчество, часто черный и неблагодарный труд. Что́ бы ни случилось, — а что только уже не случилось, — э т о г о никто не отнимет, не вычеркнет из нашей жизни, из жизни русской эмиграции большевистского периода русской истории. Все, кто так или иначе оказались причастны к «С. З.», не только жили-были, но кое-что и делали в эмиграции. Они могут нечто предъявить.

«Когда нас спросят, в чем оправдание вашего пребывания

в эмиграции, мы покажем на томы «С. З.», — любил говорить мой ближайший друг и пестун журнала, несколько переоценивавший, на мой взгляд, его значение, Фондаминский.

Чувство личной удовлетворенности питалось, может быть, и другим источником — природной склонностью к литературной и академической работе, к культуре, а не политике. Не одно поколение русской интеллигенции вынуждено было оставлять науку и культуру ради политики. И когда обстоятельства сложились так, что политики и революционеры, ставшие ими волею самодержавного правительства, очутились уже волею большевистской диктатуры, в эмиграции, вне возможности заниматься активной политикой, — они, естественно, устремились к тому, к чему их влекли природа и профессия: к столу и бумаге, к книге и письму.

Сказанное относится не только к пишущему эти строки, но и к его товарищам по изданию журнала. Этой внутренней стороне, тому, что ощущали редакторы «С. З.», благоприятствовали и внешние обстоятельства — второй половины 1920 года, когда задуман был «толстый журнал» в эмиграции и для эмиграции.

«С. З.» возникли после поражения русской революции и торжества большевиков на всех фронтах. В прошлое ушли не только демократические правительства: крымское, во главе с С. С. Крымом, Архангельское, возглавлявшееся Н. В. Чайковским и уфимско-омская Директория во главе с Н. Д. Авксентьевым. Поражение потерпели и те, кто их сменили в уверенности, что демократы-«полубольшевики» бессильны в борьбе с большевиками: генералы Миллер и Деникин, адмирал Колчак и ген. Врангель. Первая книга «С. З.» заканчивалась печатанием в те самые дни, когда последние пароходы, шхуны, парусники, ялики покидали Крым, увозя в изгнание армию Врангеля с ее воинской дисциплиной и психологией.

К концу 20-го года численно преобладающим типом в новой эмиграции оказался профессиональный «боец» — участник мировой и гражданской войн на множестве разных фронтов. В эмиграцию ушли и истинно-русские патриоты, и «не знающий отечества» капитал, запасливо заручившийся, наряду с отечественным паспортом, и румынским, польским или грузинским. Очутились в эмиграции и те, кто физиологически «не стерпели мертвого духа», советской «мертвой человечины», по выражению замечательной сказки-миниатюры, написанной Замятиным в 1922 году. Сюда же переместились и центры политической эмиграции в собственном смысле слова:

кто находился в эмиграции в пору самодержавия и кого сделала эмигрантами диктатура большевиков.

Много раз пытались подсчитать русскую эмиграцию. Ее исчисляли миллионами — в полтора, в два и даже четыре миллиона, что было несомненным преувеличением, — и сотнями тысяч, в 700-800 тысяч. Безотносительно к своей численности, качественно эмиграция представляла хаотическое смешение «племен, наречий, состояний» и политических верований. Не всегда можно было отличить отсебятину самозванца, политического одиночки из былых «правителей», от голоса обывательской беженской массы или ответственных руководителей. После испытанной катастрофы люди разочаровались и утратили веру во всё и во всех, каждый становился своим собственным лидером, чтобы позднее сделаться собственным своим историком.

Это не попытка дать исторический фон или описать «базис», на котором, как его «надстройка», возникли «С. З.». Это лишь напоминание о той общей обстановке, в которой создавался журнал, и о той среде, с которой он был вынужден считаться, если хотел жить и иметь влияние. Необходимо со всей определенностью подчеркнуть, что «С. З.» складывались далеко не всегда и далеко не во всем согласно плану и желанию. Многое получалось в итоге сознательных усилий. Но многое получилось и непредумышленно — в результате практической нужды, от книги к книге, в процессе редакционной работы. Подобно системе британского парламентаризма, это произошло «само собой», в силу часто случайных обстоятельств, — которые, в частности, дали материальную возможность начать издание толстого журнала и которые определили личный состав его редакции.

***

К половине 20-го года в эмиграции — в частности, в Париже — оказались многие видные эс-эры*). Оказались среди них и недавние члены Временного Правительства; в их числе — А. Ф. Керенский.

Благодаря личным связям и авторитету А. Ф. удалось

*) Социал-демократы в своем большинстве, как известно, не приняли участия в вооруженной борьбе против захвативших власть большевиков. Они еще пользовались советской легальностью и в эмиграцию попали позднее — лишь в 22-ом году.

добиться у Томаса Масарика и Эдуарда Бенеша формального обещания оказать материальное содействие делу русской свободы и культуры. Этот дружественный со стороны чехов акт был тем более великодушен, что, в отличие от последующей чешской «акции» по отношению к русским и украинским эмигрантам, не связывал обязательством пребывания в Чехо-Словакии лиц и учреждений, которым оказывалась помощь.

В начале июля 1920-го года, закончив переговоры в Праге, Керенский созвал в Париже совещание своих ближайших единомышленников, — по преимуществу, эс-эров, около 30 человек, среди которых были и один-другой эс-дек и эн-эс. Собрание в течение нескольких дней обсуждало общее политическое положение и вытекавшие из него для русской демократической эмиграции задачи.

При наличности многих разногласий все одинаково сознавали, что в создавшейся обстановке многое приходится начинать, если не с «азов», то сызнова. И прежде всего — уяснить себе и другим причины катастрофы и крушения русской демократии. Естественно, что в этом плане пропаганда — не в американском, пежоративном смысле этого слова, — выдвинулась на первое место. Решено было, поэтому, наряду с ежедневной газетой (будущая «Воля России» в Праге и «Дни» в Берлине и Париже) и издательством книг, брошюр и листовок, приступить к изданию и толстого журнала, традиционного для русского интеллигентского сознания.

Собравшиеся разделились на группы. Каждой из них дано было свое задание — на началах полной автономии. Журнал был поручен первоначально — М. В. Вишняку, К. Р. Кочаровскому и Е. А. Сталинскому. Но Кочаровский был далеко, в Италии, вне пределов ближайшей досягаемости. С другой стороны, А. И. Гуковский заявил, что предпочитает работу в журнале всякой другой. Такое же заявление в частном порядке сделал и В. В. Руднев, намеченный было ответственным руководителем по изданию листовок, брошюр и книг. Сталинский без возражений принял предложение перейти в редакцию газеты, и первоначальное ядро будущего журнала составилось из — Вишняка, Гуковского и Руднева.

На первом же собрании редакционной «тройки» все ощутили крайнюю слабость своих сил и признали недостаточную подготовленность к осуществлению возложенного на них большого и ответственного дела. Мы решили прежде всего прибегнуть к помощи наших испытанных друзей и единомышленников. Таковыми мы с Рудневым считали Авксентьева и

Фондаминского. Гуковский также относился к ним обоим с большим уважением и сочувствием. Втроем отправились мы к нашим друзьям — приглашать их войти в редакцию, чтобы совместно впрячься в общее дело.

С Авксентьевым разговор был чрезвычайно кратким. Дружески аффектируя свою признательность за «честь», он тут же согласился войти в редакцию и всячески помочь. Сложнее обстояло дело с Фондаминским. Он наотрез отказался войти в «партийный» журнал и «партийную» редакцию. Другое дело, если бы журнал был межпартийным и редакция коалиционной!.. Вот как «Грядущая Россия»!..

Два томика «Грядущей России» вышли в 1919-20 гг. под редакцией М. А. Алданова, проф. В. Анри, Алексея Н. Толстого и Н. В. Чайковского. Средства на издание добыл Толстой у мецената-промышленника Денисова, — отплатив ему за то каррикатурным изображением в одном из последующих своих романов. Денисову надоело субсидировать — сравнительно щедро — «Грядущую Россию», и в начале 20-го года она приказала долго жить.

Но образ ее продолжал жить в сознании Фондаминского, — среди других авторов поместившего там пространную статью о «Союзническом мире»*). И. И. решительно отказывался от участия в чисто-эсэровской редакции. Он приводил доводы и общего, и личного порядка, — аргументировал не только от своих взглядов, но и от того впечатления, которое произведет однопартийный состав редакции на читательскую аудиторию и на писателей, к которым обратится редакция за сотрудничеством.

— Никто к нам не пойдет!.. У нас нет ни авторитета, ни опыта!.. Ничего из этого не выйдет, не может выйти!..

Нельзя сказать, чтобы мы целиком отвергали все доводы И. И. Кое в чем мы сами сомневались и вообще были не вполне уверены в успехе своего начинания. Но трудностям и препятствиям мы не придавали решающего значения. Не переоценивая собственных сил, мы все же не расценивали положения так безнадежно, как это склонен был в данном случае делать оптимист по натуре и убеждению, Фондаминский.

---

*) Превосходная по форме, эта статья может и сейчас служить классическим образцом того, что по-английски именуется «Wishful thinking», т. е. никакими фактами неоправдываемым представлением о желательном или о том, что могло бы быть, но, увы, ни в какой мере не было.

В конце концов, в порядке чуть ли не личной уступки и одолжения друзьям, Фондаминский всё-таки согласился войти в журнал и делу помочь. В порядке же уступки его настроениям, не вовсе чуждым, как сказано, и другим, решено было не афишировать своей руководящей роли в журнале. Решено было поставить, вместо обычного, но в данном случае могущего отпугнуть: «Под редакцией», — менее претенциозное и меньше возражений вызывающее: «При ближайшем участии», за которым следовали фамилии пяти эс-эров.

Повторяю, мы все отлично понимали, что настроения Фондаминского не были результатом личного его каприза. И мы не замедлили убедиться, что эти настроения присущи многим, даже сочувствовавшим нам и лично, и политически. Признавая себя недостаточно компетентными в области художественной литературы и критики, мы решили предложить М. А. Алданову, нашему общему приятелю и редактору недавно закрывшейся «Грядущей России», взять на себя заведывание литературно-художественным отделом. Невзирая на свое стесненное материальное положение, Алданов вежливо отклонил предложение: сочувствуя делу, он все же предпочитал посмотреть, что из эсэровского начинания получится, — какова будет «физиономия» журнала.

Мы начали журнал собственными силами. Нашим консультантом по стихотворному отделу — сначала негласным, а потом и гласным — согласился быть наш общий друг М. О. Цетлин.

***

Вторая половина июля — глухое лето, мертвый сезон в Париже, самое неподходящее время для подготовки выпуска журнала. Пользуясь досугом мы с Рудневым — оба без службы или обязательной работы — провели несколько недель на берегу Атлантического океана, в Ронс-лэ-Бэн, недалеко от Руаяна. Мы не переставали обмениваться мнениями о будущем журнале: об общем и о частностях — о «программе» журнала и его объеме, о сотрудниках, которых надо залучить, о технике печатания, выпуска, распространения.

По возвращении в Париж приступили к подготовительной работе. Организационно-техническая сторона легла главным образом на Руднева. Это определилось само собой: Руднев пользовался известностью как организатор не только в партийной среде. И он с большим увлечением и энергией взялся за дело: собирал сметы набора и печати, выбирал бумагу и

шрифты, цвет обложки, рамочку и т. д. На редакционных собраниях сообща принимались все решения — и технического характера. Установили тираж первой книжки в две тысячи экземпляров, а там — «видно будет».

Но как назвать журнал?

Название никак не давалось. Какое ни предлагали — каждый из нас и те, кого мы в частном порядке консультировали, — всякое вызывало сомнения и возражения: ничего не говорит — бесцветно и шаблонно; или, наоборот, — слишком о многом говорит и ко многому обязывает. В конце концов, остановились на подсказанном со стороны довольно всё же рискованном сочетании двух знаменитейших названий. Т. И. Полнер предложил назвать новый журнал Современные Записки в память или в честь Современника и Отечественных Записок. Не без внутреннего сопротивления, за отсутствием более счастливого названия, мы на этом и порешили.

После наречения журнала стал вопрос о том, чтобы раскрыть его смысл и оформить задачи. Проект заявления «От Редакции», своего рода «программу» журнала, вызвался составить опять же Руднев. Раньше Руднев не проявлял особой склонности к литературной работе. Он предпочитал не писать, а просматривать и исправлять — «редактировать» писания других, — тех, к кому он обращался за помощью при составлении публичной речи, резолюции, воззвания и т. п. Тем неожиданнее была его готовность. Руднев отлично справился с задачей. Предложенный им проект после тщательного обсуждения и немногочисленных поправок был всеми одобрен.

И первая книжка «С. З.» открывается двухстраничным заявлением «От Редакции», которое, на мой взгляд, даже на расстоянии 27 лет выдерживает испытание временем. Интересующийся может прочесть это заявление полностью в журнале. Здесь приведу только несколько извлечений, чтобы показать общую всем членам редакции политическую и идеологическую настроенность в то время, когда журнал зачинался. Это существенно и для понимания последующих наших расхождений в идеологии и редакционной политике, и для учета «эволюции» журнала, если таковую признавать. Забегая вперед, скажу, что в последующем я не раз благодарил судьбу, что не мне пришлось быть автором нашего общего редакционного Credo: ссылка на него, как нерушимый и обязательный для всех текст нашей «конституции», носила тем самым более объективный и неоспоримый характер.

В заявлении говорилось, что журнал посвящен «прежде всего интересам русской культуры», и поэтому открывает широко свои страницы, «устраняя вопрос о принадлежности авторов к той или иной политической группировке, для всего, что в области ли художественного творчества, научного исследования или искания общественного идеала, представляет объективную ценность с точки зрения русской культуры. Редакция полагает, что границы свободы суждения авторов должны быть особенно широки теперь, когда нет ни одной идеологии, которая не нуждалась бы в критической проверке при свете совершающихся грозных мировых событий».

Редакция подчеркивала вместе с тем, что, будучи внепартийным органом, «С. З.» намерены «проводить ту демократическую программу, которая, как итог русского освободительного движения XIX и начала XX века, была провозглашена и воспринята народами России в мартовские дни 1917 года». Приведя основные требования этой программы, заявление оговаривало, что «лаконические и потому упрощенные формулы в отношении сложных и больных вопросов скорее вредны, чем полезны». Тем не менее редакция считала необходимым установить «основную свою точку зрения: что воссоздание России несовместимо с существованием большевистской власти; что оно возможно лишь в меру самодеятельности внутренних сил самого русского народа и что разрешение этой задачи, непосильной ни для одной партии или класса в отдельности, требует объединенных усилий всех, искренне порвавших со старым строем и ставших на сторону революции 1917 года».

В заключение отмечалось, что журнал не стремится стать «боевым политическим органом, неизбежно заостряющим свои лозунги и способным поэтому объединить лишь тесную группу единомышленников». Редакция обещала, что «С. З.» будут «органом независимого и непредвзятого суждения о всех явлениях современности».

***

Постепенно стали оформляться функции каждого из членов редакции. Они распределились по естественному влечению и профессиональным навыкам. Затрачиваемый труд признавался общественной службой (по Гнейсту), то-есть должен был быть безмездным и оплате подлежал только в том случае, если, посвящая свое время и труд журналу, человек не имел иных

средств существования — личных средств или заработка по другой службе.

Фондаминский долго не соглашался войти в состав редакции журнала, но, войдя, сразу стал его наиболее пламенным и восторженным пропагандистом. Это отвечало его характеру: всем, чем он ни занимался, он занимался с воодушевлением. С кем бы и где бы он ни встречался, он прежде всего и больше всего говорил о «С. З.». Он сделался почти «одержим» журналом. «С. З.» стали главной заботой, едва ли не центром жизни и мысли И. И. в течение первых десяти лет существования журнала.

Заданием Фондаминского было держать связь журнала со внешним миром — в первую очередь с авторами, в своем большинстве относившимися недоверчиво, а то и с открытой враждой, к «этим эсэрам», «двоюродным братьям большевиков» и т. п. И. И. был лично связан с рядом выдающихся писателей, раньше или позже очутившихся в эмиграции. С Алексеем Толстым и Н. Н. Крандиевской Фондаминский сблизился во время совместной эвакуации из Одессы морем на «Кавказе». С З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковским он был интимно близок, даже «на ты», еще со времен эмиграции царского времени. И. И. подружился и с И. А. Буниным, когда тот появился в Париже: Бунины на лето стали снимать ту же виллу в Грассе, в которой из года в год стали проводить зиму и весну Фондаминские. То же произошло и с называющим себя ныне «американским писателем» В. В. Сириным-Набоковым и другими.

Фондаминский придавал исключительное значение привлечению в журнал «знаменитостей» — беллетристов, поэтов, ученых с именем. Это соответствовало общему его настроению, когда былое увлечение политикой сменилось таким же увлечением — даже переоценкой — значения культуры и науки в переустройстве жизни человека и общества. По крайней мере внешне, Фондаминский преклонялся и совершенно стушевывался перед составившими себе имя в литературе, науке, культуре. Это помогло Фондаминскому справиться со своей миссией. Тому способствовали и другие качества И. И.: заражающая и скептического собеседника искренность и обаятельность, чисто-юношеское воодушевление, убежденность и убедительность доводов. Фондаминский знал, что чарование, или «обволакивание» — великая сила и что «шармируя» можно часто достигнуть того, чего никакими другими средствами не достичь.

Так или иначе — своим ли личным обаянием или расчитанным воздействием на честолюбие и другие черты писателя, но И. И. неизменно удавалось заполучить в журнал всех нужных и желательных редакции авторов. До появления в эмиграции Бунина и Мережковских наиболее видным и талантливым был, конечно, Алексей Толстой. Начавшееся печатанием еще в «Грядущей России», «Хождение по мукам» Толстой отдал «С. З.», и роман этот печатался у нас — в первых семи книжках журнала — до самого того времени, как неожиданно для всех Толстой откочевал в СССР, чтобы там закончить свое «Хождение по мукам» уже в новом советском ключе.

Фактическое участие Авксентьева в редактировании журнала было кратковременным — лишь в самое первое время. Позднее он принимал участие в заседаниях редакции только в исключительных случаях. Он продолжал оставаться ценным «мужем совета» и никогда не отказывался выступать публично — устно или печатно — от имени «С. З.»: ряд заметок и статей, юбилейных и некрологических, за подписью «Редакция», принадлежит перу Авксентьева.

Гуковский и я считались главной публицистической силой «С. З.». Наши статьи отнюдь не должны были исчерпать общественно-политические высказывания журнала. Наоборот, мы всячески старались приумножить и укрепить журнал привлечением родственных и близких нам по устремлениям сотрудников. Но по первоначальному заданию на нас двоих в первую очередь ложилась обязанность оформлять и развивать намеченную в заявлении «От Редакции» общественно-политическую «программу».

А. И. Гуковский был известен, как опытный и даровитый публицист, писавший в «Русском Богатстве» и в ряде провинциальных газет. Он был также одним из редакторов эсэровских газет в героическую пору первой Государственной Думы, когда эти издания, как и другие, сверкали яркими дарованиями.

За мной ко времени создания «С. З.» было 15 лет «гастролерской литературной работы; за своей подписью и под многочисленными псевдонимами, почти во всех эсэровских изданиях, — начиная с «Революционной России» и «Знамени Труда», и продолжая «Заветами» и в ряде органов общей печати, как «Русское Богатство», «Образование», «Право», «Вестник Права», «Русские Ведомости».

Мы поделили с Гуковским технические обязанности. А. И. взял на себя кассу и счетоводство, я — обязанности секретаря и выпускающего. Когда печатание журнала было

перенесено в Берлин и А. И. переехал временно туда, я держал связь Парижа и редакции с ее представителем в Берлине, куда в первую очередь прибывали высланные и бежавшие из России эмигранты, в частности, писатели и ученые.

Первые годы «С. З.» были самыми трудными в составлении и редактировании журнала. Не было ни опыта, ни прецедентов, ни авторитета, ни симпатий. Все это пришло, не сразу и не легко, но пришло — и даже в неожиданных размерах*).

«Лиха беда» была «начать». Но за первыми беллетристами и поэтами — за Ал. Толстым и Бальмонтом, Алдановым и Цветаевой, Волошиным, Ремизовым, Сириным, Гребенщиковым — пошли и другие и потянули за собой: Гиппиус, Вячеслава Иванова, Юшкевича, Андрея Белого (находясь в Берлине, он давал свои вещи для каждой очередной книжки: с 11-ой по 17-ую*), Замятина, Ходасевича, Зайцева, Шмелева, Мережковского, Бунина (с 18-ой книги), Осоргина, Муратова, Газданова, Куприна и т. д. и т. д. С полной категоричностью можно было утверждать, что свое обещание дать место всему, что в художественном творчестве представляет объективную ценность, «устраняя вопрос о принадлежности авторов к той или иной политической группировке», редакция «С. З.» сдержала. Остракизму не был подвергнут никто.

Постепенно мы оказались в счастливом положении — могли выбирать, а не брать всё, что нам предлагали. Уже некому было нас заподазривать в «партийности». Редакцию и журнал стали упрекать и в частных беседах, и в печати уже в противоположном: в чрезмерной терпимости и «эклектичности», или безразличии и равнодушии к художественным стилям и формам, в подчинении политики культуре.

В этом была доля правды, поскольку никто из нас и не претендовал на роль arbiter elegantiarum, или судьи в художественной области. Вместе с тем, однако, наша «широта» была и предумышленной, входила элементом в нашу редакционную политику: по условиям места и времени мы считали

---

*) См. статьи, адреса, письма с признанием заслуг и достижений «С. З.» в связи с выходом 50-й книги. — Книга 51, стр. 431-453.

**) Вернувшись на родину, Андрей Белый наговорил немало злых и жестоких слов по адресу эмиграции и, в частности, писателей-эмигрантов. Посмертное признание Белого советской властью получило недавно следующее выражение: Андрей Белый — «один из лидеров символистов, представитель реакционного мракобесия и ренегатства в политике и искусстве». — Правда от 18 июля 1947 г.

для себя обязательным расширить свободу суждения даже в политической области, а не только в художественной.

Приблизительно так же протекал и процесс приобщения к журналу сотрудников по вопросам общественным и политическим. Сначала к нам пошли историки, философы, юристы, не связанные с партийными группировками и партийные диссиденты, как — Л. И. Шестов, М. И. Ростовцев, Б. Э. Нольде, С. А. Корф, С. О. Загорский, А. А. Чупров, Ст. Иванович, подписывавший свои лучшие очерки В. И. Талин, и др. Пример был заразителен и, когда в 22-23 гг. советская власть удалила из России ненужных власти виднейших русских ученых и общественников, почти все они, невзирая на различие во взглядах, оказались сотрудниками «С. З.». А. А. Кизеветтер и Н. А. Бердяев, Е. Д. Кускова и С. П. Мельгунов, Н. О. Лосский и М. А. Осоргин раньше или позже поделились своим восприятием России и мира в свете советского опыта. Тем самым частично восстанавливалось и прямое осведомление читателей журнала о том, что происходило в России.

Некоторые из вновь прибывших, как Кизеветтер и Осоргин, стали писать в журнале из книги в книгу, сделались как бы неотъемлемым элементом «С. З.». Другие только промелькнули раз-другой, чтобы навсегда исчезнуть: уйти в свой журнал или в другие издания. Ближе всех подошел к журналу, а потом и вошел в него, в качестве заведующего литературно-художественным отделом, — Федор Августович Степун. Продолжая жить и профессорствовать в Дрездене, Степун не только числился на службе «С. З.», — он и выполнял добросовестнейшим образом свои обязанности: присылал свои «заключения» по всем поступавшим в редакцию рукописям литературно-художественного порядка. Эти заключения были всегда подробно аргументированы, живы, иногда блестящи. С мнением Степуна редакция всегда считалась — принимала к руководству, а часто и к исполнению. Безоговорочную поддержку Степун неизменно встречал со стороны лишь одного Фондаминского.

На страницах «С. З.» стали появляться произведения не только авторов, вынужденных покинуть Россию, но и там остававшихся. Так в 7-ой книжке журнала было напечатано «Письмо из России» некоего «Х», вскоре после этого публично заявившего в советской прессе о готовности заново переучиваться политической мудрости хотя бы у советских пионеров и до сего времени подвизающегося на посту одного из наиболее неистовых обличителей западной демократии, «бело-эми-

грантов» и т. д. Появились в «С. З.» «Шесть писем» В. Г. Короленко к Луначарскому и его же «Наблюдения, размышления, заметки» (книги 9 и 11-14). Впервые были напечатаны и привезенные из России «Листки из записной книжки» и «Путевые записки» Льва Толстого, равно как и неизданные варианты его «Казаков» (книги 18, 26 и 36).

Упоминаю об этом для того, чтобы показать, как постепенно наростал и ширился авторитет «С. З.». Уже не нам надо было искать и убеждать, — нас искали. Благоприятного отзыва «С. З.», как высшего признания, домогались весьма маститые авторы. Для начинающих же помещение в «С. З.» считалось как бы аттестатом на литературную, художественную или публицистическую зрелость.

Мы старались, как могли, не отставать от роста популярности журнала. Самый объем журнала стал всё увеличиваться. Мы начали с 300 страниц, но очень часто выпускали книги объемом свыше 400 и даже свыше 500 страниц. Зато от обозначения «С. З.» ежемесячным журналом очень скоро пришлось отказаться: в условиях эмиграции и в намеченных нами целях ежемесячно выпускать толстый журнал стало объективно невозможным. Мы убедились в этом в течение первого же года, когда выпустили всего 7 книг. Уже с 7-ой книги указание на ежемесячный характер журнала отпало. За второй год издания было выпущено всего 5, а там по 4 и даже всего по 3 книги в год. Из ежемесячника «С. З.» фактически превратились в трех- и даже четырехмесячник; в 1938 и 1939 гг. удалось выпустить всего по 2 книги за год; наконец, последняя, 70-ая, вышла в начале 1940 года, приблизительно в том же объеме, что и 1-ая.

В литературном материале чем дальше, тем всё меньше испытывали мы нужду. Но в средствах для издания нужда стала ощущаться, всё наростая, сравнительно скоро. Дотация в обещанных размерах выплачивалась всего несколько месяцев. Затем пошли сокращения — всё более и более чувствительные. На самоокупаемость журнала расчитывать не приходилось: эмиграция была не в силах покупать журнал по его действительной стоимости, — была в общем слишком для этого бедна. С неизбежным, поэтому, дефицитом мы старались бороться, как могли. Прибегали к содействию наших русских и чешских друзей в Праге, пробовали разные формы коммерческой техники, чтобы увеличить растространение журнала и поступления от оптовой и розничной продажи.

Надо признать, что технически — и материально — распространение и продажа «С. З.» были поставлены неудовлетворительно. Частью это, конечно, должно быть отнесено на счет нашей собственной непрактичности и неумения, но едва ли не в большей части — на счет недостаточной добросовестности многих книгопродавцев того времени, питавшейся общим экономическим беспорядком, валютной чрезполосицей и транспортными трудностями после мировой войны.

С увеличением типографских расходов и стоимости бумаги становилось всё труднее сохранить материальную базу для издания. С повышением стоимости жизни по всей справедливости увеличивались и требования сотрудников об увеличении гонорара. Мы пробовали установить размер гонорара в зависимости от валюты страны, в которой проживает автор: более низкие гонорары для стран с низкой валютой, как Германия, Балканы, Балтика, и более высокие — для стран с высокой валютой, как Англия, Швейцария, Америка. Кроме осложнений и неприятностей эта попытка ничего не дала, и мы вернулись к общим ставкам — независимо от местопребывания автора.

Чтобы увеличить приход, было создано в 32-ом году Общество Друзей «С. З.». Оно старалось, как могло, помочь журналу, — в частности, организовало и празднование «юбилея» в связи с выходом 50-ой книги журнала. И всё же, чтобы существовать и сводить концы с концами, требовалась вся финансовая изобретательность Фондаминского по заключению займов, сборы по подписному листу и т. п.

***

Мы не только планировали и редактировали «С. З.», мы и сотрудничали в них, считая, может быть без достаточных оснований, сугубо ответственным всё, что выходило за подписью редакторов.

Реже других появлялся на страницах «С. З.» Авксентьев. Он писал только тогда, когда его о том специально просили. Писал на актуальные тактические темы, как «Сложение сил» и «Признание советской власти». Авксентьеву же принадлежат статьи о «Масарике — философе демократии», об А. И. Гуковском, Е. К. Брешковской, Н. В. Чайковском. Его статья «Patriotica» в первой книжке «С. З.» обратила на себя общее внимание, — в частности П. Б. Струве отозвался на нее в своей «Русской Мысли».

Руднев только со временем уверился в своих литературных способностях. Первоначально он не рисковал развивать собственные взгляды и предпочитал излагать чужие, а свои высказывая лишь «по поводу» и «мимоходом» — в том, что мы с Фондаминским называли «обзорчиками». Свои отзывы о книгах Руднев до 26-ой книги включительно подписывал неизменно инициалами. Позднее В. В. стал смелее, и не только подписывал полной фамилией статьи, но и стал менять темы статей. Первоначально он сосредоточился преимущественно на социально-экономических вопросах: на международном рабочем законодательстве, на судьбах русской промышленности и буржуазного строя, на русской деревне и землевладении в России. Потом он начал писать и на другие темы-религиозные, политические, даже литературоведческие.

Фондаминский задумал огромную работу исторического и историософского характера. Он и сам не знал точно, во что она выльется: не представлял себе ни размеров, ни плана. Семнадцать очерков «Путей России» — иногда совершенно невозможных для журнала размеров (7-ой очерк, например, занял 62 страницы 32-ой книги), — сохраняют и сейчас свой интерес, как своеобразная попытка по-шпенглеровски, хотя и в прямое противоречие с выводами Шпенглера, истолковать пути России, как путь Востока прежде всего.

«Пути России» привлекли к себе общественное внимание. Даже те, кто не разделяли историософии Фондаминского, отдавали должное литературной форме, в которой были написаны его очерки. И. И. придавал огромное значение этой форме. Он сначала много читал — «начитывал», как он выражался, — делая пространные выписки из прочитанного; потом долго вынашивал — точное, «выхаживал» — свои мысли прежде, чем приступал к облечению их в письмена. У него была своя манера писать: точно с разбега, перечитывая написанное раньше, иногда целые страницы, в поисках лучшего выражения и, главное, соответствия общему ритму, в котором выдержаны были все очерки. Предъявляя чрезвычайные требования к тому, что и как он пишет, к форме и даже к ритму им написанного, Фондаминский ни за что не соглашался что-нибудь изменить или сократить свои статьи. Он видел в этом как бы кощунственное покушение на свободу творчества — и всегда предпочитал отложить статью, но не оборвать ее.

Многократно просили мы Фондаминского дать журналу, параллельно с «Путями», более актуальный материал, писать

на очередные, необходимые журналу темы. И. И. постоянно уклонялся от этого. За всё время существования «С. З.» он дал лишь заметку памяти И. А. Рубановича и две рецензии на книги, смежные по теме с его работой о «Путях России».

Гуковский предложил написать для 2-ой книги о «Кризисе международного социализма». И последующие его статьи за подписью А. Северов касались аналогичных проблем социализма и внешней политики. Формалист по складу своего юридического мышления и характера, Гуковский создавал иногда нервную обстановку, затяжным обсуждением всяких вопросов. Вместе с тем он был исключительно скромным работником, относившимся критически не только к другим, но и к самому себе. Гуковский писал простым, хорошим, временами даже ярким языком. Как автор, он, к сожалению, успел дать журналу гораздо меньше того, что мог и на что мы расчитывали. В предсмертном письме к детям А. И. дал свое объяснение этому: «Пережитая душевная болезнь окончательная подорвала мои силы. Я в здравом уме, но недавнее возбуждение сменилось подавленностью духа . . . Не стало упругости, нет веры в себя, осталось одно уважение к себе, одна гордость, но нет силы жить».

После того, как Гуковский наметил себе тему внешнеполитическую, на мою долю пришлись вопросы внутренней политики — то, что в предреволюционное время именовалось «Внутренним обозрением». Гуковский подсказал мне общий заголовок для них — «На родине». Главная трудность — и отличие — состояло в том, что не только топографически автор был оторван от той среды и обстановки, которую должен был обозревать. Случайны и недостаточны были и все другие источники осведомления о том, что реально происходит на родине. Очерки постепенно стали именоваться «На родине и на чужбине», а потом — посвящаться всякого рода проблемам: не только внутренней русской политике, но и внешней, и не только политике, но и праву, идеологии, философии.

Мне приходилось учитывать то, что журнал выходит раз в три, а то и в четыре месяца и того позднее доходит до читателя, разбросанного буквально по всему земному шару. Поэтому «текущий момент» или быстро преходящие факты служили для меня лишь отправным пунктом, поводом или иллюстрацией к освещению и обсуждению проблем, если и не всегда вечных, то все же выдерживающих длительные сроки. Эту тактику я усвоил инстинктивно — в процессе работы. За

исключением 47-ой книги «С. З.», в каждом номере журнала, до 68-го включительно, имеются одна или даже несколько моих статей, рецензий, заметок, некрологов, подписанных полным именем или инициалами*).

Говоря о своем участии в «С. З.», как авторе, не могу не помянуть добрым словом друга моего, всё того же И. Фондаминского. Как сказано, я считался — и сам себя считал — более опытным автором, чем были мои коллеги по редакции. Тем не менее я никогда не был уверен, что справлюсь с задуманным мною или поставленным мне редакцией заданием. И тут я постоянно встречал не только моральную поддержку, но и прямое поощрение со стороны И. И. Даже не соглашаясь с моей теоретической, а то и политической установкой, он добродушно подшучивал над моей неуверенностью и убеждал меня писать и писать — возможно больше, углубляя тему и совершенствуя форму.

Когда стали появляться отзывы о «С. З.» и, в частности, о моих статьях, Фондаминский воспринимал их, как долю признания и его роли в том, что эти статьи были написаны. И в этом он был частично прав. При общем, в конце концов, безразличии всех ко всем, — особенно в тягостных условиях эмигрантского бытия и быта, — нельзя не подчеркнуть идейно-бескорыстную настойчивость, с которой И. И. побуждал писать даже тогда, когда публицистическая моя энергия направлялась против духовно-родственных Фондаминскому идей и лиц.

Соответственно с отношением к своему творчеству было и отношение Фондаминского к творчеству других и тем самым к своим правам и обязанностям как редактора. Он часто соглашался на печатание рукописи, не читая ее, по одному имени автора. Он считал невозможным понуждать сотрудников писать о том, что журналу требуется, а не о том, что автора интересует. Он предоставлял каждому писать, что кто думает и безотносительно к тому, в какую форму он облекает свои думы. Поэтому и исправлять рукописи он считал, как правило, никчемным, если автор не новичек и, тем более, — с именем. Толь-

*) К 26-ой книге «С. З.» приложен Указатель ко всему, до того напечатанному в журнале. Дополнительный указатель дан в приложении к 50-ой книге, но, к сожалению, уже не содержит указания на рецензии, напечатанные в номерах 26—50. Позднее в Шанхае издан был полный Указатель номеров 1—65 «С. З.» за 1920—1937 гг. В нем всего одна-другая неточность.

ко резкие выражения Фондаминский неизменно устранял в тех рукописях, которые читал.

Руднев, наоборот, — не только от слишком чуждых ему идей отталкивался, он отталкивался и от формы, которая ему представлялась неправильной или неудачной. Исправлять рукописи он почитал не только своим правом, но и редакторским долгом. Мне оба подхода казались крайностями: первый — в сторону фактического отказа от редактирования и переложения ответственности с редакции на сотрудников; второй — в сторону излишнего педантизма. Придерживаясь средней линии, я правил рукописи, но правил их не тогда, когда можно было, а лишь в порядке крайней необходимости, — когда нельзя было не исправить.

Вместе с тем я всегда отстаивал необходимость указывать сотрудникам, что необходимо журналу и, по мнению редакции, интересует читателей. Что получалось при том и другом подходе, можно иллюстрировать на примере хотя бы того, что «С. З.» получили от В. А. Маклакова и П. Н. Милюкова, когда решено было привлечь того и другого к сотрудничеству. Переговоры с Маклаковым вел Фондаминский и в результате, после очень ценных статей об убийстве Распутина и о Толстом, мы получили своеобразную историософию предреволюционных событий на протяжении 16 книг журнала, — не лишенную, конечно, интереса, но всё же для «С. З.» представлявшую «роскошь». С Милюковым переговоры вел я, и в итоге журнал — и читатель — получил ряд статей на самые животрепещущие темы, в частности, «Япония и Китай в Дальневосточном конфликте», «Два русских историка» (Платонов и Кизеветтер), «Сталин», «Величие и падение М. Н. Покровского» и др. Конечно, многое определялось тем, что Милюков был исключительный автор — мог писать на любую историческую и публицистическую тему. Но всё же без настояния со стороны многие из его статей, появившихся в «С. З.», никогда не увидели бы свет.

***

Постепенно складывалась и рутина в нашей редакционной работе. Три раза в неделю отправлялся я в помещение редакции: на памятную 9 bis Rue Vineuse первые 2 года, в полутемную крохотную комнатушку книжного магазина «Родник» 106 Rue de la Tour в последующие годы*) и в помещение Зем-

гора 6, Rue Daviel — с 1931 года. Как секретарь журнала, я принимал там сотрудников, выплачивал гонорары, писал письма, читал рукописи, беседовал по телефону с типографией. По дороге в редакцию я обычно заходил к Фондаминскому, жившему неподалеку, и мы «вчерне» проходили текущие дела. Иногда «заход» затягивался на долгие часы: мы обсуждали не только очередные технические дела, но и редакционную политику — в отношении ближайшего номера и вообще.

Но такое обсуждение носило лишь предварительный или подготовительный характер. Руднев очень ревниво и ответственно относился к своим правам и обязанностям редактора. Он не раз высказывал опасения, что Фондаминский, сговорившись со мной, предрешает вопрос. Раз в 7-10 дней происходили заседания редакции, когда предложения оформлялись и становились решениями редакции. Но и в промежутках между редакционными собраниями мы пользовались всякого рода встречами, чтобы «на ходу» решить тот или иной неотложный, но требующий формального постановления, вопрос. Это стало столь привычным, что окружающие недовольно отмечали:

— Ах, опять эти «Современные Записки»!..

— «Биржа» открылась, — подтрунивал над нами Авксентьев, только по специальному приглашению принимавший участие в такого рода летучих совещаниях.

Примерно, восемь первых лет в редакции царили тишь да гладь. Все почти во всем были согласны и солидарны друг с другом. Это было неудивительно: в течение ряда лет — и каких лет! — Авксентьев-Фондаминский-Руднев-я были не только друзьями, но и ближайшими политическими единомышленниками, делавшими общее дело и выдерживавшими одинаковые нападки извне и в своих же рядах, со стороны врагов, друго-врагов и вчерашних или завтрашних друзей. «С. З.» не во всем были согласны не только с воскрешенной в Праге «Революционной Россией» В. М. Чернова, но и с «Pour la Russie» и «Волей Россией» (газетой и журналом).

За время революции мы четверо «притесались» друг к другу настолько, что понимали один другого с полуслова. Это не значит, конечно, что между нами не было разногласий даже в эти «идиллические» годы. Вспоминаю острый обмен мнениями после выхода 2-ой книги журнала с моей статьей о Крыме

---

*) Этот «Родник» воспет В. Ф. Ходасевичем в его шуточном «Предупреждение врагу». См. «Новый Журнал» кн. 7, стр. 292.

и эпопее ген. Врангеля. Как часто бывало с Рудневым, аргументируя не от политики, а от морали, он счел необходимым, хотя бы задним числом и в закрытом заседании редакции, отмежеваться от неприемлемого для него огульного осуждения «врангелевцев»: он на всю жизнь запомнил совместное с воинскими частями сопротивление большевистскому захвату власти в Москве.

Вспоминается и другой случай — в связи с резкой статьей, написанной В. Ф. Ходасевичем о журнале «Версты», вышедшем под редакцией приобревшего позднее громкую известность кн. Д. П. Святополк-Мирского. Ходасевич обрушился на общую про-советскую установку журнала и специально напал на одного из сотрудников «Верст», в прошлом помощника комиссара по делам искусств в Петрограде. С полного моего одобрения статья была отослана в набор, а с Рудневым мы условились, что он ознакомится с ней в гранках. Когда Руднев получил гранки, он пришел в ужас и — негодование. Зазвонил телефон. Начались объяснения сначала на расстоянии, потом с глазу на глаз, затем на заседании редакции уже втроем.

В. В. настаивал, что статья не может пойти. Я возражал, что связан словом перед автором и лично, и по полномочию редакции. Фондаминский не проявлял в данном случае активности. Компромисс был найден в том, что В. В. обратится к Ходасевичу и постарается убедить его смягчить и опустить ряд выражений. Неожиданно для меня Ходасевич уступил и согласился на ряд купюр. Это, впрочем, не избавило «С. З.» от опровержений со стороны заинтересованного лица и редакции «Верст», протестовавшей против «навязчивых подозрений» на ее счет.

В краткой реплике, составленной Рудневым и опубликованной от имени редакции, говорилось, что редакция «С. З.» не поддерживала и не поддерживает никаких обвинений против «Верст», но «не может не видеть в отдельных высказываниях, имевших место в № 1 «Верст», проявления того упадочно-примиренческого отношения к большевикам, идейную борьбу с которыми наш журнал считает и своим литературным правом, и своим общественным долгом» (кн. 30, стр. 599-600*).

Был и другого порядка случай, по времени более ранний,

---

*) И сейчас, из 20-летнего далека и в свете всего случившегося с Святополк-Мирским и др., перечитывая статью Ходасевича, не могу не признать, что в существе своем он был прав.

когда редакции нашей пришлось не только публично оправдываться, но и «выразить сожаление» по поводу напечатанного в журнале. Это произошло в связи с резким отзывом Антона Крайнего (З. Н. Гиппиус) о молодых советских писателях и более чем неуважительным отзывом о Максиме Горьком (18-ая книга).

На Антона Крайнего и редакцию «С. З.» обрушились по двоякого рода основаниям: за контрабандный провоз политики под флагом культуры (П. Н. Милюков) и за то, что в «С. З.» получился «Ноев литературный ковчег», тогда как прежде, «где печатался Горький или Бунин, там невозможен был Антон Крайний. И обратно» (Семен Юшкевич). Пройти мимо этих нападок было невозможно. И с общего согласия, «по поручению Редакции» появилось в газете Милюкова за моей подписью публичное объяснение-самооправдание-сожаление по поводу допущенного «недосмотра». В том же номере напечатаны были и «Необходимые поправки» самого Антона Крайнего и более или менее примирительное послесловие П. Н. Милюкова. («Посл. Новости» от 31 января и 1 и 6 февраля 1924 года).

«Наши разногласия», как обычно, раньше или позже, бывало во всех русских кружках и объединениях, стали обостряться, примерно, к концу десятилетия, с изданием 28-30 книг журнала. Они питались и внешними обстоятельствами — тем, что расчеты на движение живой воды в России никак не осуществлялись. При всех других изменениях, политически положение в России не менялось и никаких перспектив не открывало.

Не без влияния этого и под прямым влиянием внутреннего процесса, происходившего в Фондаминском, как-то раз, во время очередного моего визита к нему по пути в редакцию, он вдруг заметил:

— Знаешь, чем-то всё-таки надо объяснить недостаточный резонанс, который имеют «Современные Записки». Ведь это замечательный журнал. Мне вчера говорил Х., что, по его мнению, «С. З.» не только можно сравнивать с «Современником» и «Отечественными Записками», но они превосходят все когда-либо существовавшие журналы общим уровнем того, что мы печатаем, — несмотря на то, что у нас нет ни Толстого с Некрасовым, ни Щедрина с Тургеневым... Нас, конечно, и признают, и ценят, а всё-таки...

— Так в чем же дело?.. Ты чего-то не договариваешь.

— Дело в том, что все русские журналы были связаны с

определенным миросозерцанием. Миросозерцание лежало в основании каждого политического направления и всякого журнала. Такова уж русская традиция. Русский интеллигент не может ни жить, ни действовать без миросозерцания. Тут ничего не поделаешь . . .

С этого началось. Продолжилось же тем, что во время последующих многочисленных встреч и бесед с глазу на глаз и в редакции Фондаминский стал доказывать, что для большей эффективности и авторитета «С. З.» должны не только время от времени касаться проблем миросозерцательного характера, но и связаться с определенным миросозерцанием. И здесь, как и в политике, «фронт» должен быть достаточно широким, — однако, не безграничным. Общó говоря: идеализм против материализма, понимая под первым разные виды идеализма — от кантиантства до положительной религиозности. Сотрудников же не-идеалистического толка не отталкивать от журнала, — ни в коем случае! Только предлагать им — помню, речь шла об Ивановиче — писать на конкретные, политические и экономические темы, а не на общие, связанные с миросозерцанием! . .

Это предложение меня весьма мало увлекало — по многим и разным основаниям. Прежде всего — принципиально: связанность политики с миросозерцанием, как факт, была несомненна. Но факт этот я считал отрицательным: видел в нем одну из многих причин отсталости русской политической мысли. Что не-марксист не может быть настоящим социалистом, это, увы, доказывали долгие годы не одни большевики. И в том, что без православия или вне православия невозможен подлинный и полноценный русский патриотизм, в этом были твердо убеждены не одни только мракобесы. Но и то, и другое меня не убеждало.

Не устраивало меня и то, что среди членов редакции не было никого, кто бы мог стать активным проповедником определенного миросозерцания, как это защищал Фондаминский. В таких условиях эта функция журнала неизбежно стала бы выполняться со стороны — теми, кому она была бы по плечу и кому она была бы препоручена редакцией. Было бы не только неизбежно, но и справедливо, чтобы фактические вдохновители и идеологи журнала заняли место тех, кто только формально именуется редакторами.

— Хотим ли мы передать журнал более нас достойным и призванным? . .

— Нет, нет и нет! — со всей решительностью и убежден-

ностью возражал И. И. — Только мы, сохраняя за собой общий контроль и руководство, только мы и можем и должны продолжать то ответственное дело, которое с таким успехом уже выполнили, а хотим и можем выполнить еще лучше!

***

Эта идея о главенстве миросозерцания сделалась у Фондаминского излюбленной, почти навязчивой. О чем бы он ни говорил и на каких собраниях ни выступал, он неизменно возвращался к тому, что без миросозерцания и до миросозерцания ничего не дано и ничего не может быть или выйти. Эта линия встретила сочувствие и одобрение и со стороны Руднева и постепенно сделалась линией журнала. Мне удалось добиться лишь признания нового опыта временным. «Попробуем, посмотрим что получится», — соглашался Фондаминский. Однако, временный опыт затянулся на все дальнейшие годы существования журнала. Мои указания на злоупотребления опытом и нарушения опубликованной «От Редакции» конституции в большинстве случаев оказывались безрезультатными.

Помню одну из «редакционных сессий» в Грассе, где гостили мы со Степунами и куда специально был вызван для общего обмена мнениями Руднев. Это было чрезвычайно интересное собрание. Степун доказывал, что православие и православная церковь, являясь одним из творцов русской истории и культуры, не могут не входить существеннейшим элементом и в творческое возрождение России. Тем самым они должны занимать почетное место и в «С. З.». Руднев был того мнения, что если мы народники и всё строим, исходя из интересов народа, на его воле и чаяниях, мы не можем не защищать и на страницах нашего журнала православия, которому остался верен русский народ. Фондаминский был в данном случае менее категоричен и менее конкретен: он защищал права религиозного и христианского миросозерцания в общем виде.

Я стал себя ощущать в редакции духовно-идейно изолированным. Из активного участника в положительном проектировании журнала и руководстве им я чем дальше, тем чаще перемещался на положение присяжного критика редакционных предначертаний, которому только в редких случаях удавалось предотвращать появление в журнале неприемлемой для него статьи или политически чуждого сотрудника. В частных разговорах с Авксентьевым я делился с ним своими огорчениями.

Авксентьев далеко не был чужд религиозности, глубоко переживал православную службу и церковные песнопения. Но он, как и я, стоял за «отделение» религии и тем более церкви от политики — в особенности в таком журнале, как «С. З.». Авксентьев настолько не одобрял новой линии, что не раз ставил вопрос:

— А не уйти ли нам с вами из журнала?.. В «Епархиальном Вестнике» нам нечего делать. Пусть Илья с Вадимом ведут журнал, как считают нужным.

Я находил, что уходить не следует, преждевременно, — всегда успеем. Когда станет невтерпеж, — скажу.

Естественен вопрос: а почему Авксентьев не был призван к участию в редакционном решении о повороте в сторону миросозерцательных нужд? Это произошло потому, что фактическое отсутствие Авксентьева в редакционной работе успело к тому времени стать как бы «нормой» и мое обращение к нему носило бы характер жалобы или явного желания удвоить свой голос в редакции. Это носило бы характер нелояльной борьбы за влияние и руководство журналом, что́ при наших личных отношениях было совершенно нестерпимо для каждого из нас.

К тому же все описанное произошло не с сегодня на завтра, а происходило постепенно, — было не переворотом, а поворотом или процессом, который трудно связать с определенным моментом во времени, — он затянулся на ряд лет.

Очутившись как редактор в меньшинстве, на положении как бы оппозиции, я вместе с тем никак не был ограничен в выборе тем и в своем высказывании как автор и постоянный сотрудник. Разница получилась лишь в том, что до поворота журнала у нас был некий общий «фронт» против того, что Степун назвал «бердяевщиной». После же поворота мне уже в единственном числе приходилось оспаривать взгляды не только Бердяева, Булгакова, Франка, Карсавина, но и самого Степуна (ср. мои статьи «Политика и миросозерцание», «О 'переосмысливании' Ф. А. Степуна» (книги 36, 40) и др.

Своим последствием поворот имел не только усиление внимания «С. З.» к темам и вопросам миросозерцательного порядка. Поворот сопровождался и появлением на страницах журнала авторов, чьи социально-политические взгляды были совершенно чужды установке редакторов «С. З.». Миросозерцательная близость оказывалась сильнее политической чуждости. Только этим объяснялось, почему Фондаминский, остававшийся убежденным сторонником основ эс-эровской про-

граммы в земельном вопросе, так усиленно настаивал на помещении статьи по земельному вопросу К. И. Зайцева, ныне священника, а тогда вместе с П. Б. Струве доказывавшего, что политическая свобода только производное от частной собственности — без частной собственности на землю никакая политическая свобода невозможна.

Только этим влечением, не всегда даже отчетливо осознанным, мог я объяснить и приглашение в журнал Г. В. Флоровского, даровитого эрудита, позднее принявшего священство, но весьма далекого и Фондаминскому, и Рудневу по своим социально-политическим воззрениям. Особенно для меня огорчительным было, что товарищи по редакции решили напечатать в «С. З.» главы диссертации Флоровского о Герцене — «нашем» Герцене, как не без возмущения говорил Авксентьев, с которым я делился своим огорчением.

Сейчас, конечно, многое представляется совершенно в ином свете, чем то, что свершалось 15 и больше лет тому назад. Но все же, если в «С. З.» могла появиться статья «Фашизм и душа Италии», не без критики фашизма, но с определенным сочувствием к «человечному» Муссолини, это опять таки случилось потому, что миросозерцательная установка автора побудила моих коллег по редакции снисходительнее отнестись к политическому смыслу статьи.

Едва ли не наиболее острые разногласия возникли в редакции в связи с привлечением к журналу Г. П. Федотова. В эмиграции он дебютировал под фамилией Е. Богданова в упоминавшихся выше «Верстах» Святополк-Мирского. Под тем же именем появилась и в «С. З.» его статья о Блоке под заглавием «На поле Куликовом» (кн. 32). Фондаминский раньше многих оценил первоклассное литературное дарование автора. С привычным ему воодушевлением стал И. И. говорить о Федотове, как о первом русском публицисте, даже как о новом Герцене или Герцене нашего времени. Этим он хотел опровергнуть возражения и переубедить Руднева и меня, считавших, что, как ни интересны писания Федотова на социально-политические темы, они все же не нашего «духа».

Фондаминский не сдавался и убеждал нас не отталкивать талантливого сотрудника, а оказать ему доверие и дать время и возможность политически «доспеть» в сочувственном окружении. В опыте последующих лет, если сравнить напечатанное Федотовым в «С. З.» с тем, к чему автор пришел позднее, — увещания и предвидения Фондаминского надо признать оправданными. Это было не так очевидно тогда, когда редак-

ции приходилось иметь дело с первоначальным текстом рукописей Федотова, который не всегда совпадал с тем, который появлялся в печати на страницах «С. З.»: по соглашению с автором — в результате порой весьма драматических переговоров, которые поручалось вести от имени редакции Рудневу, — бывали опущены не только отдельные выражения, но и целые главы*).

Однако, и то, что в итоге переговоров печаталось в «С. З.» часто меня ранило. И в тех же книжках журнала, в которых появлялись статьи Федотова «Революция идет», «Проблемы будущей России», «Правда побежденных» (книги 39, 46, 51), неизменно появлялись и мои «ответы», или реплики: «О диктатуре», «О судьбах России», «Что есть победа», — в которых, как мог, я старался опровергнуть и «обезвредить» неприемлемые взгляды. Приходилось мне отбиваться и от К. И. Зайцева, и от евразийцев, и от теологов, и от марксистов, — не говоря уже о постоянном и главном враге № 1, большевиках. Фондаминский радостно встречал каждую мою статью, подбадривая:

— Вот и чудесно!.. Я с тобой несогласен, но это не имеет значения. Очень хорошо, что «Современные Записки» печатают и Федотова, и Вишняка!..

Как уже упоминалось, Фондаминский умел говорить приятное и придавал большое значение этому своему умению — учитывал эффект, который приятное производит. Кто не принимал — по крайней мере сначала — за чистую монету то, что всегда говорилось с подкупающей искренностью и убежденностью и что вовсе не было двуличием?! Это была особая педагогическая манера или тактика, к которой И. И. прибегал, когда окончательно укрепился в убеждении, что «люди не выносят правды», как он выражался. Скромный и скорее застенчивый, чем властный и честолюбивый, Фондаминский вместе с тем считал, что окружающие сами не понимают того, что им нужно, — не подготовлены к практической жизни, не способны совладать с реальностью. Поэтому всем, кому мог, он приходил на помощь — чаще даже не деньгами, а советом, неустанно о ком-нибудь хлопотал, кого-нибудь опекал. Он брал на свою несомненно чистую совесть решения за других, вместо них и даже, за их спиной, — против них. Это не было

*) Когда печатавшиеся в «С. З.» статьи были собраны автором в книгу «И есть, и будет», опущенная в «С. З.» глава автором не была восстановлена.

ни интригой, ни «макиавелизмом». Наоборот, это был долг и призвание бескорыстного человеколюбца, признавшего себя целителем душ и нравов. Так понимал и толковал он свои «добрые дела». И компенсируя умаление моих прав, как редактора, предоставлением полного простора и поощрением меня как автора, И. И. делал это, как всегда, вполне искренне и убежденно, в полной уверенности, что он лучше знает не только то, что объективно нужно для журнала, для русской общественности и т. д., но и что мне лично на пользу.

— Ну, а как насчет политической физиономии «Современных Записок»? — допытывался я у Фондаминского и Руднева.

Иметь ли журналу свое «лицо», каким бы оно ни было, но свое определенное общественно-политическое, — стало предметом длительных и часто бесплодных моих споров с друзьями. Спора — и самого вопроса — не было, когда журнал возникал, в атмосфере еще не заглохшей борьбы в России. Собрать под общее, не партийное, но определенное политическое знамя все возможные силы, сложить их вместе, — было одной из главнейших задач и целей «С. З.». Заканчивая обозрение того, что произошло «на родине» за пять лет существования журнала, я писал: «Вступая в шестой год существования журнала в объективно иной, чем прежде, обстановке, мы остаемся верными тому общественно-политическому и культурно-идеологическому делу, которое дало основание и на родине, и на чужбине возникнуть наименованию — течение «Современных Записок» (кн. 26).

Как ни странно, это выражение — течение «Современных Записок» — встретило уже тогда, в 25-ом году, возражение со стороны одного из редакторов. Руднев почти возмущался:

— Нет никакого «течения» «Современных Записок»!.. Зачем говорить о том, чего нет?!

Я оправдывался тем, что не придумал этого выражения, а заимствовал из того, что о «С. З.» писали другие — в эмиграции и в России*): советская печать тогда еще не «казнила»

*) Припоминаю в связи с этим удовлетворение, испытанное от прочтения брошюры Влад. Беренштама «В. Г. Короленко, как общественный деятель и в домашнем кругу», 1922 г. В ней описывалось, с какой жадностью Владимир Галактионович набросился на привезенные ему из заграницы первые две книги «С. З.». Забыв о присутствующих, Короленко углубился в чтение. О статье Льва Шестова

нас своим молчанием**). И в эмиграции — в партии и вне партии — в «С. З.» видели нечто такое, чего раньше не существовало. Да и сами мы ведь утверждали, что «С. З.» есть вытекшая из пережитого попытка вызвать к жизни новое политическое формирование. Почему же не говорить о том, что есть и что должно быть, даже если достигнутое несколько преувеличено? «Представление о праве способствует созданию желанного права», — цитировал я своего любимца Георга Еллинека.

Наши споры тогда и позже ничем не кончились. То, однако, что выдвинулось постепенно на первый план в журнале, показало, что Руднев был ближе к истине, чем я. Отношение «С. З.» к политике становилось всё менее требовательным и всё более «либеральным». Если по первоначальному замыслу «культура» и «свобода» были и должны были быть равноценны, со временем то, что разумелось под «свободой», защита

«Откровения смерти» он отозвался очень сурово, «посоветовав прочесть внутреннее обозрение «На родине».

**) К политике замалчивания противника и признанию эмигрантских писателей как бы несуществующими, не подлежащими упоминанию в советской печати, большевистская власть пришла не сразу, и в периодической печати стали ее проводить неукоснительнее и раньше, чем в печати непериодической. До каких неточностей и искажений доходила тут советская печать можно судить, в частности, по отношению к «С. З.» со стороны Большой Советской Энциклопедии.

Говоря об Авксентьеве в 26-ом году, Энциклопедия ни словом не упоминает об его участии в редактировании «С. З.». В 30-ом году, говоря обо мне, она называет меня «одним из основателей и редакторов бело-эсэровского журнала «Современные Записки», издаваемого в Париже с 1920 года». О Рудневе в соответствующем томе, вышедшем в 1941-ом году, вообще ничего не говорится. А о Фондаминском (Фундаминском-Бунакове), в томе 59-ом, вышедшем в 1935-ом году и «состарившем» И. И. на два года, говорится: «В 1931 году Ф. издавал журнал «Новый Град». Ныне (!), вместе с М. В. Вишняком (см.) стоит во главе журнала «Современные Записки (см.), издающегося в Париже».

Но когда в 45-ом году вышел 51-ый том, в котором должна была бы быть обещанная статья о «С. З.», ее там не оказалось, — редакционная «политика» Энциклопедии к тому времени снова переменилась, и Энциклопедия сочла себя свободной от принятого на себя обязательства.

последовательной политической свободы и демократии, стало играть второстепенную роль или даже роль придатка к тому, что стало главным и основным в журнале — к историософии, философии, религии, к тому что условно подразумевалось под «культурой».

Во всяком случае, то, что первоначально оправдывало наименование «С. З.» особым политическим «течением»*), с течением времени пошло по нескольким руслам — большею частью параллельным.

Поворот журнала в сторону миросозерцаний не дал всё же полного удовлетворения Фондаминскому — его духовным запросам и неистощимой энергии. И в 1931-ом году он создал, при ближайшем содействии Г. П. Федотова и Ф. А. Степуна, свой журнал — «Новый Град». В первой же книжке журнала, выходившего непериодически, но успевшего выпустить до 1939 года 14 книжек, редакция категорически утверждала: «Лишь христианство не эклектически, а целостно утверждает равенство целого и части, личности и мира, Церкви и человеческой души. Христианство бесконечно выше социальной правды» и т. д.

Фондаминский, как всегда, всей душой отдался новому делу: организовал его бюджет и распространение, стал привлекать сотрудников, вербовать подписчиков, пропагандировать. Новое начинание не претендовало заменить собой «С. З.», оно хотело лишь размежевать сферы влияния: «классические» и «академические» «С. З.» с более высокими требованиями — для «элиты» и рядом с ними — все другие издания, среди которых свое место занимает и «Новый Град». Этот последний Фондаминский считал своим журналом и, повидимому, чувствовал себя там уютнее, чем в «С. З.», где продолжал печатать свои «Пути России»: «Новому Граду» он стал отдавать свои статьи на актуальные, общественно-политические темы (всего их там было напечатано пять).

Руднев был солидарен с Фондаминским в оценке миросозерцательного и религиозного подхода к общественно-политическим явлениям. Они разнились, однако, в том, в чем именно этот подход должен состоять. И Руднев не принял никакого участия в «Новом Граде» — ни как организатор, ни как

*) Говоря в 1933-м году, в связи с выходом «юбилейной», 50-ой книги журнала, о роли «С. З.», Руднев утверждал, что «в какой-то мере журнал становится уже органом всего русского зарубежья» (книга 51, стр. 436).

сотрудник. Он отнесся к этому начинанию критически и даже скептически, — но только в частных разговорах. Я чувствовал себя свободнее и, не выступая против своего соредактора на страницах нашего общего журнала, я выступал на столбцах «Последних Новостей» Милюкова и «Дней» Керенского против многого из того, что утверждал или отрицал «Новый Град». В частности, я доказывал, что именно к «Новому Граду» применимы слова одного из его редакторов, Г. П. Федотова: «В неверном сумеречном свете возникают двойные тени двойных истин. Двойные истины дают двойную ложь» . . .

Разложение былого единства редакции «С. З.» на составлявшие ее первоначально элементы не было вызвано «Новым Градом», — «Новый Град» скорее явился следствием происшедшего уже разложения. Как бы то ни было, на этом процесс не остановился. «С. З.» материально уже давно сводили концы с концами с крайним напряжением. В 36-ом году я отказался от содержания, которое получал от журнала и вместе с тем от всех технических функций по журналу. Руднев перенял их и стал единоличным администратором журнала и постепенно — фактически — и единоличным редактором «С. З.», сначала еще по консультации со мной (Фондаминский находился на юге, в Грассе), а потом и без предварительного осведомления меня о своих планах и решениях.

. . . . . .

. . . . . .

В 1940-ом году, накануне вторжения Гитлера во Францию, закончилось 20-летнее существование «Современных Записок». Два года спустя возник, уже в Нью Иорке, «Новый Журнал». Его «Редакционная Группа», в которую я не входил, заявила, что намерена «следовать традициям «Современных Записок», «Русских Записок» и других русских журналов. Преемственность культуры и политики таким образом продолжается, невзирая ни на что. В этом последнее оправдание «Современных Записок» и дела тех, кто были к ним причастны.

Мой отчет-воспоминания о «Современных Записках», конечно, не полон. Кое-что я умышленно не договорил. В отчет могли «вкрасться», конечно, и неточности. Он несомненно субъективен. Может быть, и односторонен: говорить о чужих недостатках всегда легче, чем о собственных.

Когда я вспоминал и писал, я, естественно, в себе и в своей памяти воскрешал прошлое, как сам его ощущал и переживал. Но одновременно я имел постоянно в виду и их — моих ушедших друзей и наши «Современные Записки».

Я могу лишь скорбеть — лично и общественно, — что никто из былых моих товарищей по редакции уже не может ни поправить, ни опровергнуть меня. Пусть это сделают хотя бы те, кто были свидетелями нашего общего дела и кому, как и мне, дорога и правда, и память об ушедших. В возможности поправок со стороны живых свидетелей одна из причин, почему я не откладываю в долгий ящик опубликование своего отчета-воспоминаний.

5. VIII. 1947.

Марк Вишняк

СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА

22 декабря 1943 г.

Ходила в кооператив с малышом. Он теперь к каждому военному бросается с криком «дядя», приучили наши. Правда, почти все немецкие солдаты здесь — русские, но когда попадает на немца и тот берет его на руки, мне неловко перед французами за такое «германофильство» малыша.

Чтобы доставить ему удовольствие, прошла на обратном пути по улице, где помещаются наши из штабной команды. Они сразу увидели нас из окон и все, кто были дома, высыпали за калитку. Малыш пошел по рукам и получил конфеты. Спрашивали, какие новости по радио.

— Бомбардировали Берлин здорово и о Харьковском процессе много говорят. Но больше всего про великое событие . . . вот, поздравляю вас с рождением отца родного, благодетеля человечества, гениального вождя и прочее.

— Это которого? — спросил Коля.

— Сталину 64 годочка исполнилось.

— Так ведь мы же переменили отца родного, у нас теперь Гитлер гениальный благодетель, а поздравлять что с тем, что с другим — одна для нас яма.

— Ты, братан, потише, — сказал степенный Тимофей Иванович, — переводчик-то дома, — и он оглянулся на окно второго этажа.

— Эх, была не была, а пропадай наша телега, все четыре колеса, — речитативом проговорил высокий парень с серьгой в одном ухе. Кажется его фамилия Панов.

В это время к домику напротив подъехал муловоз с грузом бревен, он выдернул доску, подстегнул мулов, те рванули и все бревна разом ухнули на край дороги. Возчик уехал, а из домика вышла Мадам Л.; обвязав конец бревна веревкой и впрягшись в петлю, она начала волоком перетаскивать его к себе во двор.

— Это чего же старуха надрывается? — спросил кубанец Яша.

Я объяснила, что старуха — вдова, бедная и от мэрии ей дают бесплатные дрова, которые муниципальный муловоз и доставил.

— Ребята, айда, — кивнул Панов. И пять человек, перескочив через дорогу, в несколько минут втащили все старухины бревна и уложили под навесом. Мадам Л. вместе с солдатами подошла ко мне.

— Мадам, что я должна заплатить вашим компатриотам за помощь?

Я перевела вопрос старухи. Все засмеялись.

— Скажите ей, Ксения Васильевна, что на том свете сосчитаемся. А ежели ей очень хочется, пусть своему французскому Богу помолится за наши пропащие души.

— Послушайте, я этого и переводить не буду, она всё равно не поймет.

— Так скажите ей, что завтра заглянем и перепилим ей бревна, а счет на будущий год пришлем.

Я объяснила старухе, что люди сделали от доброго сердца и ничего с нее не хотят, а на днях и распилить ей помогут, пусть пилу приготовит. Бедная женщина никак не могла этому поверить и всё что-то бормотала, пока Коля не сунул ей кусок хлеба и не сказал: «Алло, бабушка».

— Да, забыла, еще новость. Интернационал отменяется и отныне во всем советском союзе будут петь какой-то новый гимн.

Но это произвело мало впечатления.

— Что бы ни пели, пока Сталин сидит, всё на один мотив будет, — сказал «прораб».

Я стала прощаться. Коля попросил:

— Оставьте малыша, нам через час в штаб надо, так мы его по дороге вам завезем на мотоцикле, он это обожает.

Шла домой и думала, как эти русские парни умеют с детьми возиться, прямо врожденный дар какой-то. И с какой лаской, каким терпением. Ни к кому из французов наш малыш не питает таких нежных чувств, как к этим советским выходцам.

5 января 1944 г.

Утром Сережа чинил наше радио. Я с тревогой смотрела, как он вынимал всякие винтики и колесики, всё-таки аппарат еще действовал, а теперь кто его знает... Ведь Сережа имеет

стаж только совхозного тракториста и самоуверенность своих 20 лет. Он объяснял мне конструкцию по мере работы и называл мудреные для меня технические термины. Похоже, что понимает дело. Я напомнила ему, смеясь, как он вначале не знал слова «епископ», а вот механику понимает «на ять». Он тоже улыбнулся:

— Теперь уже знаю твердо, епископ — это будто полковой командир, ежели считать попа за ротного.

— А вы мне обещали, что не будете говорить «поп».

— Ладно, тетенька, пускай будет священник, с Божьим обиходом мы мало знакомы.

Перепрыгивая, как всегда через ступеньки крыльца, вбежал Миша.

— Уходим. Уже приказано сворачивать сапожную и портняжную мастерские.

Его чуб торчал так же весело, шапка держалась на честном слове, но в глазах застыл незнакомый испуг и он забыл поздороваться. У меня душа захолонула.

— Так может быть только мастерские переводят? Ведь приказа нет?

— Приказа и не будет. По крайней мере нам не объявят. Но немцы-фельдфебеля уже знают и ругаются. Они тоже тут привыкли и им на фронт не хочется. Уже вчера вечером тяжелые склады грузили.

— Сережа, а вы знали?

Сережа молчит. Он уронил какой-то винтик и долго его ищет под столом. Поправляет нависшие кудри и говорит глухо:

— Знал. Да чего вас расстраивать. А нам уж такая судьба.

— Тетенька, — перебивает Миша, — мы уж вечерком придем, договоримся. Дрова есть, не надо наколоть?

— Есть. Коля и Семен Маркелович третьего дня много нарубили.

Миша исчезает, а Сережа собирает аппарат. Мы оба молчим. Уже несколько дней ходили слухи, что батальон уйдет. Но все надеялись, что этого не будет. За эти три месяца, что мы живем с земляками, видясь почти ежедневно, мы так сжились, так привязались к некоторым из них, что разлука кажется тяжкой. И они, бедняги, боялись, что их уберут отсюда, они к нам привыкли, с нами приходят обо всем говорить, мы им новый мир открывали. У нас и новости о войне узнают и по карте за фронтом следят, и я им помогаю в общении с местным населением. Потом очень они опасаются, что их разъединят, разобьют по разным немецким частям. За время существования

батальона некоторые люди подобрались, сдружились группами или парами, помогают друг другу, говорят по душе, единственный проблеск человеческого теплого чувства. И вот, если последнего друга лишат, от последних близких сородичей оторвут...

— А куда же вас направляют, Сережа? Нет каких-нибудь указаний?

— Кто говорит в Испанию или в Италию, а кто, что в Сербию.

Почему в Испанию? Это уж нелепо. Хуже всего, если в Сербию, пожалуй самое лучшее всё-таки в Италию. Это я всё думаю, но не говорю вслух.

Вдруг громко рявкнул аппарат и Сережа его тотчас приглушил. Я наставила на Лондон. Говорил голландец, но было отчетливо слышно. Починил таки, молодчина.

Приходил капитан С. Прощаться.

Он — из старых эмигрантов, жил в Риге, поступил добровольно в эти русские части, говорит хорошо по-немецки и по-французски. Немцы его назначили одним из переводчиков, но не доверяют ему и он носит простую солдатскую форму даже без унтер-офицерских нашивок. В роте он пользуется любовью и сам очень привязался к своим людям; сумел соорудить маленькую русскую библиотеку, читал солдатам вслух и вел с ними беседы, построил здесь отличную баню, в которую ходят даже немецкие фельдфебели, и выручал безъязычную братию перед немецким начальством.

Он часто бывал у нас и мы любили с ним беседовать, очень хорошо воспитанный человек, рассказывал много интересного, но в откровенности не пускался. Чувствуется, что его положение и обстановка смущают его и мы не задавали вопросов.

Я сразу увидела, что дело плохо, руки капитана так дрожали, что он никак не мог привязать лошадь к столбу крыльца. Его откомандировали экстренно в Бордо и дали всего час на сборы, он понял это как отрыв окончательный от роты, которой он отдал всю душу.

— Позвольте поблагодарить вас за доброе отношение и пожелать вам всего хорошего.

— Что же вы теперь думаете делать?

— Не знаю. Я от себя не завишу.

Он был так растерян, так явно несчастен, что уж не пытался этого скрывать.

— Земляков жалко, что с ними будет! Думал было разделить их участь и вот . . .

Мы не могли найти слов утешения, долго жали друг другу руки и простились молча.

Вечером собрались все наши завсегдатаи. Настроение подавленное. Говорим только об их уходе, стараемся придумать хоть что-нибудь, чтобы их ободрить. Малыш переходит с одних колен на другие и шарит по карманам дядей, они его так приучили; приносят всегда конфеты и шоколад, что им в кантине выдают, и нарочно не вынимают из карманов, пока он сам не найдет. Мне это не очень нравится, но не хочу их огорчать. А конфет и шоколада нигде кроме как у немцев нет.

Чтобы переменить тему, я говорю им, что завтра наш православный сочельник. Семен Маркелович и сапожник Василий знали, последний подмигивает мне и говорит, что на крыльце лежит елка, которую они принесли. Когда малыша уложили, мы внесли елку. Она — сосна, но очень пушистая и красивая и вделана в тяжелую деревянную подставку крестом, на которой выжжено «С праздником Христовым».

— Кто же это такую чудную подставку сделал?

— Это мы с Васей.

— А выжигал Семен моим шилом, мы его в печке накаляли. Да тут еще подсвечников вам принесли, — и он выгружает из казенной торбочки давно исчезнувшие у нас елочные подсвечники и украшения.

— Как разбирали елку в офицерском собрании, дак всё аккуратно в ящики складывали, в Германию отсылать, ну а я аккуратно в сторону отложил. Думаю вашему малому на православный праздник и пригодится.

Я вижу, как А. И. хмурит брови, но спешно начинаю благодарить земляков, сегодня ни одной тенью нельзя их огорчать.

Перед тем как уходить они что-то мнутся и наконец решаются. Говорит «прораб», самый речистый из компании.

— Вот тут, одна вещь. Говорят у нас будто англичане, которых наших берут в плен, так советам выдают. Правда это?

Мы слышим это впервые и ничего достоверного ответить

не можем. Но А. И. возмущается и, как всегда, сбиваясь на чересчур интеллигентную речь, говорит:

— Послушайте, этого не может быть, тут какая-то провокация. По всем законам этики — христианской, общечеловеческой, воинской — это совершенно недопустимо. Только у большевиков отметены все принципы морали, англичане и американцы на такой поступок неспособны.

Не знаю, убедили ли мы их. Боюсь, что после большевистской и немецкой школы они уже ни в чью мораль не верят...

Ночью с 6 на 7 января.

Какой печальный сочельник мы встретили...

Они пришли рано. По случаю ухода весь нормальный распорядок их жизни нарушен. Коля и Ефим Тихонович — донской казак принесли по мешку хлебных кусочков.

— И можете, мамаша, мешков не отдавать, себе оставьте. А чем же вы теперь без нас курей своих кормить будете? Порезать придется.

Сережа и сапожник Василий кладут в угол объемистый пакет, завернутый в кусок военной непромокайки.

— Это что же?

— А это, — понизив голос, говорит Василий, — шампанское, да самое настоящее, буржуйское. Уже выпьем под праздничек и для прощания. Кантина закрывается, дак сегодня без контроля продавали.

Это хорошее французское шампанское, которого во всей Франции давно нельзя достать. Толстый молочник говорил мне на-днях, что немцы реквизировали 23 миллиона бутылок и 20 мил. бутылок коньяку. Откуда он взял цифры, не знаю, но что реквизировали много — это несомненно. И в норвежском маяке, на который сделали налет англичане, и в обозах Роммелевского Afrikakorps, и в немецких вагонах, захваченных красной армией, — всюду находят запасы французского вина.

Миша и Сережа еще приспособили какие-то конфеты и пряники к елке и, закрывши ставни, зажгли ее к шумному восторгу малыша. Они пели ему какие-то частушки, танцевали и играли с ним, а и голос и глаза были у них не те. Что-то тягостное и невыразимое нависло надо всеми...

Кроме елочных свечей ничего не горело, мы сидели в полутьме и беседовали как всегда, отвечая на самые разно-

образные вопросы. Компания была своя, верная, и они не боялись говорить открыто. Рассказывали мы, как протекает жизнь свободного народа, как во Франции издавались газеты самых различных политических направлений, как все могли не только в частных домах, но и публично высказывать свое мнение о всяком предмете, вести политические споры, критиковать и даже ругать правительство. Как свободны были все религии и правительство в этот вопрос совершенно не вмешивалось, как всякий человек мог жить как хотел, работать, веровать, воспитывать своих детей по своему усмотрению и никаких ограничений и принуждений на этот счет не существовало.

— Чудно́, — говорит Яша, качая головой, — до сей поры привыкнуть не могу. А те-то у нас, как уверяли, что здесь все живут под угнетением капиталистов, в нищете и рабстве, и все соки из них высасывают буржуйские акулы.

— Нам, старикам небось не верили, когда мы вам про русскую прошлую жизнь рассказывали, — не без горечи заметил Ефим Тихонович.

— А насчет выжимания соков, так капитализм советского правительства превзошел не только всё, что теперь известно, но и всё, что в древности бывало, — прибавила я.

Как мы ни старались их отвлечь, разговор скоро перешел на их уход. Никто не знал достоверно, куда их переводят, но последний слух, что на берега Ламанша, где ожидается высадка.

— Эх, всё едино, — и Сережа проводит рукой по своим кудрям, — в самую худшую мясорубку нас бросят, это ясно, — и его детски румяное лицо делается суровым.

— Будем погибать за великую Германию, — улыбается горько Миша.

— Так ведь в наших газетах пишут, что мы за спасение России сражаемся, — медленно и глухо произносит Яша и нельзя разобрать, серьезно он или с иронией.

— Спасаем Россию на берегу Атлантического океана! В Америку бы еще послали спасать, — и Коля бросает на пол свою мягкую фуражку. — С англичанами и американцами драться приказывают тоже для спасения России?

— Не так надо спасать Россию, — говорит убежденно Миша.

— А как?

Миша задумывается:

— Не знаю. Не моего ума дело. А только не так и не с этой птичкой, — и он трогает немецкого орла на своей форме.

— Пушечное мясо мы, вот что, безгласые, бесправные. В СССР были такими и тут такими остались, — изрекает Степа «рязанский казак».

Неразговорчивый станичник Семен Маркелович сидит потупившись и вертит в руках солдатскую шапочку:

— И подумать невозможно, как же это всё свершилось! Была ведь жизнь в России когда-то, настоящая, вольготная, сытая. И скатилось всё куды-то. Как это скатилось? С чего?

— А так, шариком и скатилось. И ты вот до немецкой шапки докатился. Куда дальше закатимся, про то чертова матерь знает.

— А . . . не всё ли равно где погибать, раз погибать нужно?, — машет рукою Миша и в его звонком голосе какое-то удалое презрение.

Заговорили про капитана С. Очень они его жалеют.

— Осиротели мы без него, — говорит круглоголовый с золотыми зубами сибиряк (тот самый, который, бежав с каторжных золотых приисков, прошел пешком из Сибири на Кавказ), ведь даже не понимаем, что на свете делается, он на всех языках знал, нам всё объяснял. И душевный был человек. А сейчас и от вас уйдем, про-о-пали мы!

— Хорошо нам про русскую жизнь и про историю рассказывал. Да не взлюбили его немцы очень, уж сколько ему каверзов было.

— Да, вот жизнь человечья, чужой народ нами как хочет распоряжается, посылает нас драться и умирать против другого чужого народа. А почему, по какому праву?

— Дак разве право есть на свете, чудак человек! Что право, что правду, всё это люди угробили. А теперь одна сила осталась.

— Нет, не скажи. Вот нас тысяча человек и вооружёны, так разве ж не сила? А мы что? Идем, как бараны, да немецкого унтера боимся. Вот оно что. Не сила тут, а другое.

— Обратно ж сила. За унтером офицер стоит, за офицером генерал, а за ним вся немецкая армия. А хитрость и организация тоже сила, особенно в руках умелых.

— Ложь и обман, вот теперь главная сила, говорю я.

— И как еще, — подхватил молчавший «прораб», мы-то под советами про это хорошо осведомлены. Ложью и провокацией весь русский народ закабалили, уж больно много дураков у нас оказалось. Легковерные мы.

— Эх — ма! Напиться бы дак, чтоб и мысли в голову не лезли, — мрачно изрекает сапожник.

— А в общем и целом погибать так с музыкой, — и, мотнув своими бесшабашными кудрями, Сережа подхватывает, задремавшего у Миши на коленях малыша и начинает с ним кружиться.

Елка догорела. Мальчика мы уложили. Часть публики ушла, а шестеро осталось. Сережа, Миша, Коля и три «старика». Из них только Василию 54 года, а остальным двум по 50, но головы седоватые.

На плите «томился» горшок с борщом и в духовке была маисовая каша. Хлеб они принесли с собой. Сережа накрыл на стол, он мое хозяйство знает так же хорошо, как я. Откупорили шампанское.

— Ну, братцы, не больше трех, четырех бутылок выпьем, остальное унесете обратно, сказал А. И.

— Дозвольте, папаша, хоть по бутылке на брата, попросил Миша.

— У себя допьете.

Сидели мы вокруг стола, под тусклой лампой, может быть в последний раз. Так странно судьба нас соединила тут, в глухой французской деревне. Два поколения, две России... И не чудо ли, что мы почти четверть века оторванные от родной земли, где жили эти люди в таких страшных условиях, а молодые и родились, когда нас уже не было, что мы нашли с ними общий язык и доверие!

А. И. рассказывал им про быт прежней русской армии. А Семен Маркелович, к нашему удивлению, очень красочно описал, как встречали Рождество на Дону в те времена. Молодежь говорила про свою жизнь среди комбайнов, продразверсток, тракторов, совхозов, доярок, трудодней.

Бедный, бедный русский язык, который был когда-то прекрасным, могучим, великим...

Сережа тихонько попросил:

— Папаша, скажите нам чего-нибудь на прощание.

А. И. посмотрел на них всех:

— Спасибо, русские люди. Вы явились для меня живым доказательством того, во что я всегда верил — жива русская душа. И в этом залог спасения России.

Тогда встал Ефим Тихонович со стаканом шампанского и начал торжественно:

— Ваше Превосходительство.

Ему, очевидно, поручили сказать прощальный тост. Но от непривычки у него выходило не очень складно и понятно. И, махнув рукой, он сказал:

— Ну, чего там. Одно слово — мы вас полюбили. Русские вы люди. Думали, вместе в Россию поедем. Да, вот, не выходит. Спасибо вам земное и не поминайте лихом, — и он всхлипнул.

А. И. встал и они обнялись. Две седые русские головы... такие разные и такие родные...

— Храни вас Господь.

8 января.

Ушли. Вчера.

Еще не было 8 часов, чуть светало и я растопляла плиту, не открывая ставень, как в них постучали. На крыльце стоял Сережа.

— Не захожу, я мимоходом заскочил. Уходим сегодня. Выступаем в 3 часа, а рота, что в М. — в шесть.

— Куда, хоть ближайший этап?

— Ничего не говорят. Все фельдфебеля и офицеры ругаются, как черти. Ну, пока. Еще забегу.

Всё утро приходили прощаться. Даже «дикие», которые у нас не бывали. Даже беспризорник Аркаша пришел и, глядя в сторону, ткнул мне пакетик печения, сказав — «для мальца».

Мы писали наш адрес в их книжечки и на конвертах, объясняли, какую французскую марку нужно, ибо они надеялись посылать не через свою Feldpost. Я записывала на лист ряд фамилий и против каждой номер — весь адрес. Договаривались с более близкими об условных фразах, чтобы хотя знать, куда их закинут и какова будет судьба.

— Известно какова, — сказал Миша каким-то пустым голосом, без возмущения, — мясорубка будет. Зачем мы им больше.

— За масло да за папиросы придется платить, немцы народ аккуратный, счет предъявят, — улыбался горько Коля.

— И, пожалуй, по цене черного рынка, — добавил «прораб».

В два часа я с малышом пошла на пустырь за спортивным полем, где был назначен сбор. Нас сейчас же обступили и мальчик переходил с рук на руки. Кучка немецких офицеров и унтеров поглядывала на нас с неодобрительным удивлением.

Старый кубанский казак, солдат войны 1914-1920 г., не стесняясь вытирал слезы:

— Чего смерть, смерти не боюсь. Скольки раз ее видал в глаза. Ну до чего обидно зря погибать, нивесть за что, за кого! И никому-то не сообщат, никто не погорюет, и пани-

хидки никто не отслужит, сгинет человек, как муха, следа не останется.

— Ишь чего ему захотелось, панихидки, — невесело смеется шофер Гриша. — А следа действительно не останется, вычеркнет немецкий писарь номер в какой-то бумажке и конец. Одним словом — немецкий капут и всё.

— Ксения Васильевна, держите связь. Давайте часто весточки, помните слово, — просит Миша, подъезжая верхом. Ему подают малыша, который радостно смеется, сидя на лошади.

Раздается резкая немецкая команда. Спешно протягиваются руки, чтобы снять ребенка, но он не дается. Обвился руками вокруг шеи любимого дяди, а у Миши не хватает духа эти рученки разнять. Наконец, мальчика отрывают и он пронзительно плачет. У Миши лицо покрывается красными и белыми пятнами, он хочет еще что-то сказать, но машет рукой и трогает лошадь галопом. Минуту я слежу за его пригнувшейся фигурой и слушаю стук копыт, уносящих его вдоль обоза в голову колонны.

Трогаются. Германские фельдфебели верхом заезжают с обеих сторон и покрикивают. Стоим с малышом близко к телегам, невзирая на немцев, и пожимаем на ходу руки. На «прощайте» отвечаю «до свиданья», стараюсь ободрить их последними фразами — «всё наладится», «Бог с вами», «вместе в Россию поедем», «увидимся еще». И самой так хочется в это верить...

Проходят мимо нас мужицкие русские телеги, такие наивные и немудрящие рядом с высокими, защитными на резиновых шинах — германскими, и на облучке такой серенький родимый замухрыга, что даже немецкая шинель на нем кажется зипуном. И запряжены они маленькими мохнатыми лошадками, за которыми бегут ручные жеребята. Всё это, вместе с людьми, ведь привезено прямо из России...

— Не поминайте лихом, барыня, — говорит Ефим Тихонович, придерживая лошадей, — а когда в православную церковь попадете, за раба Божьего Евфимия помолитесь, — и он снимает шапку.

Я берусь рукой за край его телеги и мы обнимаемся. Он крестит меня и маленького, а я уж не могу говорить. Стараюсь улыбаться, не хочу плакать перед любопытными взорами немцев и французов.

— Прощайте, барынька, генералу дай Бог здоровья, — и телега проходит мимо.

Тянутся пулеметные двуколки, грузовики, кухни, телеги. Мелькают люди в чужих мундирах, но с родными душами. И эти российские физиономии, которые узнáешь среди всех народов мира. Мы все машем, пожимаем руки. Люди срываются с своих повозок, подхватывают малыша, целуют его, спешно жмут мне руку и догоняют колесницу своей дикой судьбы.

Французские женщины стоят вдоль дороги, они тоже машут и некоторые вытирают глаза. Русское добродушие, даже под немецкой формой, завоевало их сердца. С последнего грузовика спрыгивает чуваш, который при первом знакомстве так насмешил нас, спросив, знаем ли мы «река Волга». Он всхлипывает и, ничего не говоря, обнимает меня, и стоящую за мной жену хромого сапожника, и малыша, и бегом догоняет свою машину.

Смотрю вслед пока не скрываются из виду . . .

Сережа, Коля и Яша ждут нас у кафэ на площади. Они — при офицерских автомашинах и выходят через час. Мы поспешаем туда со всей прытью, на которую способен малыш. Сережа увидел нас как только мы вышли на площадь и бежит навстречу: подхватывает мальчика на руки и мы все медленно идем к помещению штаба, так как им больше нельзя отлучаться. Коля ведет велосипед, малыша они усадили на него.

Все эти месяцы мы старались рассеять ту особую безнадежность, какую-то их уверенность, что они всё равно пропали, что жизнь загнала их в безысходный тупик. От этого они так часто напивались. Я говорила им, что по всей вероятности они так и застрянут во Франции, что здесь много русских, живут десятки лет и недурно устроились, что будем здесь дожидаться, пока можно будет вместе возвращаться в Россию. И сейчас они вернулись к этой теме.

— Ежели Сталин победит, а теперь уж видать, что так, нам возврата нет. Да и жизни в России при Сталине нет. Так вы думаете, тетенька, что нам французы разрешат у них жить?

Я так хочу их ободрить, дать какую-нибудь надежду, что обещаю всё за французов.

— А работать мы умеем, у нас всякие спецы есть, особенно по машинам разным и по электричеству. Да и в любой отрасли и по ремеслам и на земле мы согласны. Дали бы только дышать и жить без ежеминутного опасения.

— Так что, тетенька, условлено, — говорит Сережа, — ежели живы останемся и от этой одежи избавимся, прямо к

вам пробираться будем. Вы уж нам посодействуйте у французов жизнь устроить.

— Конечно. И даже если события нас раскидают, то вам не трудно будет нас во Франции отыскать.

— Да, да, ежели живы останемся — медленно тянет Яша. Эх, и судьба наша русская. Бывала ли подобная на свете?

Я думаю, что действительно не бывала. Никакой Расин, никакой Шекспир подобной трагедии не выдумал...

Фельдфебель с красным лицом вдруг набросился на моих спутников и так озлобленно орал, что даже я не поняла, что он говорит. Солдаты, вытянувшись, удивленно смотрели на него.

— Чего он лает? — осведомился Коля.

— Они — русские, они не понимают, — сказала я.

— Так пусть сейчас же идут на свое место, теперь не время шататься по улицам, им надо выступать.

Его голос совсем охрип, он видно с утра так кричит. Французы, стоящие на порогах своих лавочек, с опаской взирали на нашу группу. Немец хватился за машину, что вел Коля:

— Это же штабной велосипед, он больше не имеет права им пользоваться, пусть сию минуту отведет и сдаст его дежурному.

Крик фельдфебеля напугал малыша и он громко заревел уцепившись за Сережу. Немец немного сбавил тон, он спросил:

— Почему эти солдаты не ушли с ротой?

— Гут, гут, не разоряйся, брат, машину ведем в штаб. Мы — шоффера, фир ур уезжаем, мит официре, понял?

Странно, но фельдфебель понял. Он отпустил их энергичным жестом, помахав рукой в направлении ворот штаба.

Мы остановились, не доходя ворот, у которых суетились немцы. Надо было прощаться. Наши долго целовали мальчика, всё снова и снова жали мне руки.

— Вы понимаете, Ксения Васильевна, никого у нас нет. Ни семьи, ни родины, ни своего понятного начальства, никакой защиты. Не получаем ни писем, ни посылок, ничего. Как скот, что в вагонах на убой везут. Вот вы последние у нас были. Вы будете писать, вы не забудете?

— О, мы будем писать. Будьте покойны, мы не забудем. И помните, что мы вам говорили, надежды не теряйте. В такие времена живем, что в несколько дней все перемениться может.

— Вам виднее, мы вам верим, держите связь.

Связь... Какая она тоненькая и неверная. Один казенный номер.

Уже было совсем темно, когда дочь булочника постучала в ставни:

— Идут.

Наскоро одевшись мы вышли. Ночь была лунная и очень холодная. Как и полагается. Ведь наше Рождество.

В морозном воздухе издалека слышалось столь знакомое русское солдатское пение. Шла рота из М. Мы стали на площади под платанами, где они должны были пройти. На церковных часах пробило семь. Пение всё ближе. Никогда еще они так не пели! Все дружно, громко, точно с вызовом судьбе, а в высоком теноре запевалы звенело отчаянное залихватство. Французы высыпали на площадь.

Ряды за рядами, отбивая шаг, звякая касками и оружием проходили мимо нас. Лиц не было видно, только очертанья фигур. Мы громко кричали «до свиданья», нам отвечали: «прощайте», «пропала наша головушка», «будьте живы русские люди», «не поминайте лихом».

Мне показалось, что в одной верховой фигуре я узнала московского экс-партийца, с которым у нас были такие долгие и напряженные разговоры, и я была рада, что в темноте он нас не заметил.

Потянулись обозы. Одну телегу придержал сгорбившийся худой возница и я сразу узнала старого солдата, которого товарищи дразнили «пскопской», и подбежала вплотную.

— Одно словечко, барыня, надеяться-то нам можно?

— Можно, можно, я же вам говорила. Скоро всё переменится, бодритесь.

Чего бы я не обещала в этот момент . . .

— Прощайте, не забывайте.

— Бог с вами. До свиданья.

Всё дальше и дальше раздавалось «Соловей, соловей пташечка». Прерываемая сухим криком немецкой команды, звонко неслась русская песня над французскими лесами и постепенно замирала вдали.

Куда ушли они безродные, беззащитные в эту холодную чужую ночь? И отчего такой острой жалостью болит сердце?

Или маленькие русские лошадки на смешных деревянных телегах увезли последний кусочек Родины, которую мы больше не увидим? . .

Ксения Деникина

ТРАГЕДИЯ Г. В. ПЛЕХАНОВА

(К 30-летию со дня его смерти)

Как рыцарь Шиллера, он ждал всю жизнь, чтобы у «Прекрасной Дамы» стукнуло и отворилось окно. Февральская революция, наконец — и казалось, навсегда — окно свободы отворила. Плеханов, бросая Женеву, тридцать семь лет эмигрантской жизни в Европе, спешит в Петербург. Он прибывает туда 31 марта. Ему устраивают торжественную встречу на Финляндском вокзале, с почестями приветствуют в Совете рабочих и солдатских депутатов, но почти немедленно, трагически, обнаруживается, что с этой революцией, которую, по его словам, он ждал «как верующий Мессию», у Плеханова нет общего языка. 5-го апреля, несколько дней после приезда, выступая против большевистской «Правды», он начинает писать в «Единстве», делающейся его газетой. И с каждой его статьей, все яснее и чем дальше тем глубже, обнаруживается пропасть между революцией и взглядами его — основоположника русской социал-демократии. «Революция, как-то писал он, говорит нам, как некогда Егова сказал еврейскому народу: я Господь Бог твой и да не будет у тебя других богов, кроме меня». Но когда Плеханов видит, что на лице бога явственно и отчетливо проступают скулы и прищуренные, косящие глаза Владимира Ильича, призывающего к восстанию против Временного правительства, он отшатывается от бога, бунтует, восстает против него...

Плеханов — оборонец или, как презрительно говорили большевики, «социал-патриот». Не может быть мира с немцами, пока немецкие войска занимают часть России, Бельгию и северную часть Франции. «Мы не того желаем, чтобы Россия разгромила Германию, а чтобы Германия не разгромила Россию». Революция придерживается другого мнения. Она хочет не воевать, а брататься с победителями немцами. Она требует скорейшего заключения мира «без аннексий и контрибуций», в сущности мира любой ценой. Плеханов с ужасом видит, что немецкие войска подвигаются вглубь России, «сметая русские

дружины, как ветер гонит прах долины и клонит пыльную траву». Он с негодованием пишет, что под влиянием большевистской, «кинтал-циммервальдской, пропаганды фронт разлагается, солдаты бросают оружие раньше, чем на них нападает неприятель». «Армия без дисциплины не армия, а дикая деморализованная орда». Плеханов энергично поддерживает Савинкова, настаивающего в целях поддержания дисциплины, на введении смертной казни на фронте. И, быть может, ничто лучше не характеризует в это время позицию и чувства Плеханова, чем фраза, которую, подхватывая слова А. Ф. Керенского, он в номере от 10 сентября «Единства» с силой бросает в лицо меньшевистской «Рабочей Газете»: «Будь проклят тот, кто в настоящее время заговорит о мире. Будь проклят он во имя самых жизненных, самых святых, интересов России и русской революции».

Не только в этом его расхождение с Еговой. Плеханов убежден, что «русская история еще не смолола той муки, из которой будет современем испечен пшеничный пирог социализма, а пока она такой муки не смолола, участие буржуазии в государственном управлении необходимо в интересах самих трудящихся. Участие буржуазии особенно необходимо в нынешнее совершенно исключительное время».

Эта идея совсем не ко двору революции. Следуя за Лениным, она все более пылает антибуржуазными чувствами. В красном хмелю она кричит «долой министров-капиталистов» и в число этих капиталистов попадает и Керенский. Революция — сознательно и бессознательно — стремится превратить войну внешнюю в войну гражданскую, в борьбу против буржуазии и помещиков. Плеханов идет против стихии, против течения. Революция обходит его, перекатывается чрез его голову. Она не слушает его. Прочитав несколько номеров «Единства», некий Степан Кокотько, матрос Балтийского флота, пишет Плеханову:

«Весь смысл вашей газеты противоречит рабочему и крестьянскому классу. Я открыто скажу, что вы человек, продавший свою совесть капитализму. Прошу вас, товарищ, обратить внимание на то, что за вами никто не пойдет, кроме буржуазии».

Плеханов поместил это письмо в ном. от 5-го мая «Единства» под заголовком: «Письмо темного человека». Таких «темных» людей были миллионы. За Плехановым они не шли. Но против Плеханова не только Степаны Кокотько, а весь левый и левящий марксистский лагерь. Для «Правды», —

Плеханов только «холоп буржуазии», «ренегат», «горе-марксист». «Наша Жизнь» М. Горького третировала его свысока как отсталого, ничего не понимающего человека, на что Плеханов спокойно ответил, что в публицистике М. Горького, руководителя газеты, «ума не больше, чем было в публицистике Гоголя». «Рабочая Газета» меньшевиков Петербурга писала, что судьба органа Плеханова — «хаять и брюзжать на русскую революцию», а «Вперед» меньшевиков Москвы видел в Плеханове и его окружении «ничтожную группку интеллигентов, оторвавшуюся от рабочего движения». Кто мог-бы предвидеть такое положение Плеханова в русской революции? «Если в 1905-1907 гг., с грустью замечал Плеханов, меньшевики разделяли мои тактические взгляды, то теперь весьма значительная, кажется, даже наибольшая их часть, по своим тактическим воззрениям, оказалась более близкой к Ленину, нежели ко мне». Плеханова особенно удручало политическое размножение тех, кого он называл «полуленинцами».

«Опасны не ленинцы, а полуленинцы. Под полуленинцами я понимаю тех наших социалистов, которые отвергая некоторые основные посылки ленинской тактики, всё-таки подготовляют его победу тем, что разделяют другие его посылки, в практическом отношении более важные». Анализируя на многих примерах типы и степени этого «полуленинства», Плеханов восклицал: «Неужели вы не понимаете — посеешь четверть, пожнешь несколько четвертей, посеешь ветер, пожнешь бурю, посеешь полуленинство, пожнешь ленинство».

Глубочайше убежденный, что по ряду объективных условий (на первом месте он ставил уровень развития производительных сил России) никакой иной, кроме буржуазной, революции в ней быть не может, Плеханов из этого ее характера — с замечательной, можно сказать, железной последовательностью — делал все необходимые логические, политические и социальные выводы. В качестве ортодоксального марксиста Плеханов всегда утверждал, что история есть борьба классов. Желая быть «сознательным выразителем этого бессознательного процесса», обострением классовой борьбы, как бичем, гнать историю к финалу, к «конечной цели», диктатуре пролетариата и социализации средств и орудий производства, он с ожесточением бил по идее ослабления классовых противоречий, смягчению классовой борьбы, примирению и соглашению классовых интересов, сотрудничеству классов. Подобные идеи он считал злостным оппортунизмом, реакционной ревизией марксизма, выниманием из него революционной души

Во время войны у него большой перелом. В 1917 году, приехав в Россию, Плеханов стал ревностным защитником сотрудничества классов, соглашения классовых интересов, коалиции революционной, социалистической демократии с прогрессивными слоями буржуазного общества и, в первую очередь, с представителями торгово-промышленного класса. Его попытки (см. номера «Единства» от 13-23 июня) согласовать такую позицию с тем, что он писал прежде против «сотрудничества классов» и о необходимости не ослаблять, а обострять классовую борьбу — до крайности неловки. Но «новая» позиция — зачатки ее видны у него еще в 1883 году в книжке «Социализм и политическая борьба» — логически вытекала, повторяю, из убеждения, что «песенка капитализма в России не спета», что буржуазную революцию нельзя делать без буржуазии и против нее, что одна революционная демократия не может справиться «со всеми злобами нашего нынешнего исторического дня», в особенности со сложными хозяйственными задачами. О соглашении классов и отсюда вытекающем коалиционном министерстве, напоминал Плеханов, «я говорил с первого момента моего вступления на родную почву, но оставался почти один среди моих товарищей». На эту тему он написал много статей и постоянно к ней возвращался. Написанное им представляет совершенно особый, актуальный интерес именно сейчас. Во всей послевоенной Европе (Франции, Италии, Бельгии, Голландии — можно продолжить, Германии, Австрии и т. д.; исключение — Англия, но она к тому же придет!) коалиция, соглашение, сотрудничество социалистов с определенными буржуазными слоями и партиями, например, с христианскими демократами, необходимы как условие социальных преобразований и решения экономических проблем на базе демократического строя. Коалиционные правительства в Западной Европе являются заслоном от всяких вариаций тоталитарного строя, который, вследствие огромных ошибок и попустительства Соединенных Штатов и Англии, Кремлю удалось навязать Восточной Европе и который он пытается навязать и странам лежащим дальше на Запад.

Ограниченный местом, я могу привести здесь лишь небольшие выдержки из того, что по этому, ставшему в Европе остро-актуальным, вопросу, — писал Плеханов в «Единстве» (номера от 25 мая, 16 июля, 13 и 15 августа, 8, 16, 17 сентября).

«Коалиция нужна для избежания гражданской войны. Коалиция нам нужна для устранения той грозной хозяйственной

разрухи, борьба с которой не может быть успешно ведома силами одной только революционной демократии. Вне коалиции для нас нет спасения. Нужна не капитуляция, а именно коалиция. Власть должна опираться на коалицию всех живых сил страны. Власть, воздвигнутая на узком социальном фундаменте, неизбежно страдает неустойчивостью. А неустойчивость власти так же неизбежно вводит в искушение разных авантюристов, пытающихся заменить ее новой властью, более удобной для их честолюбивых замыслов. Всякое коалиционное правительство возникает как результат взаимных уступок. Коалиция есть соглашение. Соглашение не есть борьба. Кто входит в соглашение, тот в его пределах, — заметьте, я говорю в его пределах, — отказывается от борьбы. А кто продолжает борьбу, тот нарушает соглашение. Тут середины быть не может: не хотите соглашения — идите за Лениным, не решаетесь итти за Лениным — входите в соглашение. Классовая борьба не есть самоцель. Если классовая борьба есть лишь средство для защиты классового интереса, то всякий общественный класс показал бы себя весьма неразумным, если бы счел себя обязанным вести классовую борьбу там, где она не только полезна, но вредна с точки зрения классового интереса. Неужели интересы рабочих всегда и во всем противоположны интересам капиталистов? Неужели в экономической истории капиталистического общества не бывает таких случаев, когда указанные интересы совпадают между собою? В тех случаях, когда эти интересы совпадают между собою и когда обе стороны понимают это, происходит уже не борьба классов, а их сотрудничество. Политические сделки бывают жизнеспособны только тогда, когда в их основе лежит соглашение экономических интересов. Соглашение же экономических интересов, в свою очередь, предполагает не эклектическое сглаживание противоположностей, а хотя бы временное их разрешение с помощью единого руководящего принципа. Принцип, который можно и должно положить в основу экономического соглашения между пролетариатом и буржуазией, заключается в широкой системе социальных реформ. Социалисты должны вступить в коалиционное министерство, чтобы работать для удовлетворения насущных нужд страны вместе с несоциалистическим его элементами, а не затем, чтобы вести с этими последними «классовую борьбу». К соглашениям нельзя прийти без взаимных уступок. Нет таких формальных

препятствий, с которыми нельзя было бы справиться, обладая нужным запасом благоразумия и доброй воли. Но в том то и дело, что тут много, очень много, требуется как благоразумия, так и доброй воли. Чтобы побороть указанные препятствия, необходимо смотреть на предмет с точки зрения нужд всего населения, а не с точки зрения интересов отдельного общественного класса или слоя. В противоположном случае ничего хорошего не выйдет».

Достаточно внимательно прочитать приведенные цитаты, чтобы ясно усмотреть в них вехи совершенно новой концепции социализма. Это не ортодоксальный марксизм. Это очень далеко от того, что защищал Плеханов, занимая крайне-левую сторону на Олимпе Социалистического Интернационала. Очень далеко от Плеханова, до сих пор бичевавшего «притупление» классовых противоречий, рассматривавшего «предмет» отнюдь не с точки зрения нужд всего населения, а исключительно с т. н. пролетарской точки зрения, настойчиво и абсолютно отожествлявшейся им с интересами всего населения. Новую для Плеханова позицию, его «философию» коалиции и соглашения, хотя они с ней, конечно, незнакомы, ныне разделяют сторонники Сарагата в Италии, голландские социалисты, товарищи Спаака в Бельгии, французские социалисты, идущие за Блюмом, и, по существу, все скандинавские социалисты. Аргументы Блюма в защиту образования «третьей силы» — коалиции социалистов с христианскими демократами — чрезвычайно близки к доводам Плеханова. А когда Блюм говорит, что трудности и препятствия, «имманентные» современным коалиционным правительствам должны быть разрешены, если каждая сторона выскажет «bonne volonté à les resoudre», — он, не зная того, повторяет Плеханова. Впрочем, одной доброй воли здесь мало. Современные коалиционные правительства Европы, с огромной ролью и весом в них социалистических партий, не суть, по выражению Блюма, лишь «gérants honnêtes» буржуазного общества, правительственные образования, появляющиеся на свет божий только потому, что никакие другие правительственные комбинации парламентски невозможны. Потрясенный второй планетарной войной, мир, еще с большей чем прежде быстротой, уходит от старых берегов буржуазно-капиталистического общества. Пред «gérants honnêtes»-а в отличие от коммунистов они должны быть действительно честными — стоит не задача охранять исчезающее, а творить новое. Но в нашу эпоху политические, экономические, культурные, технические, организационные

задачи национального и интернационального характера исключительно сложны и велики (они неизмеримо сложнее тех, что пред коалицией в России ставил Плеханов). Для их разрешения от политических сил и партий, входящих в коалицию, требуется не только добрая воля. Нужна сильная воля. Требуется много знания, очень большая культура и широчайший кругозор. У современных коалиций и у социалистических партий, в коалиции идейно ведущей силы, всего этого часто недостает. Это говорит лишь о грандиозности задач демократического социализма и малой к ним подготовленности человечества. По ту сторону железного занавеса стройка социализма — дело несложное: непогрешимый вождь там фабрикует социализм с помощью «единой» партии, полиции, расстрелов и концентрационных лагерей.

***

В августе 1917 года Временное Правительство А. Ф. Керенского — в поисках столь необходимой для него опоры — созвало в Москве т. н. Государственное Совещание из представителей всех, как говорили тогда, «живых сил» страны. «Иконы» революции, старейшие и виднейшие представители ее течений — Г. В. Плеханов, В. И. Засулич, Брешко-Брешковская, ученый анархист Крапоткин, ставший ревностным государственником — были, конечно, среди приглашенных. Во время Государственного Совещания, продолжавшегося три дня, и после него — Г. В. и Р. М. Плехановы были нашими гостями. Они прожили у нас 10 или 12 дней. Если бы во время пребывания у нас Г. В. Плеханова я не имел с ним ряда бесед, часто принимавших характер лишь интервью, вряд ли я мог бы так отчетливо установить, в каком виде он рисовал себе после успешной «буржуазной» революции — «вырвавшуюся из объятий Азии и окончательно ставшую на путь европеизации Россию». В качестве одного из примеров (и очень важного) полученных от него на этот счет объяснений укажу, что на мой вопрос, должна ли по его мнению, коалиция социалистов с буржуазными партиями иметь короткий, временный характер — только во время «разгара» революции — или быть актом длительным, он ответил:

«Конечно, она должна быть длительной. Нам нужно преодолеть разруху, созданную войною, намного поднять уровень развития наших производительных сил, нам придется платить большие внешние долги, поднять наш экспорт и импорт. Это

не дело дня или года. Нельзя достигнуть успешных результатов во всем этом без серьезного соглашения, без длительного сотрудничества сознательных элементов рабочего класса с деловыми представителями буржуазии. Когда говорю о коалиции, я не имею в виду на первом плане коалицию с Павлом Николаевичем Милюковым. Павел Николаевич — превосходный ученый, но насколько я знаю, фабрик и заводов он не имеет. А меня больше всего интересует сознательный, основанный на продуманном соглашении, контакт рабочих с теми, кто имеют фабрики и заводы. Ведь в этой области создаются объективные условия нашего экономического процветания, а значит и социального прогресса».

Далеко не о всем можно было беседовать с Плехановым. Почтение к гостю заставляло, например, избегать всего, что имело касательство к философским вопросам. Здесь расхождение с ним (против его философского материализма я в 1908 году написал книгу) было слишком резким. Приходилось избегать разговоров о мире. Это очень волновало Плеханова. Некоторых других тем тоже не нужно было трогать, чтобы не напоминать, ныне меня абсолютно нерадующие, склочные выпады, которые, впрочем, защищаясь, я делал против него в Женеве, будучи «ленинцем». Однако, как я ни старался ничем не делать неприятности Г. В. Плеханову, это случилось и вот по какому поводу.

В Киеве в 1902-1903 гг. в один из рабочих кружков, которые я посещал в качестве пропагандиста, входил 19-летний конторщик железно-дорожных мастерских Н. Вилонов, человек очень одаренный. Втянутый в кружок «от сохи», без всяких политических знаний, он через несколько месяцев оказался на несколько голов выше других рабочих этого кружка. Весною 1903 года Вилонов уехал из Киева и я совершенно потерял его из виду. Он стал видным революционером в рядах большевиков, сидел по тюрьмам, бегал из них, высылался в Сибирь, убегал из ссылки. Он переписывался с Лениным (подписываясь «Михаил Заводской») и с М. Горьким, а в 1908 г., уехав из России, был в числе слушателей организованного М. Горьким на Капри «социал-демократического университета». Разойдясь с профессорами этой школы (А. А. Богдановым, Базаровым, Луначарским и др.) он покинул Капри, приехал в конце 1909 года в Париж, где, по словам Ленина, последний имел с ним разговоры «по душам». Ленин считал Вилонова крупнейшей фигурой, «настоящим рабочим передовиком». После свидания с ним Ленин в письме к Горькому указывал, что

появление таких людей как Вилонов («товарищ Михаил») есть «порука», что русский рабочий класс и «скорее, чем кажется иногда с точки зрения треклятого эмигрантского положения, выкует превосходных революционеров». О перипетиях жизни Вилонова (он умер в Швейцарии в 1910 году) я узнал отчасти от М. Горького в 1915 году, а больше всего после появления в печати писем Ленина в первом «Ленинском Сборнике» и в томах его сочинений. Когда в 1904 году Ленин говорил и писал о некоем «Михаиле Заводском», посылавшем ему письма из Екатеринослава, мне и в голову не приходило, что это тот самый Вилонов, мне столько крови попортивший в Киеве в конце 1902 года.

В те годы в партии не было ни одного человека, полагавшего, что предстоящая революция будет не буржуазной, а социалистической. Ленин, в вышедшей в 1905 году книжке «Две тактики социал-демократии в демократической революции» называл:

> «нелепыми и анархическими мысли о немедленном осуществлении программы — максимум, о завоевании власти для социалистического переворота. Только самые невежественные люди могут игнорировать буржуазный характер происходящего демократического переворота. Пытаясь немедленно поставить себе целью социалистический переворот, социал-демократия действительно осрамила бы себя. Совершенно нелепа мысль, что буржуазная революция не выражает вовсе интересов пролетариата. Буржуазная революция в высшей степени выгодна пролетариату».

Ленин повторял «истину», установленную Плехановым еще в начале 80-х годов, но можно показать, что приятие ее было у него временным, никогда не было глубоким, прочным, а только словесным. Оно противоречило его темпераменту, всему комплексу его воззрений и резко расходилось с его тактикой. Юноша Вилонов в 1902 году хронологически был первым в рядах социал-демократов, с присущей ему резкостью и страстью начавший доказывать, что если предстоящая революция до основания снесет царизм, то она не будет и не может быть буржуазной. В своих рассуждениях Вилонов исходил из фразы, произнесенной Плехановым в 1889 году на конгрессе Социалистического Интернационала:

«Русское революционное движение восторжествует как движение рабочего класса или оно не восторжествует вовсе».

Из этого положения (несомненно двусмысленного!), почитаемого не только им, а всей партией аксиомой, Вилонов

делал следующий вывод: раз революционное движение восторжествует именно как движение рабочего класса, оно должно иметь своим неминуемым следствием установление или хотя бы попытку установления социалистического строя. Сбить его с этой позиции представляло огромную трудность. Его логика, нужно признать теперь, была безупречной. «Невозможно допустить, настаивал Вилонов (обычно прибавляя — «только интеллигенты этого не могут понять»), чтобы восторжествовавший рабочий класс не стал трогать, не стал бы разрушать ненавистные ему капиталистические отношения. Он несомненно захватит фабрики и заводы и неужели вы, интеллигенты, будете с полицией и жандармами силою вырывать у него эти фабрики?».

Плеханов, нахмурив брови, слушал мой рассказ с огромным вниманием. О Вилонове и связи его с Лениным он ничего не знал. В «Единстве», ссылаясь на свою фразу в 1889 году, он не раз употреблял такие выражения: «восторжествовавший рабочий класс», «рабочий класс, ставший ныне господином положения», но почти всегда, как он это сделал в номере от 20 июня, к этому прибавлял: «мы должны вести свою пропаганду и агитацию так, чтоб под их влиянием народ не вообразил, будто ему не остается ничего другого, как теперь же попытаться сделать социалистическую революцию». По поводу того, что я сообщил, он мог ограничиться критикой Вилонова, если бы, нисколько не отдавая себе отчет в том, что это должно задеть Плеханова, я не сказал: Вилонов был ленинцем раньше Ленина, в 1902-3 г. он оказался предшественником идей, которые теперь, в 1917 году, Ленин проводит на практике. Плеханов даже вскочил со стула:

«Позвольте, если то, что проповедует сейчас Ленин полностью совпадает со взглядами Вилонова, а последний их, якобы, выудил у меня, тогда по законам логики нужно признать, что теоретическим виновником нынешнего преступного поведения Ленина являюсь я — Плеханов. Выходит, что я вроде духовного отца Ленина. Мне уже не раз, когда Ленин греховодил, приходилось слышать об этом. Говорил мне об этом и В. Адлер. Я ему тогда ответил: если Ленин мой сын, то во всяком случае незаконнорожденный. Нет, нас не нужно смешивать. От этой чести решительно уклоняюсь. Различие между нами очень, очень большое: я хотел сеять пшеницу, Ленин же сеет чертополох. Не нужно быть агрономом, чтобы различать сии растения».

Отношения между Плехановым и Лениным в это слишком

простое противоположение пшеницы и чертополоха, разумеется, не укладываются, хотя различия между ними были действительно громадные. Они расходились во взглядах на партию, ее организацию, ее руководство, ее дух. Расходились во взгляде на русскую революцию и разногласие здесь, в скрытом виде, было всегда с момента первой встречи в 1895 г., когда Плеханов сказал 25-летнему Ленину: «вы поворачиваетесь к либералам спиною, а мы лицом». У Плеханова на русскую революцию был, кажется, только ему одному присущий, я бы сказал, особый философский взгляд, характерно политически выраженный в 1905-6 г.г. и в 1917 году. Очень большое разногласие сказалось у них и в общем понимании образования условий и предпосылок появления социалистического строя. В связи с этим, они разошлись и во взгляде на такой важный вопрос как роль личности в истории. Формулы в этой области Плеханова ни в коей мере не увязывались с психологией, натурой, бурным волюнтаризмом Ленина. Но в другой части своих воззрений Плеханов несомненно был учителем, духовным отцом Ленина. До осени 1900 года Ленин, по его словам, был «влюблен в Плеханова». Для него Плеханов был «кумир». Даже отодвинувшись от него, Ленин в 1904 году говорил Лепешинскому: «Плеханов — человек колоссального роста, пред ним приходится съеживаться». Однако, тут же прибавил: «а всё-таки мне кажется, что он уже мертвец, а я живой человек».

Философская книга Ленина «Материализм и эмпириокритицизм — заметки об одной реакционной философии», несмотря на кое-какие выпады против Плеханова, лишь индивидуальная форма потребления всё того же плехановского материализма. Это всё тот же разговор о «буржуазной философии», о «ведьме с красными, желтыми и белыми глазами», которым так ошарашил меня Г. В. Плеханов в апреле 1904 г. «Новейшие течения в философии, вроде эмпириокритицизма», говорил Плеханов на Лондонском съезде партии в 1907 году, «представляют собою лишь теоретическое отражение борьбы буржуазии с революционными стремлениями пролетариата». Ту же мысль, в более смягченной форме, находим мы и в предисловии к его трехтомной «Истории развития русской общественной мысли». Этот взгляд вслед за Плехановым развивал и Ленин в своей книге, которая после 1930 года была объявлена неподлежащей критике, незыблемым достоянием обязательной для всех в СССР идеологии. Усвоил Ленин и плехановское убеждение, что весь ортодоксальный марксизм

от «Манифеста Коммунистической Партии» до III тома «Капитала» есть непоколебимая, вечная истина и попытки ее ревизии должны рассматриваться как контр-революционное буржуазное поползновение. Ленин, разумеется, вполне разделял «Критику наших критиков» Плеханова с ее хлестанием по Э. Бернштейну, по идее ослабления классовой борьбы, по идее сотрудничества классов, с ее явно противоречащим фактам убеждением, что в капиталистическом обществе происходит абсолютное обнищание рабочего класса. Было кое-что и другое, поважнее, в чем отцом Ленина оказался Плеханов. Мы это узнаем, раскрыв протоколы «Второго очередного съезда (в 1903 году) Российской Социал-демократической Партии». В них на 168-ой странице напечатана следующая речь Посадовского, делегата Сибирского союза партии:

> «Несомненно, мы не сходимся по следующему основному вопросу: нужно ли подчинить нашу будущую политику тем или иным основным демократическим принципам, признав за ними абсолютную ценность, или же все демократические принципы должны быть подчинены исключительно выгодам нашей партии? Я решительно высказываюсь за последнее. Нет ничего среди демократических принципов, чего мы не должны были бы подчинить выгодам нашей партии (восклицания: «и неприкосновенность личности?») Да, и неприкосновенность личности. Как партия революционная, стремящаяся к своей конечной цели — социальной революции, мы исключительно с точки зрения скорейшего осуществления этой цели и с точки зрения выгоды нашей партии должны относиться к демократическим принципам. Если то или иное требование будет невыгодно нам, мы его не будем вводить».

Знаем теперь, что несет это воззрение, претворяясь в жизни. Ныне ни Сталин, ни один из его гаулейтеров — Готвальд, Дмитров, Тито, Гроза, Ракоши, Берут, Торес, Тольятти — не осмелятся открыто признать свое согласие с речью Посадовского. Наоборот, все они желают себя представить в виде верных рыцарей демократических принципов. Но суть того, что говорил Посадовский, и есть нутро сталинского коммунизма: «всё позволено». Исходя из посылок Посадовского можно затоптать не только свободу слова, печати, совести, собраний, право выбора, но вообще превратить человека в гриб-поганку и дойти до чудовищного истребления миллионов людей, неугодных по их воззрениям. Ведь «нет ничего, чего мы не должны подчинить выгодам нашей партии». Не нужно

думать, что лично Посадовский (его настоящая фамилия В. Е. Мандельберг) был способен претворить в жизни гнусные выводы, логически вытекающие из его речи. Колеблющийся большевик, он вскоре стал меньшевиком, а потом совсем бросил русскую революцию и уехал в Палестину. Его речь на съезде была только революционно-звенящей, непродуманной, безответственной болтовней. В свое время мы почти все ею занимались: 45 лет назад речь Посадовского, например, меня мало шокировала. «Цель оправдывает средства». Это у всех было на устах. Мы просто многого не знали, еще более — многого не понимали. Мы были самонадеянно глупы. Нужен был удар молотом по голове, чтобы открылись глаза и наступило прояснение . А Плеханов?

Тут приходится сказать: одно дело — простой смертный, другое — Юпитер. Плеханов был «Юпитером», выдающимся вождем партии, человеком большого знания, настоящим европейцем, по своей общей и политической культуре на много выше всех делегатов съезда. О нем нельзя было сказать: он это говорит потому, что не понимает о чем говорит. Что же он сказал, выслушав Посадовского? Нечто ужасное: «в полне присоединяюсь к словам тов. Посадовского». Из этого полного согласия с Посадовским следовало очень многое и, как частность, то, что Плеханов иллюстрировал его таким примером:

> «Гипотетически мыслим случай, когда мы, социал-демократы, высказались бы против всеобщего избирательного права. Буржуазия итальянских республик лишала когда-то политических прав лиц, принадлежащих к дворянству. Революционный пролетариат мог бы ограничить политические права высших классов, подобно тому (sic!) как высшие классы ограничивали когда-то его политические права. О пригодности такой меры можно было бы судить с точки зрения правила: Salus revolutiae (sic!) suprema lex est. И на эту же точку зрения мы должны были бы стать и в вопросе о продолжительности парламентов. Если бы в порыве революционного энтузиазма народ выбрал очень хороший парламент, то нам следовало бы стараться сделать его долгим парламентом, а если бы выборы оказались неудачными, то нам нужно было бы стараться разогнать его не через два года, а если можно, то через две недели».

Протоколы съезда отмечают, что речь Плеханова вызвала рукоплескания, но на некоторых скамьях и шиканье, заглушенное голосами: «вы не должны шикать». Тогда один из де-

легатов Егоров (Левин) встал и заявил, что «раз такие речи вызывают рукоплескания, то я обязан шикать». Этот политически зоркий и чуткий человек вскоре совершенно отошел от революции, точно предчувствуя куда она идет. «Шикание» Егорова разделял и другой делегат съезда, В. Д. Медем (на съезде выступавший под кличкой Гольдблат) — представитель и руководитель еврейского Бунда, в 1921 году фактически тоже отошедший от революции (он уехал в Америку*).

Анализируя в книжке «Шаг вперед — два шага назад» дебаты на съезде, приведшие к расколу партии на большевиков и меньшевиков (формально, совсем не в связи с поднятым Посадовским и Плехановым вопросом, но глубинно, фактически именно в этой связи, как о том теперь ясно свидетельствует позиция меньшевистского «Социалистического Вестника» в Нью Иорке), Ленин отнес людей «шикавших» Плеханову к категории презираемых им «жирондистов-оппортунистов». «Жирондист, вздыхающий об абсолютной ценности демократических требований, — это и есть оппортунист». Ленин такому политическому типу противопоставлял «якобинцев», твердых социал-демократов, большевиков, не признающих за демократическими принципами никакой безусловной ценности. «К сожалению, писал он, дебаты были закрыты и выплывший по поводу них вопрос сошел тотчас со сцены». Вопрос сошел со сцены маленького подпольного совещания, чтобы, к сожалению, чрез 14 лет появиться уже на грандиозной сцене потрясенного революцией Государства Российского. И Немезиде — она кое-когда в истории появляется! — было угодно, хотя Плеханов от этой картины с печалью, отвра-

*) Не нужно всё-таки думать, что только Егорова и Медема покоробили слова Плеханова. Протоколы этого не отмечают, но можно быть уверенным, что в числе «шикавших» были В. П. Махновец-Акимов и его сестра. Несколько недель позднее на съезде Лиги социал-демократов от Плеханова несколько отгородился и Ю. О. Мартов, будущий лидер меньшевиков (в 1917-18 гг. — в глазах Плеханова он был «полуленицем»). «Слова Плеханова, — говорил Мартов, — «вызвали негодование части делегатов. Его легко было бы избежать, если бы Плеханов добавил, что, разумеется, нельзя себе представить такого трагического положения, при котором пролетариату для упрочения своей победы пришлось бы попирать такие политические права, как свободу собраний». Плеханов ироническим «merci» дал понять, что дополнения и оговорки Мартова он не принимает.

щением и негодованием отворачивался, показать ему, как это в порыве «революционного энтузиазма» Степаны Кокотько, по приказу свыше, «разгоняют» народное представительство. В избранном по всем правилам «четырехвостки» Учредительном Собрании сторонники Ленина имели не более 25% голосов. И Ленин, стремясь к «скорейшему осуществлению конечной цели — социальной революции», находил, что такая ситуация «невыгодна» его партии и потому разогнал Учредительное Собрание не через две недели, а в день его открытия. Все было сделано в духе формулы Посадовского и как в свое время рекомендовал Плеханов.

На это обстоятельство, т. е., что к акту Ленина «идейно» руку издалека приложил Плеханов, немедленно после смерти Учредительного Собрания указали Мирский в «Вечернем часе» и В. М. Чернов в «Деле Народа». «Улики» — протоколы съезда — были налицо, обвинение в тот момент было столь жгуче, ранило столь больно, что Плеханов не мог обойти его молчанием. Орган его «Единство» перестал выходить после октябрьского переворота, но в конце декабря 1917 года вместо него сделало попытку появляться «Наше Единство» и в нем в двух больших статьях (номера от 11 и 13 января 1918 года) Плеханов попробовал объясниться. Статьи эти имеют то особое значение, что после них Плеханов уже ничего более не писал. «Болезнь, сообщил он, мешает мне писать». Это его последние предсмертные высказывания в печати. Его сорокалетняя литературная деятельность обрывалась на самом тягостном в жизни Плеханова политическом объяснении. Почти накануне смерти этому гордому человеку пришлось оправдываться, доказывать, что он не соучастник преступления против страны, о которой, в речи 3 апреля в Совете Рабочих Депутатов, он говорил:

«Я люблю мою страну. Этого чувства любви вы из моего сердца не вырвете».

Увы, последние статьи Плеханова принесли многим глубокое разочарование. Потому ли, что помешало самолюбие, нежелание покаяться в прошлых ошибках (однако, в статье от 29 декабря — он писал «мне захотелось покаяться, лучше поздно, чем никогда») или потому, что в самом его мировоззрении была большая червоточина, очень большие противоречия (а какой большой человек их не имел?), но Плеханов не отмежевался ясно и твердо от идеи легализировавшей разгон Учредительного Собрания. В своем ответе он обошел полным молчанием свое согласие с

формулой Посадовского и у него как бы не хватило смелости, хотя он имел обыкновение цитировать самого себя, en toutes lettres привести то, что на съезде партии он говорил о разгоне парламентов. Вместо цитаты — в январе 1918 года она звучала бы особенно одиозно — он ограничился окольной фразой:

> «В одном из примеров, приведенных мною на съезде 1903 года, говорилось об Учредительном Собрании. Это и сделало мой пример «актуальным» для наших дней. Те, которых он испугал, поняли его так, что я способен был оправдать разгон собиравшегося у нас Учредительного Собрания». «Диктатура большевиков представляет собою не диктатуру трудящегося населения, а диктатуру одной части его, диктатуру группы». «Во всяком случае ни социализм вообще, ни марксизм в частности тут совершенно непричем». «Нельзя меня как теоретика русского марксизма делать ответственным за всякие нелепые или преступные действия всякого русского «марксёнка» или всякой группы «марксят». «Нет такой политической мысли, которая не могла бы быть использована софистом для ложных и вредных выводов». «Очень наивно думать — будто влияние речи, произнесенной мною на нашем съезде 1903 года, побудило большевиков запереть двери Таврического Дворца».

Здесь почти все неверно, начиная с того, что «марксизм тут совершенно непричем». Ленин, которого в раздражении Плеханов так неудачно назвал «всяким марксёнком», вероятно, разогнал бы Учредительное Собрание и без совета в 1903 г. Плеханова, но не подлежит никакому сомнению, что идеи Плеханова в период, когда тот еще не стал «горе-марксистом», имели на Ленина огромное влияние. Он воспитывался на них. Он впитал в себя идею «диктатуры пролетариата», ту, что Плеханов ввел в составленную им программу партии. А под диктатурой пролетариата Плеханов разумел «подавление всех общественных движений, прямо или косвенно угрожающих интересам пролетариата». Неверно, что на выбрасывание Учредительного Собрания из Таврического Дворца не имела будто никакого влияния речь Плеханова. Рецепт Плеханова Ленин крепко-накрепко запомнил. На этот счет мы имеем свидетельство Крупской (см. ее «Воспоминания о Ленине», из. 1932 года, стр. 70): «Речь Плеханова о том, что основным демократическим принципом должно являться положение 'высший закон — благо революции' и что даже на принцип всеобщего избирательного права надо смотреть с точки зрения этого основного принципа, произвела на Владимира Ильича глубокое впечатление. Он вспомнил

о ней, когда 14 лет спустя перед большевиками встал во весь рост вопрос о роспуске Учредительного Собрания».

Своим последним статьям Плеханов дал заголовок — «Буки-Аз-Ба», — давая этим понять, что аргументы и вещи им разбираемые являются простыми, азбучными истинами. С этим никак нельзя согласиться. Его доводы отличаются крайней шаткостью, чтобы не сказать большего. Это обнаруживается с особенной ясностью в той части его статей, где он доказывает, что «я рассуждаю теперь всё так же, как рассуждал прежде». Ссылаясь на гегелевскую диалектику, на то, что нет ничего абсолютного и безусловного (нет, значит, и абсолютной ценности демократических принципов), что всё зависит от обстоятельств места и времени, Плеханов пояснял, что, например, и «учредительные собрания имеют разный характер», одни из них хорошие, другие очень плохие. Учредительное собрание в России было хорошее, оно «обеими ногами стояло на почве интересов трудящегося населения», и Ленин не должен был его разгонять. Но вот учредительное собрание Франции в 1848-49 гг. было плохим и «если бы парижский пролетариат, быстро оправившись от жестокого поражения, нанесенного ему Кавеньяком, положил насильственный конец деятельности этого органа реакции, то я не знаю, кто из нас решился бы осудить такое действие».

Таким образом одни учредительные собрания можно разгонять, другие нельзя. Размер статьи не позволяет мне входить в детальный разбор вопроса «разгоняемы» ли вообще учредительные собрания, избранные свободно и всем населением. Остановлюсь лишь на французском собрании 1848-49 г.

Заметим, прежде всего, что французское учредительное собрание было избрано прямым и всеобщим (мужчин) голосованием. Это было огромным шагом вперед. В 1847 году избирательным правом пользовалось, максимум, 250 тысяч человек, в 1848 г. — девять миллионов французов получили право голоса. Lavisse говорит: «Cela nous semble tout simple aujourd'hui, en 1848 cela semblait extraordinaire». Почему же это учредительное собрание, начавшее, в мае добрым актом провозглашения республики, стало потом плохим? Оно стало таким после того, как были закрыты организованные временным правительством в Париже «национальные мастерские» и около 100 тысяч рабочих, оставшись без куска хлеба, подняли в июне восстание. Буржуазное общество, созревавшее для полилитических реформ, было далеко от сознания необходимости социальных реформ, тех, что лишь сто лет спустя во Франции

вошли в обиход жизни и стали «азбучными истинами». Восстание парижских рабочих было, конечно, подавлено, но насколько после него испуганная им страна поправела, отшатнулась от социализма, стала против рабочих, накренилась к реакции, можно судить по результатам выборов в дек. 1848 г. Рабочий класс составлял в стране слабое, неорганизованное, малосознательное меньшинство. Даже оправившись от поражения он не мог бы иметь веский голос в учредительном собрании и в сменившей его законодательной ассамблее. Даже сто лет спустя коммунисты и социалисты Франции на выборах 1945-47 гг. не могли собрать половины голосов. В общей массе населения, имеющего право избирать, восставшие парижские рабочие представляли буквально горстку, менее 2%. К величайшему изумлению, Плеханов — а ему, конечно, было известно всё, что мы здесь сообщили — всё-таки счел актом правомерным, разумно-революционным, который никто из нас, якобы, не должен осуждать, чтобы эти «менее 2%» разогнали, насильственно прикончили деятельность органа, выбранного миллионнами людей, хотя бы орган этот и был антисоциалистическим и правобуржуазным (иным тогда — да и позднее, можно сказать, вплоть до 1936 года — он, по своему составу, быть и не мог). А что должны были бы делать эти «менее 2%», насильственно прикончив с Учредительным собранием? Очевидно, сделать себя властью и управлять миллионами враждебного им населения с помощью беспощадного террора, строить Фурье-Прудоновский социализм в стране, не имеющей ни субъективных ни объективных предпосылок для социального переворота. Но если только таким мог бы быть финал одобряемый Плехановым акции, то тогда совершенно непонятно, почему он критиковал Бланки, Ткачева и Ленина. Одобряя гипотетический разгон французского учредительного собрания, тем самым колебля свои доказательства, что в крестьянской России с рабочим классом в меньшинстве может быть только буржуазная революция и не должно быть захвата власти рабочими, он, в сущности, приносил оправдание акту Ленина.

***

От пребывания у нас Плеханова глубоко запечатлелась в памяти поездка с ним на Воробьевы горы. Войдя однажды в мою комнату, он попросил дать ему «Былое и Думы» Герцена и быстро нашел то место, где тот описывает, как, находясь на Воробьевых горах в 1827 году, он и юный Огарев, обнявшись,

«присягнули пожертвовать жизнью» за счастье и свободу народа. В 1853 году, обращаясь к Огареву, Герцен писал:

> «Сцена эта может показаться очень натянутой, очень театральной, а между тем, чрез двадцать шесть лет, я тронут до слез, вспоминая ее, она была свято искренна, это доказала вся жизнь наша. Так, Огарев, рука об руку, входили мы с тобой в жизнь. Путь, нами выбранный, был не легок, мы его не покидали ни разу, раненные, сломанные мы шли и нас никто не обгонял. Я дошел не до цели, а до того места, где дорога идет под гору, невольно ищу твоей руки, чтобы пожать ее и сказать, грустно улыбаясь: вот и всё».

Плеханов вслух, медленно, прочитал это место, особенно нажал на «вот и всё» и, резко захлопнув книгу, обратился ко мне:

«Мне очень хотелось бы посетить место присяги Герцена и Огарева. Не могли ли бы вы организовать поездку туда? Это место можно считать священным в истории развития нашей общественной мысли. От этой присяги пошли и «Колокол», и «Полярная Звезда». Я думал о нем теперь, едучи в Москву и очень часто раньше, живя в Женеве».

Через день на нескольких автомобилях, мы отправились на Воробьевы горы: Г. В. и Р. М. Плехановы, В. И. Засулич, приглашенные Плехановым несколько лиц из московской группы «Единства», наш добрый знакомый Р., не без труда добывший весь необходимый нам транспорт. На склон горы, где, надо думать, на месте предполагавшегося к постройке храма по величественному проекту несчастного Витберга, «присягали» Герцен и Огарев, добраться было нельзя. Я привел Плеханова немного правее, откуда, по преданию, Наполеон, пред въездом в город любовался Москвою. Она внизу расстилалась перед нами: под лучами вечереющего солнца искрился и играл серебряными шпильками изгиб Москвы-реки, за нею виднелись зубчатые стены и белые колокольни Новодевичьего монастыря, по осеннему начинающие золотеть липы и клены Нескучного сада, темный силуэт Донского монастыря, сквозь голубовато-серую дымку — стены, башни, дворцы, церкви далекого Кремля, и на необозримой, сливающейся с горизонтом, грудой домов города — гигантский золотой, точно пылающий, купол храма Христа Спасителя (храм снесен, чтобы дать место еще более гигантскому монументу — зданию в честь Ленина).

Плеханов и Засулич долго любовались этой панорамой. Не трудно было заметить, что Плеханова что-то волнует. Ставший очень бледным, он вдруг сжал руки Засулич.

«Вера Ивановна, 90 лет назад, приблизительно на этом месте Герцен и Огарев принесли свою присягу. Около сорока лет назад, в другом месте — вы помните? — мы с вами тоже присягнули, что благо народа на всю жизнь будет для нас высшим законом. Наша дорога теперь явно идет под гору. Быстро приближается момент, когда мы, вернее кто-то о нас скажет: вот и всё. Это, вероятно, наступит раньше, чем мы предполагаем. Пока мы еще дышим, спросим себя, смотря друг другу прямо в глаза: выполнили ли мы нашу присягу? Думаю, мы выполнили ее честно. Неправда ли, Вера Ивановна, честно?».

Не слыхал что ответила Засулич. Видел только, что на лице ее отразилось такое волнение, что, казалось, она зарыдает. Согнувшись, приложив платок к глазам, она быстро отошла в сторону. Там же на Воробьевых горах, на так называемой даче Мамонтова (одного из фаворитов Екатерины II-ой) Р. нас всех сфотографировал. Мы настояли, чтобы Плеханов и Засулич позволили их снять отдельно. Они стали под ветви вековой липы около колонны со старинной разбитой садовой вазой с барельефами. Снимок получился прекрасный и печальный. От обоих фигур рядом с точно символически разбитой вазой веяло трагическим: вот и всё. Восемь месяцев спустя Плеханова не стало. А менее чем через год после него умерла и Засулич.

Восемь последних месяцев жизни были для Плеханова кошмарно тяжкими. На октябрьский переворот и свержение временного правительства от откликнулся 28 октября «Открытым письмом к петроградским рабочим»*). С внешней стороны подчеркнуто, нарочито спокойное, оно полно глубокого волнения. Случилось как раз то, против чего он, вслед за Энгельсом, предостерегал в 1883 году. Заявляя, что это событие его «крайне печалит», он объяснял рабочим Петрограда — неизвестно, дошло ли это до них, они читали «Правду», а не «Единство», — что печалится не потому, что стал «контрреволюционером». «Это недостойная клевета на тех, которых сами обличители не могут не признать первоучителями русской социал-демократии». Плеханов снова напоминал, что еще в 1889 году он первый сказал: «революционное движение в России восторжествует как движение рабочего класса или совсем не восторжествует», — но («проблема Вилонова». — Н. В.) из этого не следует желательность «несвоевременного

*) Оно подписано также В. И. Засулич и Л. Г. Дейч.

захвата власти». Те, кто «навязывают» его русскому пролетариату, толкают его «на путь величайшего исторического бедствия». «Русский пролетариат не совершит социальной революции, а только вызовет гражданскую войну, которая, в конце концов, заставит его отступить далеко назад от позиций, завоеванных в феврале и марте».

Три дня после октябрьского переворота кучка солдат ворвалась в квартиру Плеханова в Царском Селе. Искали оружия. Считая его контр-революционером, революция обыскивала человека, бывшего одним из ее отцов, в течение сорока лет ждавшего революцию, как «верующий еврей ждет Мессию». Это ужасно для отцов и это, кажется, в порядке вещей. Уран пожирал своих детей. Революции иногда пожирают и детей, и отцов. В результате, что и случилось с русской революцией, получается то, чего ни отцы, ни дети не хотели и не предвидели. Один из ворвавшихся к Плеханову матросов, приставив револьвер к его лицу, крикнул: «Выдайте оружие, а то найдем его сами и я тут же убью вас». — «Убить человека нетрудно, ответил Плеханов, но оружия всё-таки не найдете». Плеханов был уверен, что его убьют. Его занимал, передавал он потом, вопрос — «увидит ли он раньше огонь или услышит звук выстрела». По распоряжению царско-сельского комитета большевиков (а может быть и Ленина), для «охраны личности и имущества гражданина Плеханова» к нему на квартиру была послана стража. В Царском Селе Плеханова уже не было. Так как он считал, что «они способны подослать наемного убийцу, а после убийства проливать крокодиловы слезы и объяснять случившееся разбушевавшейся народной стихией», супруга и друзья Плеханова решили спрятать его от разбушевавшейся стихии где-нибудь в Петербурге. В карете Красного Креста его перевезли в клинику Гирзона. Трагическая картина бегства от революции! Не считая клинику Гирзона надежным местом, Плеханова через несколько дней перевезли во французскую больницу. Это здесь Плеханов написал свою последнюю статью — вышецитированную «Буки-Аз-Ба». Убийство двух министров Временного Правительства — Шингарева и Кокошкина — в другой больнице свидетельствовало, что пребывание и в таком месте еще не гарантирует безопасность. Бегство от революции поэтому продолжается: 23 января 1918 года Плехановы перебираются в Финляндию в санаторию Питкеярви близь Териок. Силы Плеханова падают. В течение последних недель его жизни он читал и ему читали вслух античных греческих поэтов. Так уводил он мысль свою от действительности.

То, за что он боролся, падало и разрушалось. То, что поднялось, было не тем, чего он хотел. 30 мая Г. В. Плеханов скончался. Подобно рыцарю Шиллера — он не увидел открывшегося окна.

Я написал некролог Плеханова в газете «Власть Народа». Назвал его «последним западником». Сейчас, более чем когда-либо, такая характеристика мне представляется правильной. Он был западником, как его дальний родственник Виссарион Белинский (мать Плеханова была из фамилии Белинских), когда тот проклял «примирение с гнусной действительностью». Как Чаадаев до его вынужденного покаяния, как Герцен до его заграничного уклона в сторону славянофильства, как Добролюбов или, например, Тургенев, говоривший: «Да, я западник, я предан Европе, предан цивилизации. Это слово и понятно, и чисто, и свято, а другие все — народность, слава, кровью пахнут. Бог с ними». При всех ее вариациях это была всё одна и та же линия развития русской мысли. Тот же обращенный к Западу взор, то «хочу в Европу съездить», которое восточник Достоевский со страстью вложил в уста Ивана Карамазова, чтобы тут же прибавить, что Европа всё-таки кладбище. Как и они, Плеханов был «идеологом» западничества. Это не было у него простым приятием учреждений Запада, его общественных отношений, его экономики, пролетариата, социал-демократии, революции. В идеологии и у атеистов, сверх науки есть всегда элемент веры. В данном случае вера связывалась с где-то спрятанным чувством, что Запад, Европа, есть всё-таки «страна святых чудес». Когда-то Белинский выражал уверенность, что будущее России «обеспечит только буржуазия», а П. Б. Струве, в сущности, развивая ту же мысль, бросил (в 1894 году) знаменитую фразу: «Признаем нашу некультурность и пойдем на выучку к капитализму». Оба заявления Плеханов не находил удачными, но видел в них «благородное увлечение западников». То же самое можно сказать и о многих тезисах самого Плеханова.

Дело ученых историков судить о том, насколько работа Плеханова «История развития русской общественной мысли» (он успел довести исследование только до конца эпохи Екатерины II) приносит что-либо новое, что не было уже сказано другими нашими учеными. Каково бы ни было суждение о ее научной ценности, она (а в последние годы до революции ею была целиком занята мысль Плеханова) для него крайне характерна. Вслед за другими он настаивал, что «в течение долгого времени Русь, по характеру своего социально-политиче-

ского строя, удалялась от Запада и сближалась с Востоком». «Некоторые деспотии Востока, древний Египет или Халдея, тоже закрепощавшие государству все народные силы, были даже более цивилизованы, нежели Московская Русь XVII-го столетия». Вызываемая разными причинами, глубинная тенденция Руси дрейфить на Восток, обожествлять владыку — кесаря, хана, фараона, царя, — закрепощать государству все народные силы, превращать в жалкую былинку личность — страшила и волновала Плеханова.

После 1905 года европеизация общественной жизни России стала итти ускоренным темпом. Как бы ни были еще умеренны демократические свободы, плоха Государственная Дума, дыхание европеизации явно чувствовалось не только в больших городах, но даже в деревне (изменение быта, таяние помещичьих хозяйств крепостного типа, переход земли на началах частной собственности в руки крестьянства, столыпинские законы, рост потребительных и кредитных кооперативов и т. д.).

Веками, географией, татарщиной, византийским высокомерием созданный у русских внутренний, душевный заслон (отталкивание) от Европы как будто стал рассеиваться. Но Плеханов в своей «Истории русской мысли» — накануне войны и во время ее, — всё еще продолжал вести «идеологическую борьбу» за Запад, всё еще следил, когда, как, в какой форме, в какой степени, внедрялся у нас западный дух. Революция оборвала его работу, он оказался последним борцом в славной фаланге наших западников. Вероятно потому, что он 37 лет жил вне России и многое в ней из его глаз ускользало (я убедился в том из разговоров с ним), Плеханов крайне низко оценивал сделанные страной шаги на путях европеизации. По этой причине он считал нужным сугубо продолжать «идеологическую» борьбу за Запад. «Настоящая европеизация, говорил он пишущему эти строки, к нам придет лишь после встряски хорошей, успешной, буржуазной революции. Не переоценивайте и не увлекайтесь тем, что уже достигнуто. Это еще далеко не Европа, а только, как говорил Тургенев, первое лепетанье спросонья».

Едва ли нужно напоминать роль, сыгранную Плехановым в пропаганде, разъяснении, обосновании значения для России именно «буржуазной» революции. Приходится теперь констатировать, что, создавший Плеханову огромную славу прогноз — оказался ложным. Революцию 1905 г. следует признать буржуазной, но та, уже не половинчатая, не «ублюдочная», а «на-

стоящая», столь ожидаемая Плехановым, революция, которая, он однажды сказал, должна «с процентами отдать всё», что русские революционеры заимствовали из «школы великой французской революции», эта революция, пришедшая в 1917 году, все его схемы, формулы, рассчеты, доводы — опрокинула навзничь и растоптала.

Плеханов жестоко ошибся, утверждая, что «по состоянию ее производительных сил» в России «никакой другой» прочной революции, кроме буржуазной, быть не может. «Другая» революция как раз-то и пришла. Совсем не будучи буржуазной, она не стала и социалистической, а после смерти Ленина, изо дня в день перерождаясь и вырождаясь, привела к образованию под Сталиным чудовищного тоталитарного государства, восточной деспотии нового типа, владеющей техникой — модерн XX века. Из Запада она взяла блюминг, турбогенератор, самолет, а дух Запада, как вредное и ненужное, отбросила вон, вернувшись во-свояси, на Восток, в отчий дом. Благословясь марксизмом, она возвратилась к старцу Филофею («два Рима падоши, а третей стоит, а четвертому не быти»), к Ивану Грозному, к установлению, в стиле московского средневековья, государственной религии — сталинизма, к принудительному паданию ниц пред властителем страны, «отцом народа», к такому презрению к личности человека, такому плановому закрепощению населения государством, которые могут соперничать с порядками восточных деспотий. Прежде людишки и холопы убегали от гнета, в степи. Теперь некуда убежать. Всюду НКВД. Лишь немногим удалось стать «дипи». Курбские и Котошихины ныне называются Коряковыми и Кравченко. Величайший русский реакционер К. Леонтьев верил, что Россия во главе «новой восточной государственности» даст миру новую культуру, раздавив, выбросив как хлам, культуру Европы. И если Сталин читает что-либо, кроме своих речей, — «Восток, Россия и Славянство» К. Леонтьева, конечно, — его настольная книга. Воспитание в советском народе — «богоносце» бешенной, звериной ненависти к западной культуре, ее учреждениям, свободам, быту, общему духу — ныне стало основной задачей государства. Вот к чему привела русская революция, не пожелавшая быть ни буржуазной, ни социалистической. На темном фоне этого «исторического бедствия» уже совсем трагична фигура Плеханова, последнего западника.

Н. Валентинов

БИБЛИОГРАФИЯ

МОИ РАБОТЫ ПО ИСТОРИИ ОПРИЧНИНЫ

Печатаемый нами «автореферат» Л. М. Сухотина был написан им по просьбе редакции «Нового Журнала» незадолго до его смерти (Л. М. скончался в Брюсселе 1-го июня с. г.). Редакции казалось, что работы Л. М. по истории опричнины, появившиеся в малораспространенных научных изданиях, представляют не только специальный, но и общий интерес — особенно в связи с той переоценкой Ивана Грозного, которой уделяется так много места в советской литературе.

В лице Л. М. Сухотина эмиграция потеряла неутомимого и выдающегося культурного деятеля. Помимо научных исследований, Л. М. занимался педагогической работой, втечение ряда лет состоя директором русско-сербской женской гимназии в Белграде и составляя учебники по истории на русском и сербском языках. В литературном наследии Л. М. Сухотина есть книга и по истории русской литературы — о Фете и Елене Лазич. **Ред.**

В выпуске 21-ом «Исторических Записок» Академии Наук СССР (1947 года) была напечатана статья И. У. Будовница, «Иван Грозный в русской исторической литературе». В этой библиографической статье автор не упоминал о моих статьях об опричнине Грозного, напечатанных (за исключеннем одной, самой ранней) в эмиграции: возможно, что в Советскую Россию эти мои статьи не проникли и остались автору неизвестны*).

Впервые вопроса об опричнине я коснулся очень давно, в 1911 году, в статье напечатанной в «Журнале Министерства Народного Просвещения». Я тогда (на основании исторических материалов,

---

*) Академик С. Б. Веселовский в своей интересной и ценной статье «Учреждение опричного двора в 1556 году и отмена его в 1572 году» (в № 1 «Вопросов Истории» за 1946 год), ссылаясь на мои работы, опубликованные в России до отъезда моего за границу, тоже не упоминал о моих эмигрантских работах.

мною открытых и напечатанных в «Чтениях Общества Истории при Московском Университете») настаивал на том, что Грозный опричнину отменил в 1572 году, вопреки авторитетному мнению проф. С. Ф. Платонова, что опричное ведомство непрерывно росло до самого конца царствования Грозного.

К вопросу об опричнине я вернулся в эмиграции после опубликования записок Генриха Штадена (Москва, 1925 и Гамбург, 1930) Моя первая (в эмиграции) статья об опричнине («К пересмотру вопроса об опричнине: 1. Вопрос об отмене опричнины») появилась в 1931 году в 5-ом выпуске «Записок Русского Научного Института», выходивших в Белграде. В результате своего исследования я пришел тогда к следующим выводам:

1) что благоволение Грозного к опричнине пошатнулось с половины 1570 года (в связи с новгородским делом, в котором кое-кто из главных опричников оказался замешанным, и в связи с разнузданным бесчинством опричников после разорения Новгорода).

2) что после сожжения крымским ханом Москвы в мае 1571 года, когда опричная армия не оправдала надежд государя, реакция Грозного против опричнины очень усилилась и повела к военной реформе, объединившей опричные и земские части: первый и важный шаг к примирению между земщиной и опричниной;

3) что после победы над крымцами в начале августа 1572 года опричнина была уничтожена вовсе, с запрещением поминать ее ненавистное для земщины имя, и правительство приступило к возврату тех поместий и вотчин, которые оно отбирало у земских людей при взятии целых уездов в опричнину;

Продолжение моей работы (под общим заглавием «К пересмотру вопроса об опричнине») растянулось на несколько лет (гл. 2—6 вышли в 1935 году в 13-м выпуске тех же «Записок» и гл. 7-8 в 1940 г. в 17-м их выпуске).

К тому вопросу (хронологическому), которому была посвящена первая из моих эмигрантских статей, ближе других примыкали из последовавших за ней статей: статья (глава 2-ая), посвященная изложению событий первого года после отмены опричнины (1572-3 г.), статья (гл. 4-ая), посвященная эпизоду с Симеоном Бекбулатовичем, великим князем всея Руси (1575-6), и статья (гл. 5-ая), под заглавием «И далее опричнина не была восстановлена». До тех пор, пока наши историки думали, что опыт с царем Симеоном был эпизодом опричнины*), вопрос о том, чем этот опыт был вызван, мог казаться не важным. Теперь, когда становится ясным, что с осени 1572 до осени

*) Этого ошибочного взгляда вслед за Платоновым продолжали держаться в Советской России П. А. Садиков и И. И. Полосин.

1575 года. Грозный правил нормально, от земщины себя не отделяя, естественно получает значение вопрос, чем было вызвано новое (и на этот раз столь нелепое) отклонение от уклада государственной жизни. Поэтому в этой своей статье я остановился, во-первых, на критике наличных источников (далеко неравноценных) и, во-вторых, на рассмотрении обстановки внешней и внутренней 1574-5 г.г. и пришел к заключению. что разгадки надо искать в событиях внутренних. В заключение к этой статье я писал: «Опыт с царем Симеоном вовсе не был новым видом опричнины. Если уже сравнивать отход Грозного от власти в 1575-6 г., продолжавшийся несколько месяцев, то отнюдь не с опричниной, которая была не отходом государя от власти, а чрезвычайным усилением государевой власти, а с оставлением Грозным Москвы в 1564 году и с наступившим тогда шестинедельным периодом когда Московское государство не имело царя. Царя по настоящему не было и в 1575-6 году».

В следующей главе («И далее опричнина не была восстановлена») я имел в виду мнение наших историков (с Платоновым во главе), которые утверждали противное, во-первых, ссылаясь на случай с царем Симеоном (мною эта ссылка признана была неосновательной) и, во-вторых, на упоминание о воеводах дворовых и о разряде дворовом (полагая, что словом «двор» заменено имя опричнины). Это я опроверг отчасти в своей статье (главе) первой, отчасти в ныне рассматриваемой (т. е. 5-ой). Таким образом я утверждал, что опричнина втечение первых четырех лет после отмены не была восстановлена. В дальнейшем я допускал, что связанная с устройством «двора» реформа (военная по преимуществу), следы которой заметны на протяжении 1577-1582 годов, имела с опричниной кое-что общее. Это были годы великого напряжения в ведении Ливонской войны, завершившейся несчастным миром в начале 1582 года. Но для лучшего суждения об этой реформе мне недоставали некоторые материалы, отчасти в Советской России за последние годы опубликованные (Садиковым).

Итак, если можно связать между собой главы 1-3-4-5 моего исследования, точно так же можно связать главу 2-ую с главою 6-ой. Обе эти главы имеют в виду опровержение взгляда Платонова на государственный смысл опричнины*). Он утверждал, что боярство «было раздавлено опричниной и потеряло свое прежнее положение у власти. В государевой думе его заменили новые люди»; они пред-

---

*) Под влиянием этого взгляда Н. П. Павлов-Сильванский возымел несчастную идею предложить новую периодизацию русской истории, рассматривая год учреждения опричнины как «поворотное событие», важную веху и начало нового порядка в истории России.

ставляли «новый слой московской знати, возникший именно в эпоху опричнины, как первый образчик служилой и дворцовой аристократии. Их положение у дел создано не их отчеством, а личною службою и выслугою»... Я установил состав боярской думы к началу опричнины и последующие назначения в опричную боярскую думу, причем отмечал аристократический состав назначений и утверждал, что Грозный назначал в боярскую думу из обычного круга боярских родов. Также и в дальнейшем (в первые годы после отмены опричнины) я не обнаружил среди новоназначенных бояр и окольничих «новых людей»*).

«Аристократичность состава думы», как я утверждал, «опричниной ничуть не была поколеблена». В связи с этим я выражал надежду, что дальнейшие исследования подорвут окончательную веру в государственный смысл опричнины и ее учредителя. «С большею ясностью выступят плачевные результаты внутренней политики Грозного, по существу не созидательной, а разрушительной, и на фоне развала и разорения обрисуется с большей четкостью устроительная деятельность правительства, сменившего Грозного на исторической сцене».

«Уже теперь по вопросу, выше затронутому, — о стеснении государя в выборе членов совета аристократическим принципом и наличностью определенного круга знатных фамилий, можно сказать: то, чего Грозный добиться не смог несмотря на применение террора и безудержного пролития крови представителей знати, выполнит 'светлодушный' правитель Борис Годунов путем неуклонной и твердой, но разумной и более гуманной политики. Здесь будет уместно привести итог скромного исследования проф. Саввы, изучавшего деятельность думы у посольского дела в 16-м веке. Сравнивая роль думы при Иване III, Василии III Иване IV и Федоре, проф. Савва признавал золотым веком боярской думы годы правления Грозного. Но мало того: по его наблюдению, на той большой роли, какую боярская дума играла в посольском деле при Грозном, никак не отразилась опричнина, но эта роль уменьшилась значительно при царе Федоре, со вступлением в правительство Б. Ф. Годунова».

Последние две главы моего исследования озаглавлены были: «Исторический ход опричнины» (Глава 7-ая) и «Что представляла собою опричнина?» (Глава 8-ая). Если первая из этих двух заклю-

---

*) Среди новоназначенных в опричную боярскую думу 17-ти бояр и окольничих не было ни одного неродословного человека вроде Ф. Адашева или Ф. Сукина, назначенных Грозным в боярскую думу до учреждения опричнины.

чительных глав примыкала по своему содержанию к темам глав 1-3-4-5, то вторую надо связать с темой глав 2-ой и 6-ой.

В первой из этих двух глав содержится довольно подробный (на 57 стр.) рассказ о событиях семи с лишним лет, пока существовала опричнина, причем во второй половине этой главы рассказано о казни удельного князя Владимира Андреевича в связи с делом об «измене» Великого Новгорода и описаны новгородский погром (начало 1570 года) и наступление анархии среди опричников и перемены в настроении Грозного по отношению к ним. Первые проявления нового курса относятся к весне 1570 года — начало сближения между опричниной и земщиной. Далее, после рассказа о расправе с жертвами по делу о новгородской измене, говорится о реакции Грозного против опричнины, об объединении армий опричной и земской, об опалах и казнях опричников.

Во второй из этих двух глав, в последней и заключительной, дается определение опричнины. Сперва здесь говорится о разделении (надвое) всей страны, причем я привожу до десяти-двенадцати свидетельств источников. Один из современников, писавший, что Грозный разделил государство на две части, назвав свою часть опричниной, а другую часть — земщиной, к этому прибавлял: «и заповеда своей части оную часть людей насиловать и смерти предавати» (ср. другого свидетеля: «Во едином граде едины люди на другие пусти» или еще: «Разделением раздвоения едины люди раздели и яко двоеверны сотвори... и всю землю державы своея яко секирою наполы некако рассече»). Далее, определяя опричнину, я писал о сопровождавшем ее терроре, тоже со ссылкой на источники. Тем самым я опровергал Платонова, который и разделение и террор пытался оспаривать, ссылаясь на факты 1570-1 гг., когда происходила реакция против опричнины, и 1577 год, когда опричнины давно уже не было. «Таким образом», писал я, «Платонов, затушевывая разделение или раскол, а также и террор — самые яркие проявления опричнины Грозного — затемняет главное ее содержание. «Зато Платонов», писал я далее, «идя по стопам своих предшественников (Кавелина и Соловьева, Бестужева-Рюмина, Белова, а отчасти и Середонина), развивая и обосновывая их предположения, останавливается на раскрытии государственного смысла опричнины. Кроме одинокого свидетельства Флетчера (который страдал одним недостатком — наклонностью к схематизации и исканию смысла, системы даже и там, где не было ни системы, ни смысла), источники не дают никаких оснований понимать в этом смысле опричнину. Платонов сознает недостаточность своей опоры в источниках и, чтобы оправдать свое выступление с гипотезой, он заявляет, что надежных источников для суждения об опричнине в

нашем распоряжении нет — остается широкое поле для догадок и домыслов».

Рассматривая далее территорию, которая по мнению Платонова забиралась в опричнину, я отметил преувеличения с его стороны и соглашался с Иконниковым, в свое время писавшим в рецензии на диссертацию Платонова, что «придется, конечно, значительно ограничить территорию опричного двора, намеченную автором, и допустить в ней чересполосицу»...

Я оспаривал далее (как уже выше было отмечено) мнение Платонова, что опричнина сокрушила бояр-княжат да и боярство вообще, и что в думе боярской их заменили новые люди. Я считал, что это суждение не подтверждается фактами, и кроме того, полагал, что действительность мер, предпринятых Грозным против боярства, была подорвана тем, что Грозный при отмене опричнины стал возвращать прежним владельцам поместья и вотчины, которые были у них взяты в опричнину. «Таким образом Грозный сам приступил к ликвидации того, что в затее опричнины как-будто имело государственный смысл».

Взгляды Платонова были усвоены рядом русских историков и проникли и в иностранную литературу*).

Из русских историков, исходивших из данной Платоновым благоприятной оценки деятельности Грозного, следует особо отметить профессора Виппера. Но насколько Платонов, тонкий знаток русской истории (особенно эпохи XVII в.), — очень осторожный исследователь, настолько Виппер (специалист не по русской, а по всеобщей истории) в книжке своей об Иване Грозном*) не проявил отнюдь осторожности. Я сделал ему ряд возражений.

К концу этой статьи я подвел итоги своему исследованию. Напоминая о начале опричнины и о ее характере, я приходил к заключению, что ее учреждение вызывалось не реальной обстановкой, а манией преследования, которой страдал Грозный. Далее я отмечал, что опричнина, созданная для борьбы против знати, стала орудием

---

*) При этом я упоминал тогда О. Шпенглера, который Ивана Грозного считал «творческой натурой вроде Петра Великого, одним из наиболее крупных правителей всех времен». В другом месте Шпенглер о Грозном писал наряду с Чингис-ханом, Петром Великим и Лениным и еще в другом месте — на ряду с Петром Великим, с одной стороны, отцом Иоанном Кронштадтским (!) и Распутиным (!) с другой.

*) Мне эта книжка известна была в ее первом издании, а из статьи Будовница я вижу, что Виппер значительно ее переделал для издания нового.

для насилий надо всем населением, оставшимся вне пределов опричнины, что в своей борьбе против знати Грозный не был последователен, предоставив боярской думе власть над земщиной и создав в опричнине боярскую думу из представителей тех же перворазрядных фамилий. Говоря, в заключение, о результатах опричнины, я цитировал мнения нескольких русских историков, в том числе и Платонова, и утверждал, что «эти суждения наших историков (даже Платонова!) о результатах опричнины находятся в бо́льшем согласии с тем, как я понимаю опричнину по нашим источникам, нежели с попытками, достаточно произвольными, ее осмысления и оправдания».

Вне серии моих экскурсов, объединенных под общим заглавием «К пересмотру вопроса об опричнине», я поместил в те же годы три статьи об опричнине в сборниках Русского Археологического Общества в Югославии. Из них одна была посвящена «опричнине в русской историографии». В ней я расходился с мнением Платонова, что успех, достигнутый в понимании Грозного и его деятельности — «одна из блестящих страниц в истории нашей науки», и считал, что, напротив, разработка вопроса о Грозном и об опричнине, в частности со времен Соловьева-Кавелина, в трудах некоторых наших историков вступила на неверный путь. Вторая статья написана «против отвода иностранцев и Курбского»: в ней я выступил в защиту как Курбского (бегло, в виду прекрасной работы Ясинского), так и некоторых из иностранцев (более обстоятельно). Третья статья носила заглавие «Иван Грозный до начала опричнины». В этой статье я между прочим пытался установить состав избранной рады и состав той группы «ласкателей», которых Грозный приблизил к себе в начале 60-х годов.

В своих работах об опричнине я не смог использовать материалы, опубликованные в Советской России Садиковым («Исторический Архив», т. 3) и некоторые новые исследования, так как не мог их достать в эмиграции. В заключение я не могу не отметить, что автор вышеупомянутого библиографического обзора И. У. Будовниц уделил около пяти печатных страниц ничтожному вкладу проф. Виппера в историю Грозного и около двух страниц изложению двух пресловутых статей И. И. Смирнова и наряду с этим ограничился одной только малозначительной фразой в отзыве об очень ценных работах С. Б. Веселовского.

Л. Сухотин

LA GESTE DU PRINCE IGOR. Texte établi, traduit et commenté sous la direction d'Henri Grégoire, de Roman Jakobson et de Marc Szeftel, assistés de J. A. Joffe. New York, 1948. Printed by Rausen Bros., N. Y.

1938 год, дата 750-летия «Слова о полку Игореве» (1188), вызвал к жизни в Советской России целую литературу изданий и переводов. Но вся она носит популярный характер. Последнее научное издание памятника, подводившее итоги вековому исследованию, дал академик В. Перец в 1926 году. С тех пор изучение древне-русской литературы и языка сделало большие успехи — и в России и за границей. Новый комментарий, новая попытка преодоления старых трудностей, противившихся усилиям целых поколений ученых, сами по себе оправданы. Но есть особое обстоятельство, которое положительно требовало нового издания. Как это ни покажется странным, до сих пор все издания «Слова» принадлежали историкам литературы, а не филологам-лингвистам. Знаменитый Потебня, хотя и гениальный лингвист, в сущности, тоже дал (1875) только литературный комментарий к «Слову», из запасов народной словесности. Но изучение древне-русского языка сделало огромные успехи как раз за последние десятилетия. Проф. Р. О. Якобсон, наследник замечательной русской школы филологов, является, вероятно, самым выдающимся лингвистом и филологом-славистом нашего времени. Ему удалось объединить группу ученых, русских и иностранных, в своем семинаре по изучению «Слова», которым он руководил втечении 1943-1946 г.г. при «Институте Восточной и Славянской Филологии и Истории» Брюссельского университета. Изгнанный войной из Бельгии, Институт этот, во главе с директором Грегуаром, нашел приют в Нью-Иорке при французской Ecole libre des Hautes Etudes. Этим объясняется французский язык книги, изданной в Америке и составленной преимущественно трудами русских ученых. И почин и львиная доля работы принадлежат проф. Якобсону.

Юбилей «Слова», подобно римским триумфам, был бы не полон без своего зоила. Французский славист А. Мазон написал ряд статей, частью объединенных в книгу (1940), где он пытается доказать, что знаменитый русский эпос является подделкой конца XVIII века, отражая исторические поэтические взгляды этой эпохи. Мазон возобновляет атаку, которую вели против «Слова» ранние представители русской скептической школы 20-ых годов прошлого века. Необходимость защиты «Слова» была, очевидно, одним из поводов нового издания, и этот апологетический или полемический мотив не всегда выгодно отражается на составе и экономии книги.

Вот ее содержание. Сначала идут «Замечания» Якобсона о прин-

ципах критического издания «Слова», его переводов и реконструкции оригинального текста. За этим следует издание текста (Якобсона) с превосходным французским переводом Грегуара; указание и оправдание текстуальных изменений и коньектур (Якобсона); исторический коментарий (М. Шефтеля); опыт реконструкции «Слова» на языке XII-го века (Якобсона); переводы на английский язык (С. Кросса), на современный русский (Якобсона) и стихотворный польский перевод Ю. Тувима. Заключают книгу две полемических статьи против Мазона: проф. В. Г. Вернадского «Слово с исторической точки зрения», и Р. О. Якобсона «О подлинности «Слова». Последняя и по размерам (126 страниц) и по богатству содержания составляет гвоздь сборника. Она прочтется с волнующим интересом не одними специалистами.

К сожалению, весь этот богатый материал подан в каком-то поэтическом беспорядке; читатель не сразу в нем разберется. Казалось бы, лучше было напечатать вместе группы текстов, примечаний и переводов; да кстати и перенести Postface, с историей самой книги, на его настоящее место как Préface. Гораздо серьезнее ощущается пробел построчного (или постройного) историко-литературного комментария, соответствующего превосходному историческому комментарию проф. Шефтеля. Весь огромный, собранный им историко-литературный и лингвистический материал проф. Якобсон использовал в статье «О подлинности». Но здесь распорядок его следует аргументации Мазона, а не порядку самого «Слова». Не сомневаемся также, что, если бы Якобсон в своем комментарии не был связан движениями противника, он мог бы осветить много вопросов, оставшихся в тени. Оставлена комментаторами без внимания и вся предшествовавшая история попыток истолкования «Слова», за исключением результатов, принимаемых настоящим издателем. Поэтому новое издание отнюдь не делает излишними труды предшественников, а скорее требует их помощи.

Каковы же положительные достижения проф. Якобсона и его сотрудников?

Нечего и говорить, что в конструкции Мазона не осталось камня на камне. Приходится только удивляться, с какими слабыми средствами предпринята была эта попытка, и даже сожалеть о той затрате труда, критической остроты и эрудиции, которые понадобились для опровержения столь легкомысленных гипотез.

Во-вторых, мы имеем впервые реконструкцию не только погибшей рукописи XVI-го века, но и оригинала XII-го века, реконструкцию, конечно, коньектурную, но осторожную и сделанную рукой мастера.

В-третьих, исторический комментарий М. Шефтеля, превосходящий полнотою и точностью все предшествовавшие.

В-четвертых, богатый филологический комментарий, который вставляет «Слово», несмотря на всё его своеобразие, в рамку литературных и художественных течений его эпохи.

В-пятых, — и этот результат всего важнее для рядового читателя, то-есть для каждого образованного русского — мы получили разрешение многих загадок «Слова», дразнивших воображение четырех или пяти поколений.

Изгнана, и кажется навсегда, из русского эпоса тень римского императора Траяна. Его место заняла легенда о Троянской войне, пленившей воображение поэта благодаря географическим ассоциациям: северное Черноморье — земля Троянская для средневековых географов.

«Седьмой вѣкъ Трояновъ» окончательно расшифрован, как седьмое тысячелетие (без всякого Траяна), грозное эсхатологическими пророчествами. Впервые показан Якобсоном этот эсхатологический фон «Слова», на котором получает, наконец, свое объяснение и «дѣва Обида», дословно взятая из греческого апокрифа.

Одним из самых блестящих открытий Якобсона мы считаем введение Гомера, заменяющего отныне Траяна в классическом наследии «Слова». Русскому ученому удалось убедительно показать, что всем известный пролог «Слова» является свободным подражанием греческому хроникеру Манассии, где имя Баяна заняло место Гомера. Так отчасти подтвердились домыслы кн. П. А. Вяземского, которые в его время казались чистыми фантазиями.

Наконец, особенно ярко выступает, благодаря совместной работе Якобсона и Шефтеля, полуисторический, полулегендарный образ Всеслава Полоцкого, занимающий так много места в «Слове». Якобсон предполагает древнюю былину, ему посвященную и известную автору «Слова» (проф. Г. В. Вернадский предлагает остроумную историко-экономическую типотезу для объяснения популярности памяти Всеслава в XII-ом веке).

Как известно, единственная сгоревшая рукопись «Слова» давала во многих местах испорченные чтения, не знала разделения текста ни на слова, ни на предложения. Чтение первых издателей было чистой коньектурой. Темные и испорченные места доселе представляли главное преткновение для современного читателя. Поэтому всякое новое издание «Слова» предполагает работу над исправлением текста. Якобсон дает несколько десятков новых чтений, которые в большинстве случаев счастливо осмысляют бессмысленный текст, достигая этого с минимумом изменений: иногда переменой знаков препинания, иногда новым разделением на слова, вставкой одной

или двух букв, редко целого слова. Очень удачно чтение «поминемъ» (вм. почнемъ) в ст. 6 по счету Якобсона, «ночи мрькнеть заря» (ст. 32), «кавылы» (в ст. 62 и 63), «Донови» (вм. Дунаеви) в плаче Ярославны; чрезвычайно интересно и, после первого отталкивания, убедительно «съду токъ» (вм. съ Дудутокъ) в ст. 157, и многое другое.

Разумеется, элемент гипотетичности остается во многих новых (и старых) чтениях. Даже сотрудники Якобсона расходятся с ним в толковании некоторых мест: Вернадский в ст. 157 (сохраняя Дудутки), Грегуар в стихе 12. Лично мне кажутся искусственными и эстетически неприемлемыми чтение стиха 28-го (въ ста зби) и 156 («утръже вазни съ три кусы»), также замена «поганую» на «праведную» в ст. 112. Я бы предпочел испорченный ст. 56 «Кая раны дорога братіе» изменить не в «Дая раны, дорога братіе», а в «Кая раны дорога брата» (т. е. оплакивая раны дорогого брата). Предпочел бы также по эстетическим соображениям (а, может быть, и по консерватизму) оставить старое разделение на фразы в ст. 81-82 и 197. Не понимаю, почему проф. Якобсон так энергично протестует против олицетворения в толковании стиха 81: «кликну карна и желя поскочи по Русской земли» — ведь, не из боязни же насмешек Мазона? Кажется мне также, что оба стиха о Мстиславичах (140-1) требуют (нетрудной) переделки; во всяком случае, все переводчики дают смысл обратный буквальному чтению. Или же стих 140-й («непобѣдными») содержит в себе ядовитый укор, вместо хвалы, что тоже возможно.

Но всё это мелочи. После издания Якобсона «Слово о полку Игореве» утратило большую часть своих загадок. В изучении «Слова» это издание представляет не просто шаг вперед, но целую эпоху.

Из Postface мы узнаем, что в портфеле редактора имеется целый ряд чрезвычайно интересных материалов, которые должны составить второй, дополнительный том. Пожелаем же, чтобы материальные и типографские трудности не задержали его выхода в свет.

Г. Федотов

За недостатком места ряд рецензий оказалось необходимым отложить до следующей книги.

Ред.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Периодическое литературно-политическое издание

●

Цена одной книги 2 доллара 75 центов.

Цена трех книг 6 долларов 50 центов.

●

Адрес редакции и конторы:

Mrs. M. E. ZETLIN, 112 West 72nd Street,
New York 23, N. Y.

Telephone: ENdicott 2-9893
ENdicott 2-4800

Там же принимается подписка